

Проф. Ал. М. Мироновъ.

ИСТОРИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХЪ УЧЕНИЙ.

(Конспектъ лекцій, читанныхъ въ Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ и на Казанскихъ Высшихъ Женскихъ Курсахъ въ 19¹²|₁₃ уч. году).

Пособіе по исторіи эстетическихъ ученій въ соотвѣтствии съ программой испытат. комиссій.



КАЗАНЬ.

Издание книжного магазина М. А. Голубева.

1913.

1 в

2-й экз

Февр. 1981



ВЧ

21

ФУНДАЦИОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
Общественных Наук
Академии Наук СССР

723

62



37-73343

Типо-литография Императорского Университета.

Исторія естетическихъ ученій.

В В Е Д Е Н I Е.

- 1) Предметъ, задачи и методы эстетики, какъ науки.
- 2) Важнѣйшія течекія въ изученіи эстетики по типичнымъ ихъ группамъ.
- 3) Непригодность догматического изложенія эстетики, какъ системы; преимущества историко-критического изложенія разнообразныхъ эстетическихъ ученій.
- 4) Соотношенія между исторіей эстетическихъ ученій и исторіею искусства.
- 5) Основанія критики эстетическихъ ученій предшествующихъ эпохъ.

Когда приступаютъ къ изученію какой-либо науки, обыкновено стараются прежде всего остального—представить *общее определение внутренняго содержания этой науки*; стараются разъяснить далѣе тѣ задачи, которые поставляются изслѣдователю *самымъ этимъ содержаниемъ науки*; наконецъ, стремятся *установить и самый тотъ методъ*, при помощи которого изслѣдование въ данной научной области можетъ быть ведено съ наибольшимъ успѣхомъ...

По отношенію къ изучаемой нами наукѣ,—къ эстетикѣ, рѣшеніе всѣхъ этихъ вопросовъ представляется въ высшей степени затруднительнымъ, и едва-ли въ какой-либо другой области положеніе изслѣдователя является болѣе неопределеннымъ, а рѣшеніе намѣченныхъ вопросовъ менѣе устойчивымъ, чѣмъ именно въ этой наукѣ.

Въ самомъ дѣлѣ. Что такое представляетъ собою эстетика, какъ отдельная самостоятельная область научныхъ изслѣдований. Каково ея содержаніе; каковы ея задачи и самые методы изслѣдованія?..—Если внимательно прослѣдить всю многовѣковую исторію эстетическихъ ученій съ момента возникновенія ихъ до послѣдняго времени, то окажется, что въ отвѣтахъ, какіе давались различными изслѣдователями на всѣ такие вопросы, господствовало *необыкновенное разнообразіе*, которое необходимо останавливаетъ на себѣ вниманіе всякаго, кто занимался изученіемъ эстетики, какъ науки.

Знакомясь съ содержаніемъ всѣхъ этихъ эстетическихъ учёныхъ и системъ, которые успѣли смѣнить другъ друга за весь многовѣковой періодъ ихъ исторического существованія,—можно было бы подумать, что каждый изъ изслѣдователей, занимавшихся разрѣшеніемъ главнѣйшихъ вопросовъ эстетики, какъ будто умышленно старался взглянуть на предметъ своего изученія не такъ, какъ смотрѣли другіе,—старался подойти къ нему всегда иными путями, нежели предшественники его, давая такимъ образомъ начало такому разнообразію во взглядахъ на эстетику, на ея содержаніе, задачи, какъ и на отдельные вопросы эстетики, какого мы не наблюдаемъ, повидимому, ни въ какой другой области научныхъ изслѣдованій.

Въ цѣломъ рядѣ послѣдующихъ лекцій я буду имѣть возможность изложить передъ Вами со всѣми необходимыми подробностями богатое и интересное содержаніе важнѣйшихъ эстетическихъ учёныхъ, созданныхъ въ различное время представителями и философіи, и искусства. Но уже сегодня въ качествѣ *обобщающаго введенія* я считаю необходимымъ предложить Вамъ *краткія характеристики* по крайней мѣрѣ *главнѣйшихъ историческихъ теченій въ пониманіи предмета и задачъ эстетики, какъ науки*. Я сдѣлаю это съ той цѣлью, чтобы, критически разсмотрѣвши ихъ всѣ въ существѣ и по методу, рѣшить наконецъ, *каковъ же на самомъ дѣлѣ предметъ и задачи эстетики...* При этомъ ради удобства ихъ разсмотрѣнія, я представлю такія характеристики разнообразныхъ эстетическихъ системъ и ученій по-

нъсколькимъ типичнымъ ихъ группамъ и содержаніе каждой изъ нихъ разсмотрю въ ихъ важнѣйшихъ основахъ¹⁾.

Я остановлю Ваше вниманіе прежде всего на группѣ тѣхъ эстетиковъ, которые дали самое имя этой науки. Эти изслѣдователи съ ярко выраженною односторонностью учили, что предметы эстетического изслѣдованія должно искать исключительно въ области тѣхъ ощущеній, которыя доставляются человѣку външними его чувствами. Производя самое название эстетики, какъ науки, отъ греческаго *аesthētiká*, подъ которымъ разумѣлось все то, что воспринимается нашими външними чувствами, они утверждали, что эстетика есть не что иное, какъ „наука о чувственныхъ восприятіяхъ“ т. е. наука объ ощущеніяхъ, получаемыхъ человѣкомъ черезъ посредство *5* външнихъ чувствъ. Такимъ образомъ, они не ограничивали для эстетики этихъ ощущеній только такими изъ нихъ, которые сопровождаются для насъ чувствомъ своеобразнаго, такъ называемаго, эстетическаго, художественнаго удовольствія, или неудовольствія. Они включали въ область эстетики изслѣдованіе всевозможныхъ чувственныхъ восприятий, какого бы рода они ни были и черезъ какіе бы органы външнихъ чувствъ ни получались эти ощущенія,—все равно:透过 зре́ниe и слухъ, или обоняниe, ося́заніе или вкусъ...

Ясно, что въ такомъ пониманіи эстетики, какъ науки, отождествлялись двѣ весьма различные области: *психофизиологии* и эстетики. И конечно, такое пониманіе эстетики не могло удержаться надолго, потому что односторонность его (при кажущейся чрезмѣрною широтѣ) слишкомъ ярко бросалась въ глаза, какъ и спутанность представлений о предѣлахъ данной науки.

Въ чемъ же ошибки этихъ изслѣдователей... Ошибки здѣсь двѣ. Во-первыхъ, мы знаемъ, что далеко не всѣ ощущенія—эстетичны; вѣрнѣе сказать, эстетичны сравнительно лишь немногія; мы знаемъ, что существуетъ громадное ко-

¹⁾ Ср. краткія общія обзоры нѣя эстетическихъ системъ у Schleiermacher: *Vorlesungen über d. Aesthetik*, S. 1—18.—C. Lemcke: populäre Aesthetik, гл. I, § 1—7.—Ad. Zeising: *ästhetische Forschungen*, S. 23—28, и др. Больше полныя и обстоятельныя исторіи эстетич. ученій будуть указаны ниже.

личество такихъ ощущеній, которыя, хотя и получаются при помощи виѣшнихъ чувствъ, однако никакъ не могутъ быть включены въ область эстетическихъ ощущеній: таковы воспріятія обонянія, вкуса и осязанія. Такъ, напримѣръ, ощущенія, получаемыя отъ вкуснаго блюда, хорошаго вина, отъ запаха духовъ или ароматныхъ травъ и цвѣтовъ, или отъ ощупыванія мягкой или гладкой поверхности и т. п.,— отнюдь не могутъ быть признаны эстетическими и входящими въ область эстетики.

Такимъ образомъ, прежде всего слѣдуетъ исключить изъ сферы эстетики (почему, будетъ подробнѣе сказано позже) ощущенія трехъ низшихъ чувствъ: обонянія, вкуса и осязанія,—необходимо область ея ограничить только такими изъ ощущеній, которыя получаются человѣкомъ при помо-ши двухъ высшихъ чувствъ—слуха и зрењія.

Но этого мало. Нужно далѣе помнить: 1) что далеко не всѣ даже зрительныя и слуховыя впечатлѣнія—эстетичны, ибо многія—безразличны; 2) что даже и во всякомъ дѣй-ствительно эстетическомъ чувствованіи, полученномъ че-резъ слухъ или зрењіе,—то, что называется *ощущеніемъ* или *чувственнымъ воспріятіемъ*, составляетъ только одинъ первоначальный моментъ въ весьма сложномъ психическомъ актѣ. Справедливо, что всякое эстетическое наслажденіе обусловливается въ самомъ началѣ непосредственнымъ воспріятіемъ черезъ виѣшнія чувства: слухъ или зрењіе. Но не столько отъ самаго этого воспріятія, сколько отъ про-цессовъ послѣдующихъ, чисто психическихъ, перевоспроиз-веденныхъ въ нашемъ собственномъ духѣ, зависитъ боль-шая часть эстетического наслажденія. Слѣдовательно, на эти-то послѣдующіе за воспріятіемъ виѣшніхъ чувствъ пси-хические процессы и должно быть обращено особенное вни-маніе изслѣдователей въ сферѣ эстетики.

Ясно отсюда, что сводя эстетику къ ученію о физіоло-гическихъ воспріятіяхъ, среди которыхъ, только отчасти и изрѣдка попадаются и впечатлѣнія, дѣлающіяся затѣмъ эс-тетическими,—эти ученые и философы относили въ своихъ выводахъ причину и самого прекраснаго, и эстетического на-слажденія имъ всецѣло къ самимъ виѣшнимъ явленіямъ и къ

нашимъ физическимъ органамъ, но не удѣляли нашему духу никакого самостоятельного значенія...—Въ этомъ и заключались важнѣйшія ихъ ошибки.

Въ иную крайность, столь-же одностороннюю, но совершенно противоположного характера, впадали представители второй группы,—тѣ ученые, которые въ эстетикѣ усматривали не болѣе, чѣмъ „науку о вкусѣ“. Если въ учени, выше приведенномъ, моментъ субъективный, повидимому, устраивается вовсе, не играя въ немъ никакой существенной роли, то въ учени обѣ эстетикѣ, какъ „наука о вкусѣ“, этотъ моментъ получаетъ уже слишкомъ исключительное господство. Каковы же его основанія?—То основаніе, на которомъ покоится все это учение и въ которомъ лежитъ вмѣстѣ съ тѣмъ и причина его односторонности, заключается здѣсь въ слѣдующемъ положеніи, которое выставляли защитники этого учения: *всякий предметъ самъ по себѣ не заключаетъ въ себѣ ни красоты, ни безобразія; но онъ можетъ казаться намъ прекраснымъ только тогда, когда намъ представляется, что въ немъ исполнены всѣ требованія нашей эстетической силы сужденія, всѣ требования нашего собственного эстетического вкуса, и наоборотъ, онъ будетъ казаться некрасивымъ, когда не соответствуетъ нашему вкусу.*—Понятно, въ чѣмъ здѣсь коренится ошибка: *все значеніе, вся сила въ нашемъ познаніи прекраснаго и въ эстетическомъ наслажденіи имъ приписывается тутъ исключительно собственному нашему вкусу*,—этому началу чисто субъективному, измѣнчивому, движущемуся, при чѣмъ вся та красота, какую мы замѣчаемъ въ явленіяхъ природы, какъ и искусства, здѣсь признается не какою-либо объективною, внутреннею принадлежностью самыхъ вещей, но лишь простою фикціей, созданіемъ нашего собственного духа, простымъ отраженіемъ въ вещахъ того прекраснаго, которое дѣйствительно будто бы содержится въ нашемъ только собственномъ „я“, въ нашемъ эстетическомъ вкусѣ. А между тѣмъ самая дѣйствительность является опроверженіемъ такого взгляда: своими фактами она показываетъ, что эстетический вкусъ *каждаго не есть въ насъ что-либо прирожденное, какъ не прирождены и вообще всѣ наши мысли и чувства.* Подобно

этимъ послѣднимъ и эстетический вкусъ нашъ является необходимымъ результатомъ всѣхъ тѣхъ процессовъ, въ которыхъ существенно перерабатываются и усваиваются нашему организму много—различные матеріалы, воспринимаемые нами изъ окружющей среды. Стало быть, эстетический вкусъ нашъ не есть начало первичное въ насъ, не есть нищто прирожденное намъ, не источникъ внутри насъ самихъ, изъ котораго могли бы вытекать во внѣшній міръ явленія прекраснаго; а напротивъ—онъ самъ, т. е. нашъ эстетический вкусъ, возникаетъ и вырабатывается изъ этого внутренняго міра прекрасныхъ явлений, отъ соприкосновенія съ которымъ, именно, эстетической вкусъ каждого и получаетъ свой особенный оттѣнокъ, свою особую внутреннюю окраску, смотря по тому, какія изъ этихъ явлений служили основой всему его внутреннему развитію.

Итакъ, вопреки вышеуказанному ученію, *не предметы природы и искусства дѣлаются прекрасными отъ того, что въ нихъ исполняются требования нашего вкуса; а напротивъ, самый нашъ вкусъ получаетъ свой тонъ и окраску въ прямой зависимости отъ тѣхъ объектовъ прекраснаго, подъ влияниемъ которыхъ мы эстетически развиваемся.*—Вмѣстѣ съ этимъ, слѣдовательно, въ дѣйствительности уничтожается и всякое значеніе тѣхъ пресловутыхъ „определений согласія предметовъ съ нашимъ вкусомъ, на необходимости которыхъ для полученія нами эстетическихъ наслажденій такъ настаиваютъ сторонники этого ученія объ эстетикѣ, какъ наукѣ о вкусѣ.

Любопытна особенно одна черта въ нашемъ пользованіи прекраснымъ, показывающая, насколько въ сущности неважную роль играетъ здѣсь „определение внутренняго согласія самыхъ качествъ предмета съ требованіями нашего собственнаго вкуса“.

Пониманіе прекраснаго или безобразнаго, которое опредѣляло бы наше отношеніе къ эстетическому явлению, какъ извѣстно, довольно часто совсѣмъ не доходитъ до нашего сознанія, оставаясь только простымъ непосредственнымъ чувствомъ; о какихъ бы то ни было нашихъ определеніяхъ соответствія между собственнымъ нашимъ вкусомъ и эстетическими достоинствами вещи здѣсь не бываетъ и рѣчи,

а между тѣмъ такое безсознательное эстетическое наслажденіе бываетъ все-таки глубоко и искренно, не взирая на его безсознательность.—Мало того: даже у самыx художниковъ наслажденіе прекраснымъ, которое вносятъ въ искусствъ они же сами воспроизводятъ въ искусствъ, нерѣдко бываетъ такимъ-же безотчетнымъ, а между тѣмъ ихъ произведенія, возсоздающія вновь эту-же, безотчетно воспринятую красоту, являются прекрасными для цѣлой массы людей съ самыми разнообразными вкусами. Ясно, что если предметъ кажется прекраснымъ для людей, съ самыми разнообразными вкусами, то онъ заключаетъ въ себѣ самомъ особый, самобытный источникъ прекрасного, независимый отъ наблюдавшаго его зрителя или слушателя. Таково значеніе этого субъективнаго момента,—значеніе, какъ видимъ, одностороннее и неважное. Такою же односторонностью страдаетъ здѣсь и самый методъ изученія, являющійся тутъ лишь методомъ психического самонаблюденія, потому что, устремляясь изслѣдованіе всегда къ явленіямъ только личнаго вкуса, происходящимъ внутри насъ самихъ, онъ игнорируетъ объективныя свойства предмета эстетики, прекраснаго, лежащія въ насъ и существующія помимо нашего вкуса въ самыхъ вещахъ.

Существовала далѣе еще многочисленная группа эстетиковъ, которые видѣли въ своей наукѣ лишь „*метафизику прекраснаго*“. Что касается ихъ, то они удаляются уже совершенно въ область абстракціи. Они равно далеки отъ всякихъ началъ эмпирическихъ, будуть-ли то упомянутыя выше наши чувственныя воспріятія, или личный эстетический вкусъ каждого. Чисто сколастически (какъ справедливо замѣчаетъ Lemcke: *populäre Aesthetik*, § 1), эстетика отдалена у нихъ отъ всего чувственного реальнаго міра, такъ что изслѣдованіе нашихъ эстетическихъ чувствованій, изученіе рода и способовъ нашихъ эстетическихъ сужденій, изученіе фактовъ искусства, и проч., оказывалось у нихъ занятіемъ вовсе ненужнымъ, ни къ чему не ведущимъ. Главнымъ, что вполнѣ и исключительно ихъ занимало, было высшее ученіе объ идеяхъ, какъ источники всякой красоты, которое сводилось у нихъ къ такимъ основнымъ положе-

ніямъ: прекрасное есть идея въ явленіи; въ тѣ ренообраз-
нійшия явленія прекраснаго, которые могутъ сдѣлаться намъ
доступными, суть проявленія одной высочайшей идеи; въ осно-
вѣ всего разнообразнаго прекраснаго лежитъ одна высочайшая
идея красоты. Изъ этой то идеи вытекаетъ все индивидуаль-
ное прекрасное отдельныхъ предметовъ въ природѣ, а потому
это прекрасное дѣйствительно познается будто-бы только
тогда, когда познается сама эта высочайшая идея пре-
краснаго: послѣдствія становятся известными только тогда,
когда мы путемъ метафизического проникновенія обладаемъ
познаніемъ общей причины ихъ всѣхъ. Итакъ, прекрасное
всегда и во всемъ, по ихъ ученію, всецѣло зависитъ, отъ еди-
ной идеи, отражающейся въ безконечной массѣ отдельныхъ
явленій. Но такъ какъ идея необходимо духовна по своему
существу, то и нѣтъ ничего прекраснаго,—учать они,—та-
кого, которое не было бы въ своей сущности чисто духов-
нымъ, тогда какъ все это прекрасное, которое мы наблюдаемъ
въ видимой природѣ и искусству, на самомъ дѣль есть толь-
ко слабый отблескъ, отдаленный рефлексъ абсолютнаго ду-
ховно—прекраснаго, несовершенный модусъ той субстанціи,
которая внутренно пребываетъ только въ человѣческомъ
духѣ и божественномъ разумѣ. Таковы основанія этой ме-
тафизики прекраснаго, согласно которой красота отдель-
ныхъ вещей и явлений во всемъ этомъ міре измѣряется ихъ
соответствиемъ съ абстрактной идеей прекраснаго, суще-
ствующей выше этого міра явлений, однако присущей и на-
шей душѣ. Но здѣсь то и заключается коренная ошибка само-
го принципа: психологія, несомнѣнно уже доказала, что высшія
наши идеи въ томъ числѣ и идея прекраснаго, на самомъ дѣль
являются отнюдь не прирожденными человѣку, и не существу-
ющими въ законченномъ видѣ: они образуются въ нашемъ ра-
зумѣ постепенно путемъ логической индукціи,—образуются
изъ всей той суммы впечатлѣній и представлений низшихъ
родовъ и простѣйшихъ понятій, которая и составляетъ весь
психическій матеріалъ для образованія этихъ высшихъ, бо-
лѣе сложныхъ и вмѣстѣ абстрактныхъ идей. Слѣдователь-
но, наши высшія абстрактныя идеи являются только уже
позднѣйшимъ проображеніемъ нашего собственного духа пу-

темъ логической выработки изъ низшихъ психическихъ элементовъ...

Понятно поэтому, что *всѣ наши высшія идеи* (въ томъ числѣ и идея красоты) составляютъ для насъ отнюдь не *первый начальный будто-бы моментъ, прирожденный нашему разуму, но послѣднюю его цѣль*. И мы должны въ противоположность этимъ ученымъ сказать, что не предметы искусства или природы слѣдуетъ признавать прекрасными или непрекрасными по соотвѣтствію ихъ съ абстрактною и неопределенный идею красоты; но наоборотъ, *самую идею красоты необходимо выводить изъ сравнительнаго изученія многочисленныхъ отдѣльныхъ предметовъ*, существующихъ въ природѣ, съ одной стороны, и въ искусствѣ, съ другой.

Достойна отдѣльного разсмотрѣнія, наконецъ, и еще одна группа тѣхъ эстетиковъ, которые видѣли въ нашей наукѣ не иное чѣ, какъ только *теорію изящныхъ искусствъ*, иначе говоря, *философію только искусства*. Но и такой взглядъ на эстетику при своихъ значительныхъ преимуществахъ передъ другими погрѣшаетъ своею *неполнотой,—односторонностью своей правды*. Въ самомъ дѣлѣ, къ чему сводились основы ученія ихъ...

Явленія реальной природы,—говорили они,—даютъ намъ нерѣдко впечатлѣнія красоты,—тѣшатъ наши взоры и слухъ и влекутъ къ себѣ наши эстетическія чувства. Но было бы ошибочно,—учили они,—отыскивать истинно прекрасное въ этихъ явленіяхъ реальной природы: ибо они даютъ только первый толчекъ, только поводъ къ такому отысканію истинно прекраснаго, но сами никогда не достигаютъ этой цѣли, потому что печальная ограниченность дѣйствительного существованія, какъ бы прекрасна она ни была, препятствуетъ этому.

Мало того, можно даже сказать, —учили они, что *та красота, какую мы признаемъ существующую какъ-бы въ самыхъ предметахъ природы, есть на самомъ дѣлѣ только наше же собственное чувство, наше стремленіе къ ней, которое само дополняетъ недостающее въ вещахъ прекрасное. Но гдѣ-же возможно познаніе красоты истинной и каковъ*

путь къ такому познанію.—Если въ цѣломъ рядѣ прекрасныхъ вещей, существующихъ въ природѣ,—отвѣчаютъ они,—человѣкъ не находитъ полнаго удовлетворенія своему стремленію къ красотѣ, то для достиженія его онъ долженъ приблизнуть къ своей собственной творческой дѣятельности, къ перевоспроизведенію этого прекраснаго, взятаго имъ изъ предметовъ и явлений окружающей природы, въ своихъ собственныхъ созданіяхъ искусства. Только тогда, только въ этихъ произведеніяхъ искусства, создаваемыхъ человѣкомъ по своимъ собственнымъ идеаламъ, познаетъ онъ истинно прекрасное,—ту красоту, которая является не призракомъ, быстро появляющимся и столь-же быстро исчезающимъ, какъ въ предметахъ природы, но свойствомъ постояннымъ, пребывающимъ и неизмѣннымъ въ созданіяхъ искусства. Вотъ почему,—увѣряютъ они,—только произведенія искусства съ ихъ въчною нестарѣющею красою, а отнюдь не измѣнчивыя явленія самой природы, должны быть исключительнымъ предметомъ достойнымъ разсмотрѣнія эстетики.

Не трудно понять однако, что правда и здѣсь не полна: что, ограничивая область изслѣдованій эстетики предѣлами только искусства и прекраснаго, заключающагося только въ немъ, проповѣдники этого взгляда умышленно служатъ границы эстетики, быть можетъ, имѣя въ виду большую легкость изслѣдованій въ этихъ болѣе тѣсныхъ предѣлахъ. Но если въ дѣйствительности этимъ и достигается большая легкость изслѣдованія, то съ другой стороны, эстетика подмѣняется здѣсь уже не теорией, а историей искусства, а самые выводы, получаемые отсюда, страдаютъ весьма замѣтной неполнотою и существенной односторонностью: въ нихъ игнорируется,—въ нихъ совершенно отбрасывается все то, безконечное въ своемъ разнообразіи прекрасное, которымъ обладаютъ самые предметы реальной природы,—природы безъискусственной, не создаваемой слабыми въ своей ограниченности человѣческими руками, но существующей по собственнымъ своимъ законамъ, вѣчнымъ и общимъ, и нерѣдко развертывающей передъ человѣкомъ картины, въ своей грандиозности до того величественные и прекрасные, что его собственные созданія кажутся передъ ними сла-

быми и ничтожными, какъ-бы ни гордился самъ человѣкъ своею творческою въ нихъ дѣятельностью. Сверхъ того должно помнить и то, что *весъма многочисленныя изъ этихъ созданий искусства являются на самомъ дѣль только подражаніемъ прекрасной и характерной дѣйствительности*, — подражаніемъ тому прекрасному, которое заключается въ самыхъ предметахъ природы и которое, будучи схвачено человѣкомъ въ его типичныхъ моментахъ, только повторяется въ созданіяхъ его искусства. Значитъ *въ самомъ искусстве мы имѣемъ дѣло уже съ красотой первопроизведенной*, и хотя она при переходѣ черезъ духъ человѣческій очищается и пріобрѣтаетъ нерѣдко гораздо большую выразительность, чѣмъ та, которая замѣчается въ самыхъ вещахъ реального міра, но все-таки *эта красота черпается изъ тѣхъ же красотъ*, которыхъ уже раньше нашли себѣ мѣсто *въ самой природѣ*. Стало быть, это *прекрасное, существующее въ природѣ*, а не прекрасное, возсозданное впослѣдствіи въ искусствѣ, является тѣмъ *первоисточникомъ*, изъ котораго могутъ и должны быть почерпаемы первона-чальные наши познанія относительно красоты. Искусство же со всѣми его красотами является чрезвычайно важнымъ, но все-таки лишь *позднѣйшимъ средствомъ*, при помощи котораго съ большею ясностью и наглядностью могутъ быть *разъясняемы и доказываемы эстетическія положенія*, добытыя уже ранѣе изъ разсмотрѣнія прекраснаго въ самой природѣ. Вотъ въ чёмъ погрѣшность этого взгляда на эстетику, какъ на теорію только изящныхъ искусствъ: *область эстетики здѣсь весъма сужена*, задачи теоріи подмѣняютъ задачи научной исторіи искусства, а *природа*, какъ первоисточникъ прекраснаго, здѣсь *игнорируется*.

Итакъ, если всѣ перечисленные сейчасъ важнѣйшія группы ученій оказываются по существу своему *несостоятельными или односторонними*; если всѣ они охватываютъ лишь *отдѣльныя стороны* предмета, то какое же, (спрашивается) *опредѣленіе задачъ и сущности эстетики* является *исчерпывающимъ весь предметъ, — охватывающимъ всю его стороны и примиряющимъ всѣ указанныя одностороннія крайности..* — Опредѣленіе это должно быть таково: *эстетика*

есть прежде всего наука о прекрасномъ, но прекрасномъ во всей его всеобъемлющей общности, и со всеми его многообразными оттенками, будетъ ли оно находиться въ самой природѣ,—въ этомъ первоисточникъ красоты, или же въ искусствѣ,—въ этомъ мірѣ красоты, воспроизведенной самимъ человѣчествомъ. При этомъ, въ область эстетики входитъ не только прекрасное во всѣхъ его разновидностяхъ, воспринимаемое нашими высшими виньшними чувствами, но и воспринимаемое нашимъ сердцемъ и разумомъ.

Этого мало: къ сферѣ эстетики относится не только изслѣдованіе существа прекраснаго и его проявленій, но и цѣлый рядъ другихъ не менѣе важныхъ задачъ.

Таково въ ряду этихъ задачъ прежде всего изученіе существа, такъ называемыхъ, эстетическихъ наслажденій, какъ ближайшаго слѣдствія эстетическихъ воспріятій. Въ то время, какъ большинство людей, воспріимчивыхъ къ красотѣ, созерцая или слыша прекрасное, наслаждается имъ безсознательно,—изслѣдователи, разрабатывающіе область эстетики, какъ науки, должны устремлять свои усилия къ тому, чтобы *съ помошью методического научнаго изслѣдованія постигнуть, если возможно, самое существо такихъ эстетическихъ наслажденій, а равно и условій, при какихъ эти наслажденія могутъ воздѣйствовать на нашъ организмъ съ наибольшою полнотою и силою.* Такимъ образомъ, эстетика какъ наука, должна заключать въ себѣ не только анализъ прекраснаго въ его существѣ и виньшихъ его проявленіяхъ, въ природѣ какъ и въ искусствѣ; но и анализъ воздѣйствія различныхъ явлений прекраснаго на самого человѣка, обнаруживающихъ себя въ разнообразныхъ эстетическихъ наслажденіяхъ. И стремясь при этомъ дать знаніе того, какія именно формы и явленія прекраснаго и при какихъ условіяхъ способны пробуждать въ человѣкѣ наиболѣе полныя, глубокія и цѣнныя эстетическія наслажденія, эстетика создаетъ тѣмъ самыемъ возможность и впредь совершенно сознательно поставлять насъ самихъ въ такія условія, при которыхъ легче всего и притомъ съ наибольшою силой и яркостью возникаютъ подобныя наслажденія; а художникамъ, композиторамъ и поэтамъ даетъ драгоценныя

указаниі, какими формами, техникою и какимъ содержаніемъ возможно пользованіе для нихъ въ цѣляхъ достиженія при помощи произведеній искусства наибольшей суммы эстетическихъ наслажденій у зрителей или слушателей.

Но всѣмъ, только что указаннымъ, еще не исчерпываются задачи эстетики. Изслѣдователь, работающій въ этой области, имѣеть, кромѣ только что обозначенныхъ, еще и иные, существенно важные задачи, къ выполненію которыхъ онъ долженъ стремиться. Такъ для него является, напримѣръ, необходимостью—изслѣдованіе тѣхъ самыхъ свойствъ человѣческаго организма, которые дѣлаютъ каждого человѣка въ такой или иной, большей или меньшей степени восприимчивымъ къ проявленіямъ красоты; другими словами, оказывается необходимымъ выяснить условія образованія и развитія, такъ назыв., эстетического вкуса. Требуется далѣе раскрыть тѣ сложныя условія, при которыхъ совершаются самые процессы художественного творчества, иначе говоря, разъяснить процессы перевоспроизведенія самимъ человѣкомъ того прекраснаго, которое существуетъ въ окружающей его природѣ и, воспринятое художникомъ изъ нея, возсоздается вновь человѣческимъ гeniemъ при помощи произведеній искусства.... Необходимо отвѣтить и еще на цѣлый рядъ существенно важныхъ вопросовъ, которые требуютъ для себя разрѣшенія въ тѣсной связи другъ съ другомъ и съ подробнымъ разсмотрѣніемъ которыхъ въ исторической ихъ послѣдовательности я имѣю въ виду Васъ ознакомить въ дальнѣйшемъ своеемъ изложеніи.. И такое или иное разрѣшеніе всѣхъ этихъ вопросовъ, какъ узнаете Вы впослѣдствіи, не оставалось часто только теоретическимъ, далекимъ отъ всякаго вліянія на практическую дѣятельность художниковъ. Напротивъ того: въ различныя эпохи (и чѣмъ дальше, тѣмъ въ большей степени) оно оказывалось однимъ изъ важнейшихъ фактовъ, непосредственно вліявшихъ въ томъ или другомъ направлениіи на самую художественную практику въ разнообразныхъ отрасляхъ искусства, на образованіе такого, а не иного теченія въ самой художественной дѣятельности.—Съ другой стороны иная эстетическая теорія, если не во всемъ своемъ цѣломъ,

то въ главнѣйшихъ своихъ частяхъ въ свою очередь зарождались и развивались подъ прямымъ дѣйствiемъ, какое оказывали на нихъ господствующiя течения въ искусствѣ данной эпохи.

Эстетика такимъ образомъ, преслѣдуjeтъ, какъ видите, не одни только чисто теоретические интересы,—не одни интересы отвлеченного философского знанiя, но и задачи практическiя,—и выполнение этихъ послѣднихъ на ряду съ первыми сообщаетъ эстетикѣ особенно важное жизненное значенiе.

Если все вышеуказанное относительно предмета, границъ и задачъ эстетического изслѣдованiя справедливо, то понятенъ и *самый методъ изслѣдованiя*, которымъ должна пользоваться эстетика... *Методъ этотъ долженъ быть весьма сложнымъ*, потому что *прекрасное познается, съ одной стороны, въ предметахъ природы и произведенiяхъ искусства, а съ другой—внутри самого человека, во внутреннихъ тайникахъ его духа*.—Этимъ опредѣляется сложный характеръ самого метода изученiя въ сферѣ эстетики, какъ науки.

Подобно всякой наукѣ эстетика прежде всего предполагаетъ для себя известное собранiе фактическихъ, положительныхъ данныхъ, представляющихъ собою тотъ богатѣйший и разнообразнѣйший матерiалъ, изъ котораго могутъ быть выведимы *ею* самые законы прекраснаго. Эстетика находитъ для себя этотъ матерiалъ въ разсмотрѣнiи явлений прекраснаго какъ въ самой природѣ, такъ особенно и въ исторически развивающемся искусствѣ со всѣми богатствами его памятниковъ; такимъ образомъ, къ исторiи искусства эстетика должна относиться такъ, какъ, напр., философiя исторiи относится къ самой исторiи: она должна дѣлать общiе законообразные выводы изъ тѣхъ, эмпирически собраныхъ данныхъ, которая сообщаетъ ей анализъ явлений и самыхъ памятниковъ искусства.

Но съ другой стороны эстетика должна заниматься какъ сказано раньше, изслѣдованиемъ процессовъ художественнаго творчества, условiй образованiя и развитiя эстетическаго вкуса, возникновенiя эстетическихъ ощущений и съ ними своеобразныхъ наслажденiй. т. п. И изслѣдованiе всего

этого, какъ относящагося къ области явленій *психическихъ* (или *психофизиологическихъ*) должно быть ведено при помощи тѣхъ же самыхъ методовъ, какими пользуется и, такъ называемая *опытная психологія* при разсмотрѣніи явленій, составляющихъ объектъ изученія этой науки: главнымъ образомъ, при помощи *опытовъ*, съ одной стороны, и *наблюдений* съ другой стороны, (—послѣднихъ по преимуществу въ сферѣ *самонаблюдений*).

Что касается, наконецъ *самого порядка*, въ которомъ должна быть излагаема *съ каѳедры эстетики, какъ наука во всемъ ея цѣломъ*, то относительно такового считаю необходимымъ замѣтить здѣсь слѣдующее.

Было время, когда въ западно-европейскихъ университетахъ каждый профессоръ эстетики излагалъ *догматическую систему эстетики*. Однако за долгій періодъ своего примѣненія такой *догматический пріемъ преподаванія эстетики обнаружилъ до очевидности всю его непригодность* для академическихъ чтеній, какъ и *несостоятельность* по своему существу. Каждый изъ этихъ представителей каѳедры обыкновенно старался убѣдить своихъ слушателей въ справедливости и достоинствахъ исключительно только своей собственной эстетической теоріи; каждый только себя считалъ пророкомъ и носителемъ эстетической истины; но при этомъ въ своемъ изложеніи или вовсе умалчивалъ о всемъ разнообразіи мнѣній по каждому изъ вопросовъ эстетики, существовавшихъ въ дѣйствительности; или громилъ своихъ противниковъ, стараясь разрушить ихъ эстетической теоріи, лишенныхъ защиты ихъ авторовъ, и на развалинахъ этихъ разрушенныхъ имъ системъ старался построить свою собственную систему эстетики, новую и не-похожую на другія...

Однако то самое, что продѣлывали такие представители эстетики съ своими противниками,—тѣ въ свою очередь дѣлали со своихъ каѳедръ съ ними самими. И такимъ образомъ слушателямъ приходилось знакомиться вмѣсто единой науки эстетики *съ отдельными системами и субъективными теоріями разныхъ лекторовъ*. При этомъ въ результатѣ оказывалось, что ни одна изъ этихъ системъ не устояла



передъ критикою противниковъ въ своемъ цѣломъ, и одна за другою, опять таки съ точекъ зрѣнія философскихъ системъ этихъ противниковъ всѣ были разрушены... Таковы были печальные для науки послѣдствія примѣненія догматического способа изложенія основаній эстетики, который сводился на дѣлѣ къ исключительному субъективизму, недозволительному въ науку.

Для насть этотъ печальный опытъ прошедшаго является глубоко поучительнымъ и даетъ знаменательныя и ясныя указанія относительно того, какимъ въ настоящее время можетъ и долженъ быть способъ и порядокъ изложенія эстетики, какъ науки, съ академической каѳедры.

Эстетика сама имѣла за собою широкое прошлое,— продолжительное историческое существованіе, въ теченіе котораго разработка ея подвигалась все дальше и глубже во внутреннемъ своемъ развитіи. Эта ея исторія есть длинная и сложная исторія тѣхъ изысканій, которыя производились величайшими философскими умами, равно какъ и лучшими изъ художниковъ въ области прекраснаго въ искусствъ въ природѣ, въ процессахъ самого творчества и т. д. И эта исторія эстетики, всѣ моменты которой заключаются въ послѣдовательной сменѣ однихъ эстетическихъ теорій другими,— должна быть больше всего и прежде всего предметомъ самого глубокаго и серьезнаго изученія, потому что именно въ ней раскрывается намъ яснѣйшимъ образомъ внутреннее, духовное развитіе идеи прекраснаго, какъ умѣли ее понять избранные философскіе умы различныхъ эпохъ изъ среды культурныхъ народовъ... Такимъ образомъ, въ настоящее время, въ виду вышеуказанного, при изложеніи съ каѳедры результатовъ изученія нашей науки, исторія эстетическихъ учений должна обязательно предшествовать созданію самой системы эстетики; и появленіе этой послѣдней, какъ прочной научной системы, можетъ оказаться возможнымъ только послѣ того, какъ будутъ указаны и разсмотрѣны послѣдовательно всѣ важнѣйшія изъ тѣхъ разнообразныхъ учений по вопросамъ эстетики, какія уже ранѣе были высказаны величайшими представительствами философскаго мышенія и самаго искусства въ различные эпохи и у различныхъ народовъ.

Только такой порядок изложения, въ силу которого истории этой науки предшествует самой системѣя, дасть возможность каждому новому изслѣдователю избѣжать въ этой области многочисленныхъ повтореній (вольныхъ или невольныхъ) того, что уже прежними изслѣдователями было высказано и принято, или напротивъ отвергнуто... Только такой порядокъ предохранитъ его отъ одностороннихъ увлечений и ошибокъ, подобныхъ тѣмъ, какія такъ часто показываетъ намъ въ прошломъ исторія эстетическихъ ученій...

Только такой порядокъ, наконецъ, раскрываетъ передъ изслѣдователемъ (и его слушателями) все то, почти безконечное разнообразіе въ высшей степени интересныхъ и поучительныхъ фактическихъ данныхъ добытыхъ философскимъ анализомъ, наблюденіями и опытомъ, которое своимъ появлениемъ обязано многовѣковымъ усилиямъ человѣческой воли и разума и которое, вмѣстѣ съ колоссальными пріобрѣтеніями въ области точныхъ наукъ и искусствъ, представляетъ собою драгоцѣнное достояніе культурнаго человѣчества...

Итакъ, въ виду всего сказанного, признавая несоответственнымъ современному положенію нашей науки догматическое изложеніе эстетики, какъ системы, раньше, чѣмъ будетъ представлена исторія важнѣйшихъ эстетическихъ ученій прошлаго времени,—я имью въ виду посвятить свои послѣдующія лекціи здѣсь именно критическому изложению главнѣйшихъ эстетическихъ ученій въ ихъ послѣдовательной исторической смысли отъ древнѣйшихъ эпохъ.

Въ заключеніе нѣсколько словъ о тѣхъ основаніяхъ критики, какія представляется мнѣ возможнымъ и необходимымъ примѣнять по отношенію къ различнымъ эстетическимъ теоріямъ, созданнымъ въ прошломъ.

Было бы совсѣмъ не научно—пользоваться приемомъ, которымъ къ сожалѣнію пользовались до настоящаго времени весьма многіе; а именно, критиковать разнообразныя эстетическія ученія даже самыхъ отдаленныхъ эпохъ, разделенные отъ критика не только десятками лѣтъ, но и цѣлымъ рядомъ столѣтій,—kritиковатъ ихъ съ субъективной точки зренія автора конца 19-го или начала 20-го вѣка. Само собою понятно, что философы и художники прошлаго

времени, отдѣленные отъ насть огромными periodами; имѣвшіе передъ собою лишь малую часть тѣхъ произведеній искусства, какія извѣстны намъ въ настоящее время въ такомъ изумительномъ разнообразіи направленій и содержанія,—естественно не могли учить объ искусствѣ,—о формахъ его, о внутреннихъ по существу направленіяхъ его и задачахъ, и проч., съ такой полнотой и въ томъ духѣ, въ какомъ они же сами могли бы высказываться теперь, еслибы жили и учили одновременно съ ихъ новыми критиками... То-же и по отношенію къ изслѣдованію самыхъ процессовъ художественного творчества, анализу эстетическихъ удовольствій, и т. д.—Не имѣя въ своемъ распоряженіи той массы драгоцѣнныхъ пріобрѣтеній, какія доставила за послѣднее время, такъ назыв., опытная научная психологія (вмѣстѣ съ физіологіей), философы и художники прежняго далекаго времени естественно не умѣли рѣшить многихъ вопросовъ, сюда относящихся, съ тою точностью, опредѣленностью, съ тою ясностью и устойчивостью, какія возможны только теперь, послѣ сдѣланныхъ точной наукой открытій... Итакъ, такой пріемъ критики непріемлемъ въ эстетикѣ, какъ наукѣ. *И я имью въ виду прилагать къ ней иные пріемы, на иныхъ основаніяхъ.*

Съ одной стороны, во всѣхъ случаяхъ, гдѣ возможно, я буду стремиться къ тому, чтобы выяснить генетическое появленіе каждого опредѣленного эстетического ученія изъ цѣльной и связной системы того-же философа, которому принадлежитъ и данное эстетическое ученіе, и притомъ въ тѣсной связи съ господствующимъ міросозерцаніемъ той-же эпохи...

Съ другой стороны, повсюду, гдѣ будетъ представляться возможность къ тому, я буду дѣлать попытки—выяснить внутреннія соотношенія между данною эстетической теоріей и самою творческой практикою того-же самаго времени,—между теоретическими взглядами опредѣленного философа (или художника и ученаго) на искусство и самыми произведеніями этого искусства, которые должны были быть извѣстны въ эпоху, когда жилъ и училъ этотъ

философъ, ученый или художникъ. И именно въ этомъ непосредственномъ отношеніи каждого эстетического ученія къ действительному состоянію искусства въ данную соотвѣтствующую эпоху представляется мнѣ одинъ изъ лучшихъ критеріевъ для сужденія о достоинствахъ и недостаткахъ каждой эстетической теоріи, если не абсолютно, то по крайней мѣрѣ по отношенію къ эпохѣ ея возникновенія и къ ея автору.

Вотъ что хотѣлъ я выяснить вамъ ранѣе, чѣмъ приступить къ изложенію самой исторіи разнообразныхъ эстетическихъ ученій древняго и новаго времени.

Исторія эстетическихъ ученій классической древности.

I.

Эстетическая возврѣнія, выраженные въ произведеніяхъ Гомера, Гезіода и Пиндара.

Мы обращаемся теперь къ самой исторіи эстетическихъ ученій на первоначальныхъ ступеняхъ ея развитія въ классической древности, въ ихъ своеобразной, и наивной еще примитивной формѣ.

Какой моментъ можетъ быть признанъ началомъ этой исторіи?..—Въ отвѣтъ на это можно сказать слѣдующее. Зачатки теоріи искусствъ, зачатки эстетики,—(понимая это слово для рассматриваемой эпохи, лишь какъ совокупность отрывочныхъ пока мнѣній о происхожденіи, цѣли, содержаніи и дѣйствіи искусства на человѣка),—такіе зачатки эстетики могутъ быть указаны уже въ отдаленнѣшія времена классической древности. Въ этомъ смыслѣ теорія искусствъ такъ-же стара, какъ старо и самое искусство. Въ этомъ же смыслѣ, съ древнейшимъ поэтомъ классической древности, съ Гомеромъ, начинается и самая исторія эстетическихъ ученій.¹⁾.

¹⁾ См. Ed. Müller: Geschichte der Theorie der Kunst bei den Alten стр. 7 и сл.

Гомеръ.

Перенесемся на время въ ту отдаленную эпоху, когда жили великие греческие поэты: Гомеръ, позднѣе Гезіодъ, Пиндаръ и другіе, въ эпоху съ своеобразнымъ, непохожимъ на всѣ послѣдующія, характеромъ міропониманія, въ которомъ всѣ взгляды проникнуты еще яркой религіозной окраской, и посмотримъ, каковы были *воззрѣнія Гомера* прежде всего на самый источникъ его поэтическаго творчества.— Какъ первую, такъ и вторую свою поэму поэтъ начинаетъ какъ извѣстно непосредственнымъ обращеніемъ къ музамъ. Въ Иліадѣ поэтъ говоритъ: Гнѣвъ, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына... Въ Одиссеѣ: „Назови мнѣ, Муза, того человѣка, который.... и т. д.— Внимательно въ содеряніе этихъ призывовъ и вы увидите въ нихъ серьезный и важный эстетическій смыслъ. *Поэтъ отнюдь не считаетъ себя самого виновникомъ собственного своего пѣнія:* онъ какъ будто совсѣмъ устраняетъ отъ творчества свою собственную личность и помѣщаетъ всецѣло *первоисточникъ своего пѣснопѣнія въ уста самихъ божественныхъ музъ.* Самъ онъ—по его мнѣнію,—только простой передаточный органъ, сообщающій смертнымъ все то, что воспѣли уже для слуха поэта блаженные музы. И это не простая скромность поэта, а его глубокое и искреннее религіозное убѣждение. Точно таковъ-же его взглядъ и на творчество всѣхъ остальныхъ поэтовъ, потому что и они всѣ,—по его убѣженію,—*обязаны своимъ творчествомъ въ однихъ случаяхъ музамъ, въ другихъ Аполлону.* Онъ говоритъ, напримѣръ въ Одиссеѣ: „*ησέγε Μοῦσοδιδάξε, Διὸς παῖς ησέγε* ‘*Απόλλων*’“,—Одиссея (8,488): „или тебя научила Муза, Зевсово чадо, или тебя просвѣтилъ Аполлонъ“.—Поэты,—увѣряетъ Гомеръ,—не нуждаются ни въ какомъ обученіи: они—*самоучки*, но не смотря на это, они способны передавать человѣчеству великія и глубокія истины, потому что *сами боги насаждаютъ эти истины въ ихъ сердцахъ.* Вотъ почему Фемій (Рhemios), пѣвецъ жениховъ въ домѣ Одиссея, имѣлъ право сказать о себѣ (Одис. 22, 347): „я самоучка; но сами боги насадили въ душѣ моей многоразлич-

ные образы” (*αὐτοδίδαχτος δὲ εἰ μὲν ἐν φρεσὶν οἷμας πάντοιας ἔνεψυχεν*).—Когда эти живые, производительные образы переполняютъ, наконецъ, сердце поэта, тогда онъ спѣшитъ излить ихъ въ своихъ пѣснопѣніяхъ, стараясь съ своей стороны подыскать для нихъ подходящія, наиболѣе изящныя формы,—облекая всѣ эти образы, которые переполняютъ его воображеніе, въ формы прекрасной размѣренной рѣчи, въ гармоничныя эпическія строфы. Что касается внутренняго содержанія этихъ пѣсенъ, то чаще всего божественныя музы, озаряя поэта внезапнымъ свѣтомъ вдохновенія, заставляютъ его воспѣвать *δύναμις самихъ боговъ и героевъ*; (Од. 8, 45) и эта пѣснь поэта преисполнена величайшей *правды*, потому что вѣдь сами богини являются виновницами ея. Въ силу этой-же помоши божественныхъ. Музъ, она, эта пѣснь поэта, съ такою же ясностью представляетъ далекое прошлое, съ какой проникаетъ и въ тайны грядущаго, сокрытыя отъ всѣхъ обыкновенныхъ смертныхъ. (Од. 8, 480). Таковы тѣ немногіе выводы, которые возможно сдѣлать относительно эстетическихъ воззрѣній Гомера по отрывочнымъ, какъ мы видимъ, скучнымъ материаламъ, находящимся въ собственномъ его эпосѣ.

Гезіодъ.

У другого изъ древнихъ эпическихъ поэтовъ, у *Гезіода*, мы находимъ воззрѣнія, чрезвычайно близко подходящія къ указаннымъ только что взглядамъ его великаго предшественника. Здѣсь—то же исчезновеніе всей личности поэта, то же поглощеніе ея великими силами божества, въ которыхъ поэтъ находитъ источникъ своего творчества, и на которыхъ зиждется все величіе его объективныхъ произведеній. Пожелавши объяснить всему миру, откуда почерпалъ онъ свое вдохновеніе, Гезіодъ дѣлаетъ это во введеніи къ своей „*Ѳеогонії*“ (Theogonie, 25 f. ed. Wolf.). Онъ говорилъ, что ему, который пасъ овецъ у подножія горы Геликона, неоднократно являлись музы и въ грубую гортань его, невѣжественнаго пастуха, влагали божественное пѣнье для того, чтобы онъ возвѣщалъ всѣмъ людямъ

прошедшее и будущее міра. Для того, чтобы ясно увидѣть всю глубину проникновенія древняго поэта въ процессы творчества, сравните эти слова съ содержаніемъ стихотворенія „Пророкъ“, принадлежащаго великому русскому поэту, и вы найдете тамъ взглядъ сходный съ этимъ черезъ 2¹/₂, тысячи лѣтъ въ его извѣстныхъ строфахъ.... „И вырвалъ грѣшныи мой языкъ и празднословный и лукавый, и жало мудрыя змѣи въ уста замерзшія мои вложилъ десницею кровавой“... Разница только въ томъ, что у поэта 19 столѣтія мѣсто божественныхъ музъ занимаетъ шестикрылый серафимъ, являющійся поэту вмѣсто богинь, но мысль о преобразованіи обычнаго пошлаго языка въ яркій и сильный языкъ поэта подъ вліяніемъ вдохновенія,—эта мысль сходна и у Гезіода, и у Пушкина.... И поэтъ дѣйствительно выполняетъ свое призваніе самымъ послѣдовательнымъ образомъ. Въ своей „Ѳеогонії“ Гезіодъ дѣйствительно рисуетъ послѣдовательныя картины самаго далекаго прошлаго вселенной, съ одной стороны; а съ другой—картины отдаленаго будущаго, которое должно случиться въ силу вѣчныхъ законовъ природы.—Такимъ образомъ, поэтъ проводитъ и въ практику своего творчества тотъ основной принципъ творчества, который былъ высказанъ у него въведеніи къ Ѣеогоніи.

Мы добавимъ здѣсь, въ дополненіе къ предыдущему еще только то обращеніе, съ какимъ отнеслись, въ томъ-же введеніи, сами музы къ поэту: „Мы умѣемъ,—вѣщаютъ онѣ.—(Theog. 27. 28.),—говорить весьма многое вымыщенное, которое по виду похоже на истинное; но мы же умѣемъ, когда пожелаемъ, возвѣщать и безусловное истинное“. —Въ этихъ немногихъ словахъ, въ этомъ короткомъ обращеніи заключается глубокая истина, впослѣдствіи разработанная эстетиками и, стало быть, еще смутно, но искренно чувствуемая древнимъ поэтомъ. Какъ будто устами божественныхъ Музъ, поэтъ раскрываетъ намъ въ этихъ словахъ собственный взглядъ свой на сущность поэзіи, который почти совпадаетъ съ позднѣйшими, подробно обоснованными взглядами изслѣдователей на тотъ-же пред-

метъ: поэтическое произведеніе не должно быть рабской, неукоснительной копіей съ дѣйствительно случившагося; но оно не должно также возпроизводить ничего такого, что можетъ показаться неправдоподобнымъ, хотя бы въ дѣйствительности это послѣднее было фактомъ; содержаніемъ истинно поэтическаго произведенія должно служить одно изъ двухъ: или, въ однихъ случаяхъ, *вымыселъ самого поэта*, но непремѣнно такой, чтобы все его содержаніе являлось абсолютно *правдоподобнымъ* т. е. чтобы вымышленное казалось вся кому дѣйствительно происшедшемъ; или, въ другихъ случаяхъ, этимъ содержаніемъ является *истинное, въ дѣйствительности случившееся*, но тогда это истинное должно оказываться въ то же самое время *типичнымъ* и правдоподобнымъ для того, чтобы не только быть, но и казаться истиннымъ; другими словами, оно должно имѣть не только глубоко-правдивое содержаніе, но и типичную, часто встрѣчающуюся и потому правдоподобную внѣшнюю форму, для того чтобы даже съ внѣшней стороны не являлось сомнѣній въ полной истинности самаго содержанія.

Указывая на это, мы въ правѣ выразить свое удивление по отношению къ этому поэту—самоучкѣ, который, единственно силою своего внутренняго поэтическаго чутья умѣлъ предугадать одну изъ тѣхъ глубокихъ эстетическихъ истинъ, къ которой пришли только много позднѣе ученые изслѣдователи при помощи анализа самыхъ произведеній поэзіи.

Есть у Гезіода еще одинъ пунктъ его эстетического пониманія, который заслуживаетъ того, чтобы его указать здѣсь отдельно: это его взглядъ на *практическое, чисто жизненное значение искусства*. Это жизненное значеніе искусства, по мнѣнію поэта—громадно: оно заставляетъ страдальца забывать о самыхъ глубокихъ страданіяхъ; оно даетъ успокоеніе наболѣвшему сердцу и, перенесши слушателя при помощи звуковъ въ область прекраснаго вымысла, тѣмъ самымъ уноситъ его изъ этого печального міра дѣйствительности. „Если кто-нибудь,—говорить намъ поэтъ (*Theog.* 98),—нося въ своемъ истерзанномъ сердцѣ печаль, глубоко скорбитъ, то лишь только коснется его слуха

голосъ пѣвца, поющаго славу боговъ или предковъ, онъ тотчасъ забудетъ о всѣхъ своихъ скорбяхъ и уже не можетъ болѣе чувствовать печали". Трудно яснѣе признать практически важное и цѣнное въ жизни значеніе музыки и поэзіи...

Пиндаръ.

Такую же религиозную окраску всѣхъ эстетическихъ воззрѣній, какую мы только что видѣли у двухъ древнѣйшихъ эпическихъ поэтовъ, мы замѣчаемъ позднѣе и въ воззрѣніяхъ третьяго, уже лирическаго поэта, Пиндара. И онъ, какъ Гезіодъ и Гомеръ, обращается къ Музамъ: у нихъ, подобно тѣмъ, онъ ищетъ своего вдохновенія, и онъ, дѣйствительно, являются для него источникомъ его творчества. Онъ обращается къ музѣ и говоритъ ей: „О блаженная Муза. исполни сердце мое твоимъ пѣніемъ; начни ты сама это пѣніе, а я постараюсь изукрасить его хорами и музыкой лиры".—(Nem. 3, 10).—Итакъ, роль Музѣ тутъ та-же, какую признаютъ еще Гомеръ и Гезіодъ; но значеніе самого поэта уже выставляется съ большею силою, съ большею опредѣленностью. Поэтъ со всею своею личностью уже не совершен-но исчезаетъ въ своемъ произведеніи, не поглощается высшими существами, но имѣетъ свои опредѣленныя задачи, которыхъ выполненіе онъ можетъ смѣло относить къ своей собственной, а не ко внѣшней божественной дѣятельности. Блаженные Музы даютъ ему главное: онъ вдохновляютъ его такими или иными идеями, или образами, сообщаютъ ему общее и цѣлое,—то, что становится содержаніемъ поэтическаго произведенія; но для него самого еще остается значительная работа: онъ долженъ уже самостоятельно подыскать подходящія *внѣшнія формы* для сообщенныхъ ему музами высокихъ идей; онъ же долженъ обставить ихъ всѣми второстепенными аксессуарами, въ видѣ *хоровъ и музыки*, для того, чтобы то прекрасное содержаніе, которое онъ получилъ, какъ даръ отъ богинь, явилось человѣчеству прекраснымъ и по внѣшней формѣ. Конечно, и въ этомъ послѣднемъ трудѣ поэта не оставляютъ безъ помоши тѣ же богини: онъ помогаютъ ему,—какъ говоритъ самъ Пиндаръ,—„находимые имъ образы сплетать въ дорические ритмы". Но какъ мы видимъ, поэту остается, все еще не

мало серьезной работы, относящейся къ *выработкѣ самыхъ формъ поэтическаго произведенія*, и эту послѣднюю работу, онъ при всей своей скромности и глубокой религиозности имѣеть полное право отнести за свой уже собственный счетъ. Вотъ эту-то именно сторону творческой дѣятельности поэта, эти труды его по обработкѣ внѣшней формы произведеній и разумѣетъ Пиндаръ, когда говорить о „сладкихъ заботахъ поэта“...

Указывая здѣсь такое отличіе взгляда Пиндара на источникъ поэтическаго творчества отъ взглядовъ двухъ предыдущихъ поэтовъ, мы еще одинъ разъ останавливаемъ внимание на томъ существенномъ пункѣ его, въ которомъ мы видимъ *прогрессъ* его по сравненію съ прежними: оба древнѣйшіе эпические поэта не признаютъ за собой никакого значенія въ дѣлѣ созданія своихъ собственныхъ произведеній; они считаютъ себя только простыми передаточными органами между божествомъ и остальнымъ человѣчествомъ. Пиндаръ также признаетъ за первоисточникъ своего поэтическаго творчества тѣхъ-же божественныхъ Музъ; но его анализъ идетъ дальше и онъ убѣждается, что если необъяснимый, таинственный процессъ свѣтлаго творческаго одушевленія необходимо отыскивать въ какомъ то высшемъ наитіи, въ наитіи божества, то все же и на долю самого поэта съ его ограниченными силами слѣдуетъ отнести второстепенную, но ясно очерченную работу въ отношеніи сознательной обработки внѣшнихъ формъ поэтическаго произведенія. Таковъ прогрессъ субъективнаго начала въ эстетическихъ взглядахъ древнѣйшихъ классическихъ поэтовъ, который нашелъ себѣ еще дальнѣйшее развитіе въ позднѣйшихъ, уже философски обоснованныхъ эстетическихъ положеніяхъ.

Во всѣхъ остальныхъ отношеніяхъ взгляды Пиндара находятся въ полномъ согласіи съ воззрѣніями обоихъ его предшественниковъ. Мы видимъ и у него то-же высокое мнѣніе о практической жизненной цѣльности искусства; мы встрѣчаемся и здѣсь съ тою-же глубокою вѣрой поэта въ пророческую силу своего слова, воспринятаго имъ отъ божества. Величіе искусства для него несомнѣнно, какъ несомнѣнно и его высокое, очищающее страданія, дѣйствіе. Такъ,

напр., Въ своей 1-й Пиөїской хвалебной пѣснѣ онъ рисуетъ намъ силу и значеніе искусства для всего живущаго въ слѣдующихъ прекрасныхъ выраженіяхъ: „небесные звуки киѳары смягчаютъ даже вѣчный огонь пламенныхъ молний, и дремлетъ подъ эти звуки грозный орелъ на Зевсовомъ скіптрѣ, распустивши свои широкія крылья, и сладкій сонъ смежаетъ его вѣки; и даже могучій Аресъ, богъ войны, услаждаетъ ими свое сердце, оставляя далеко въ сторонѣ свое боевое копье“...

Онъ также убѣжденъ въ пророческой силѣ своихъ пѣснопѣній и прямо называетъ себя пророкомъ Музъ (Pindar. Prosod, frasm. 3.), потому что онъ передаетъ обыкновеннымъ смертнымъ вѣщанія Музъ. „Пророчествуй мнѣ,—о богиня,—говоритъ онъ,—а я возвѣщу твои пророчества людямъ“.—Вотъ почему поэтъ считаетъ себя въ правѣ сравнить себя съ божественною птицею Зевса, съ орломъ, и причислить себя, какъ поэта, къ особому—высшему и священному роду пѣвцовъ,—питомцевъ божественныхъ Музъ.

Мы подведемъ теперь краткій общий итогъ всему предыдущему,—садѣаемъ краткую общую характеристику эстетическихъ воззрѣній всѣхъ этихъ трехъ поэтовъ, представляющихъ собою самостоятельную, особую степень въ исторіи эстетическихъ ученій, и отыскивая у всѣхъ нихъ то общее, характерное для нихъ, что выдѣляетъ эти воззрѣнія въ самостоятельную группу, мы находимъ его въ слѣдующемъ. Ихъ эстетическія воззрѣнія, поскольку они выражались въ ихъ произведеніяхъ, являются прямымъ, необходимымъ послѣдствиемъ подчиненія ихъ тому міросозерцанію всего греческаго народа данной эпохи, которое характеризуется въ своемъ внутреннемъ содержаніи элементами религіозными, еще далекими и чуждыми характера строго эстетического.—И это вліяніе яснѣе всего сказалось во взглядахъ поэтовъ на причины и цѣли всякаго творчества. Причины явленія, въ данномъ случаѣ *причины или источники поэтическаго творчества*,—отыскивались ими пока еще не въ реальныхъ, естественныхъ силахъ природы и не въ самомъ человѣкѣ, а въ его, въ силахъ постороннихъ, лежащихъ выше всего человѣческаго,—въ самомъ божествѣ, ко-

торое являлось для нихъ всякой разъ дѣйствующимъ нача-
ломъ, и въ его божественной волѣ, а не въ распоряженіи
и власти самого человѣка (поэта и художника), заключалась,
по ихъ убѣжденію, возможность творческаго созиданія. Въ
этомъ отнесеніи причинъ художественнаго творчества не
къ художнику и поэту, а къ самимъ божествамъ—заключа-
лась первая основная черта, характеризующая собою содер-
жаніе этого примитивнаго *религіозно-естетическаго міросозерцанія*.

Другимъ существеннымъ пунктомъ, въ которомъ про-
является то-же характерное направленіе, нужно признать
ихъ воззрѣніе на конечную цѣль поэтическаго творчества.
Поэтъ есть служитель *Музъ и ихъ пророкъ*; онъ передаетъ
человѣчеству ихъ божественные вѣщанія,—тѣ высокія исти-
ны, которые, не будь поэта, остались бы для всѣхъ неиз-
вѣстными. Правда, они признаютъ, наблюдая дѣйствитель-
ность, что это божественное пѣніе, внущенное поэту Музами;
это высокое содержаніе его, имѣющее божественный
источникъ, порождаютъ въ душѣ человѣка глубокое и ис-
кренне *наслажденіе, очищающее его отъ житейскихъ страданій*.—Однако не это собственно эстетическое наслажденіе
служитъ по ихъ мнѣнію, конечною цѣлью поэзіи, а *знаніе тѣхъ божественныхъ истинъ*, которые, какъ объявленіе бо-
жеской воли и разума, должны при помоши поэта сдѣлать-
ся достояніемъ непросвѣтленнаго, невѣжественнаго человѣ-
чества для руководства ими въ духовной жизни. Таковымъ
оказывалось общее значеніе этихъ первыхъ своеобразныхъ
попытокъ—дать разъясненіе сущности и задачъ поэтиче-
скаго творчества, представленныхъ самими поэтами въ со-
ответствіи съ общими основами народнаго міросозерцанія
разсмотрѣнной нами древнѣйшей эпохи.

II.

Эстетическая воззрѣнія Сократа.

Выдѣляя эстетическую воззрѣнія Сократа въ особую
главу, я долженъ сдѣлать тутъ прежде, чѣмъ перейти къ
ихъ разсмотрѣнію, одно замѣчаніе. Эстетическая воззрѣнія

Сократа, какимъ онъ былъ въ дѣйствительной жизни,—того Сократа исторического, какимъ мы узнаемъ его преимущественно изъ сообщеній о немъ Ксенофонта,—эти воззрѣнія должно явственно отличать отъ воззрѣній того Сократа, котораго представляетъ намъ въ своихъ сочиненіяхъ Платонъ, передающій устами своего учителя по большей части лишь собственные свои мысли, нерѣдко не имѣющія съ міросозерцаніемъ исторически существовавшаго Сократа ничего общаго. Сократъ, какъ лицо историческое,—проводившій свою жизнь и дѣятельность на площадяхъ и улицахъ среди народа аѳинскаго въ постоянныхъ изслѣдованіяхъ разнообразныхъ областей знанія въ борьбѣ съ сильнейшими софистами своего времени,—этотъ Сократъ (въ отличіе отъ того, съ воззрѣніями котораго мы познакомимся далѣе у Платона) въ области эстетики никогда не уходитъ въ сферу тѣхъ метафизическихъ отвлеченныхъ общихъ разсужденій, абстракцій, которые такъ дороги для самого Платона. Въ разговорахъ со своими друзьями или соперниками по краснорѣчію, софистами, онъ ограничивается обыкновенно лишь краткими частными замѣчаніями относительно прекраснаго въ явленіяхъ, не восходя при этомъ отъ небольшихъ группъ существующихъ сходныхъ явленій и отъ эмпирическихъ обобщеній, касающихся этихъ послѣднихъ до тѣхъ высочайшихъ и всеобъемлющихъ метафизическихъ положеній, до которыхъ съумѣлъ возвыситься геніальный его ученикъ. Вотъ почему и самые выводы его не отличаются ни такою широтою, ни тѣмъ блескомъ изложенія и могучимъ полетомъ фантазіи, какими отличается рѣчь о прекрасномъ въ его существѣ у этого послѣдняго (Платона). Но за то они, какъ будетъ показано, и не разрушаются такъ легко, какъ у Платона, сохраняя цѣну во многомъ до нынѣ.

Обращаемся теперь къ разсмотрѣнію самаго содержания изслѣдованій Сократа въ области прекраснаго¹⁾...—Ксе-

¹⁾ Выясненію эстетическихъ воззрѣній Сократа посвящены также у *M. Schasler: Kritische Geschichte d. Aesthetik*, S. 75—77; *C. Hermann: die Aesthetik in ihrer Geschichte* S. 17—25; *I. Walter: die Geschichte der Aesthetik im Altertum*, S. 149 f. и 121 f.

нофонтъ, который, какъ сказано, является главнѣйшимъ источникомъ по интересующимъ насъ вопросамъ, сообщаетъ намъ свѣдѣнія, дающія основаніе утверждать, что изслѣдованія эти были ведены Сократомъ болѣе въ области прекраснаго въ смыслѣ нравственнаго, чѣмъ прекраснаго въ смыслѣ эстетическомъ, и что своею важнѣйшею цѣлью они имѣли не раскрытие существа прекраснаго самого въ себѣ, а выясненіе взаимнаго соотношенія въ человѣкѣ между красо-*тою наружною, тѣлесною, и красотою внутреннею, духовною*, между прекраснымъ въ его обнаружениіи во внѣшнихъ формахъ, съ одной стороны, и во внутреннемъ его содержаніи, съ другой.— „Сократъ,— говоритъ Ксенофонтъ (Оекономик. VI, 13—1),— желалъ бы подробно и точно разматривать и доброе, и прекрасное. Однако у него оставалось слишкомъ мало времени для разсмотрѣнія (наряду съ добрымъ) также и тѣхъ произведеній плотниковъ, кузнецовъ, скульпторовъ и живописцевъ, которые признаются прекрасными,— оставалось слишкомъ мало времени потому, что въ своемъ изслѣдованіи онъ занятъ былъ по преимуществу разсмотрѣніемъ вопросовъ о томъ, *поскольку и какъ въ человѣкѣ соединяется прекрасное съ добрымъ...*

Такимъ образомъ, главнѣйшимъ предметомъ изслѣдованія Сократа являлось выясненіе истинаго содержанія общеизвѣстнаго понятія калокагатія (*καλοκαγαθіа*), и потому именно съ изслѣдованія его въ этой области нравственно-эстетического содержанія естественнѣе всего начать наше изложеніе.

Идеаломъ древняго грека была такъ наз. калокагатія (*καλοκαγαθіа*). Но что такое она представляетъ по существу своему?.. Изслѣдуя это понятіе, которое въ общежитіи употреблялось въ силу своей неопределенности въ разнообразныхъ смыслахъ, Сократъ раздѣляетъ это сложное понятіе на двѣ простыя части, входящія въ составъ всего сложнаго цѣлага, и опредѣливши внутреннее значеніе каждой изъ нихъ въ отдельности, старается установить ту взаимную связь, которая существуетъ между ними обѣи-

ми*).—Когда говорятъ относительно кого-либо, что онъ есть „*καλὸς καὶ αὐαθός*“ (калосъ кагатось),—что онъ „*добръ и прекрасенъ*“,—то выражение это возможно понимать въ одномъ изъ двухъ соотношений между обѣми составными частями его. Во первыхъ, такъ, что самая эта личность по внутреннимъ своимъ качествамъ оказывается „*доброю*“, т. е. способною къ той или другой дѣятельности; тогда „*прекрасными*“, т. е. *удачными* или *совершенными*, будутъ создаваемыя этимъ лицомъ произведенія. Во вторыхъ, такъ, что индивидуумъ является „*прекраснымъ*“ по своей *наружности*, и тогда „*добрымъ*“ онъ можетъ быть по своимъ *внутреннимъ, душевнымъ* качествамъ. Изъ двухъ этихъ возможныхъ комбинацій первая оказывается въ дѣйствительности вполнѣ естественной и почти постоянной, такъ какъ вполнѣ естественно, что произведенія хорошихъ, знающихъ свое дѣло и искусныхъ мастеровъ бываютъ обыкновенно прекрасными, совершенными по исполненію. Однако при существованіи такой комбинаціи каждый изъ этихъ искусственныхъ мастеровъ не можетъ быть названъ *καλὸς καὶ αὐαθός*, ибо одна составная часть этого понятія агатось (*ἀγαθός*) прилагается *къ самому человѣку*, а другая—*къ создаваемымъ имъ произведеніямъ*. При существованіи второй изъ указанныхъ комбинацій обѣ составные части рассматриваемаго понятія относятся *къ самому человѣку*, такъ какъ одинъ и тотъ же человѣкъ можетъ быть и прекраснымъ по наружности, и добрымъ по своему характеру, и способнымъ къ разнобразнымъ дѣятельностямъ; но *такое соединеніе, являющееся вполнѣ возможнымъ, оказывается однако вопреки общепринятыму въ Греціи взгляду далеко не постояннымъ*, и такимъ образомъ *красота внешняя* далеко не всегда служитъ *признакомъ или условиемъ существованія красоты внутренней*, духовной, и обратно, *наружное безобразіе не есть признакъ внутренняго уродства духовнаго*, какъ полагали древніе греки обычно ранѣе Сократа и въ его эпоху. Итакъ, если исключить первую комбинацію, что такое представляетъ

*) Xenophont. *Оeconom.* гл. VI, 15 и сл. Ср. I. Walter: *d. Geschichte d. Aesthetik im Alt.* S. 121 и сл.

халок'аудіа, понимаемая въ смыслѣ послѣдняго изъ указанныхъ соотношений?.. Принимая такое толкованіе, которое было бы соотвѣтствующимъ народному пониманію этого слова, пришлось бы разумѣть подъ *халок'аудіа* гармоническое сочетаніе прекрасной внешней формы съ прекрасными свойствами самого духа даннаго человѣка, съ его разнообразными умственными, нравственными и въ частности специально политическими добродѣтелями. Чтобы убѣдиться въ томъ, что именно таково было народное пониманіе *халок'аудіа*, стоитъ только по мнѣнію Сократа разсмотрѣть, какими отличительными чертами характеризуется какое-либо отдѣльное, существующее въ дѣйствительности лицо, которому по общему признанію всѣхъ гражданъ присуща такая *халок'аудіа*. И Сократъ поступаетъ именно такъ, избирая объектомъ разсмотрѣнія нѣкоего Исхомаха (Ischomachos), которому по обще-народному мнѣнію приписывалось название „*халдск'аудбс*“, и на почвѣ частнаго, исторически даннаго, анализируя критически содержаніе отличительныхъ свойствъ тѣла и духа рассматриваемаго лица, ради которыхъ народъ приписывалъ этому послѣднему указанное название, приходитъ къ заключенію о необходимости исправить въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ это пониманіе отъ заключающихся въ немъ недостатковъ и представить съ своей стороны иной болѣе высокій и философски болѣе строго продуманный образецъ такого сочетанія внутреннихъ и внешнихъ качествъ, ради котораго обладателя ихъ можно было бы назвать *халдск'аудбс* въ лучшемъ и наиболѣе правильномъ смыслѣ этого слова.

Мы оставляемъ однако Сократа въ дальнѣйшемъ развитіи его пространныхъ и обстоятельныхъ разсужденій относительно недостаточно возвышенного и правильнаго пониманія *халок'аудіа* и о замѣнѣ его инымъ, лучшимъ и философски болѣе строго обоснованнымъ, ибо разсужденія эти имѣютъ слишкомъ мало общаго съ содержаніемъ эстетики, и обращаемся непосредственно къ воззрѣніямъ этого философа на *прекрасное*, какъ объектъ изслѣдованія эстетического.—Въ эту далекую эпоху, когда понятія о красотѣ съ ея оттенками были еще совершенно неясны и спутаны

въ теоретическихъ опредѣленіяхъ, Сократъ впервые дѣлаетъ попытки выяснить себѣ и другимъ, если не самое существо красоты, то по крайней мѣрѣ важнѣйшіе ея признаки и условія. И въ своихъ разговорахъ о красотѣ обычнымъ способомъ вопросенія онъ въ значительной степени успѣваетъ достигнуть этого. Отыскивая однажды въ разговорѣ съ однимъ изъ своихъ собесѣдниковъ, нѣкимъ Аристиппомъ (Memorab. III, 8, 4. 5. 6), ближайшее опредѣленіе *содержанія прекраснаго*, Сократъ прежде всего указываетъ на то обстоятельство, что если сравнить одни съ другими длинный рядъ разнородныхъ предметовъ, считающихся прекрасными, то покажется, что всѣ они представляются различными относительно другъ друга и тѣмъ не менѣе всѣ вполнѣ заслуженно носятъ название прекрасныхъ. Поэтому чтобы раскрыть, *въ чёмъ именно заключается прекрасное*, должно сдѣлать это отнюдь не при помощи простого перечисленія прекрасныхъ вещей, хотя бы такое перечисленіе могло охватить даже всѣ эти вещи во всемъ ихъ существующемъ разнообразіи; нѣтъ: сдѣлать это должно посредствомъ указанія того особеннаго качества, *въ силу котораго всѣ эти разнообразныи вещи получаютъ название прекрасныхъ*. Въ чёмъ, именно, состоитъ это качество,—обнаруживается изъ разсмотрѣнія каждой вещи специально въ тѣхъ отношеніяхъ, въ которыхъ она является прекрасной. Такое разсмотрѣніе всякой разъ показываетъ ему одно и то же, а именно, что *каждой предметъ оказывается прекраснымъ въ тѣхъ самыхъ отношеніяхъ, въ какихъ онъ является приспособленнымъ къ той цѣли, ради которой онъ созданъ*, и что, такимъ образомъ, *прекрасное во всѣхъ вецахъ есть не иное что, какъ пригодное, или полезное*. Въ этомъ отношеніи между прекраснымъ и добрымъ существуетъ внутреннее сродство, ибо и это послѣднее подобно первому можетъ быть названо полезнымъ. Но Сократъ продолжаетъ анализъ свой далѣе: если таково именно это качество, которое присуще всѣмъ предметамъ изслѣдуемой категоріи, то замѣчаетъ онъ, одна и та же вещь можетъ оказаться одновременно и прекрасной въ однихъ отношеніяхъ, и непрекрасной или безобразной въ другихъ. (Memorab. III, 8, 7) Такъ напр., человѣкъ можетъ быть прекраснымъ, поскольку онъ является приспособлен-

нымъ къ бѣганію, къ борьбѣ, или инымъ гимнастическимъ упражненіямъ и безобразнымъ въ другихъ отношеніяхъ, напр., какъ игрокъ на лирѣ, или какъ танцоръ, и т. п.— Всегда, такимъ образомъ, утверждаетъ Сократъ, *прекрасное* (какъ и безобразное) не есть что-либо *абсолютное*, но должно быть понимаемо только *относительно*,—въ смыслѣ *пригодности* для чего-либо, для какого-либо опредѣленного *назначенія* (*πρὸς τὶνα λαβεῖν*). Но эта *относительность красоты* и является источникомъ ея *неопределеннности* и постоянныхъ споровъ о красотѣ, въ которыхъ въ виду неопределенности понятій о красотѣ можно доказывать все, что угодно. Весьма интересны тѣ примѣры, которые Сократъ въ иномъ мѣстѣ и при иныхъ обстоятельствахъ приводить въ поясненіе основной своей мысли объ *относительномъ значеніи прекраснаго и о неопределенности и шаткости самыхъ сужденій о красотѣ по признаку полезности*. (См. *Symposion*, V, 3—7).

Между Сократомъ, извѣстнымъ своимъ внѣшнимъ безобразіемъ, и извѣстнымъ красавцемъ того времени Критовуломъ ведется шуточный споръ относительно того, кто изъ нихъ обоихъ, т. е. Сократъ или Критовуль, можетъ быть признанъ болѣе прекраснымъ. „Въ одномъ-ли только человѣкѣ признаешь ты красоту,—спрашиваетъ Сократъ своего собесѣдника,—или же и въ другихъ какихъ либо предметахъ?“—„Конечно,—отвѣчаетъ Критовуль,—не въ одномъ человѣкѣ, ибо есть красота и въ различныхъ животныхъ, и во многихъ неодушевленныхъ предметахъ: существуютъ, напр., красивыя зданія, щиты, сосуды, мечи и другіе предметы.—„Тогда какимъ же образомъ,—спрашиваетъ Сократъ,—всѣ эти предметы, ничуть не похожіе другъ на друга, оказываются все-таки прекрасными?“ Критовуль разрѣшаетъ этотъ вопросъ обычнымъ въ его время образомъ: *всѣ эти разнообразные предметы,—говоритъ онъ,—тогда считаются прекрасными, когда они полезны и хорошо приспособлены для той цѣли, ради которой мы приобрѣтаемъ ихъ, или если они по самой своей природѣ хороши для того, для чего они созданы, или для чего мы употребляемъ ихъ.*—Сократъ соглашается по существу съ этою мыслью, которую онъ-же

самъ высказываетъ неоднократно при другихъ обстоятельствахъ. Однако съ цѣлью уже не выясненія истины, а достижения побѣды въ своемъ состязаніи, и для показанія всей шаткости и неосновательности признака полезности или пригодности, красоты, онъ измѣняетъ далѣе серьезный тонъ на шутливый и обращается къ парадоксанъ, могущимъ доставить ему побѣду. Онъ показываетъ Критовулу, на основаніи высказанного имъ же опредѣленія, что въ такомъ случаѣ его, Сократа, необходимо признать гораздо болѣе прекраснымъ, чѣмъ самого Критовула по слѣд. причинамъ: если глаза, напр., созданы для того, чтобы видѣть, то глаза его (Сократа) красивѣе Критовуловыхъ, ибо у него самого глаза на выкатѣ и могутъ видѣть не только прямо передъ собою, но и по сторонамъ, тогда какъ Критовулъ видитъ только по прямымъ направленіямъ. Далѣе, что если носъ созданъ для воспріятія запаховъ, то носъ его, Сократа, лучше Критовула, ибо высокій прямой носъ Критовула не только раздваиваетъ зреѣніе, возвышаясь передъ глазами, но малыми ноздрями меньше можетъ воспринимать запахи, чѣмъ вздернутый кверху носъ Сократа съ его широкими ноздрями, который и не мѣшаетъ воспринимать со всѣхъ сторонъ запахи, и не препятствуетъ зреѣнію. Наконецъ, и ротъ Сократа долженъ быть, по его словамъ, признанъ болѣе прекраснымъ, чѣмъ у Критовула, ибо своимъ огромнымъ ртомъ съ толстыми губами Сократъ можетъ и съѣсть больше, и цѣловать мягче, чѣмъ Критовулъ съ его маленькимъ ртомъ и тонкими губами.

Смыслъ всего сказанного Сократомъ совершенно понятенъ и истолкованіе его именно въ томъ значеніи, какое было указано у насъ уже выше, не оставляетъ никакихъ сомнѣній въ его соответствіи съ подлинными воззрѣніями Сократа на прекрасное, а именно, что *все прекрасное—относительно, причемъ хотя оно и неопределенно, однако чаще всего совпадаетъ съ полезнымъ*. Оставаясь до конца послѣдовательнымъ, философъ, правда, приходитъ, какъ видимъ, къ необходимости признанія между прочимъ и такихъ положеній, которые, благодаря ихъ парадоксальности, кажутся не болѣе, какъ ироніей въ устахъ говорящаго.—Тѣмъ не менѣе са-

мый эстетический принципъ, выставленный имъ въ указанныхъ раньше положеніяхъ и подтвержденный здѣсь еще одинъ разъ въ началѣ бесѣды, для объясненія явлений прекраснаго, оказывается дѣйствительнымъ убѣжденіемъ философа.

Что касается воззрѣній Сократа на *искусство*, то они извѣстны намъ лишь въ весьма незначительной степени,— по тѣмъ отдельнымъ отрывочнымъ замѣчаніямъ, которыя онъ дѣлаетъ то одному, то другому художнику относительно творческой ихъ дѣятельности въ сферѣ искусства.

Сократъ исходитъ изъ того положенія, что *искусство является лишь подражаніемъ природѣ*. Понятно поэтому, что ни одно произведеніе искусства согласно его воззрѣнію не можетъ конкурировать по своему внутреннему значенію съ произведеніями самой природы, особенно природы живой, обладающими дѣйствительной жизнью и движениемъ, ибо этихъ послѣднихъ,—*жизни и движенія, ни одно произведеніе искусства возсоздать не способно*. (Метог. I, 4, 3—4.). Въ этомъ отношеніи,— утверждаетъ Сократъ,—природа стоитъ гораздо выше искусства, и художникъ, особенно живописецъ, имѣетъ возможность только до нѣкоторой степени приблизиться къ твореніямъ живой природы, стараясь передать при посредствѣ наружныхъ видимыхъ чертъ внутреннія духовныя особенности изображаемаго существа. Если однако *искусство уступаетъ природѣ въ только что указанномъ отношеніи,—въ воспроизведеніи жизни и движенія*,—то взамѣнъ этого оно имѣетъ передъ природою большое преимущество *въ другомъ отношеніи*. Оно имѣетъ возможность—*многоразличныя черты прекраснаго, разбросанныя по частямъ въ отдельныхъ существующихъ предметахъ, собрать воедино и представить въ одномъ произведеніи во всей ихъ совокупности, какъ нераздельное цѣлое, состоящее изъ соединенія многихъ прекраснѣйшихъ и типичнѣйшихъ чертъ*. Отсюда является слѣдующее требованіе, выставляемое Сократомъ для художниковъ, какъ основной руководящій принципъ ихъ творческой дѣятельности: „такъ какъ при подражаніи (въ произведеніяхъ искусства) прекраснымъ человѣческимъ фигурамъ никогда не удается найти въ

одномъ человѣкѣ всѣ черты въ безупречномъ соединеніи, то должно у каждой изъ цѣлаго ряда прекрасныхъ фигуръ выбирать красивѣйшія части и изъ соединенія всѣхъ ихъ возсоздавать прекрасныя во всемъ своемъ цѣломъ тѣла". (Memorab. III, 10, 2.).

Существуетъ по мнѣнію Сократа и сице одно преимущество произведеній искусства передъ произведеніями природы въ тѣхъ случаяхъ, когда искусство воспроизводитъ не сложное общее (не идеалъ), а отдельныхъ людей или отдельные виды: въ отдельныхъ созданіяхъ самой природы, особенно въ существахъ одушевленныхъ и въ частности въ представителяхъ человѣчества, на ряду съ тѣми чертами, созерцаніе которыхъ доставляетъ зрителю наслажденіе, весьма нерѣдко встрѣчаются и черты отталкивающія, внушающія къ себѣ отвращеніе, и тѣмъ самымъ чрезвычайно умаляющія значеніе и красоту первыхъ. Напротивъ, въ произведеніяхъ искусства художникъ воленъ изображать только то одно, что кажется ему привлекательнымъ,— только тѣ черты, соединеніе которыхъ представляется ему наиболѣшимъ выраженіемъ прекраснаго внутренняго содержанія предмета или характера человѣка, рассматриваемаго съ его лучшихъ сторонъ. Огсюда другой совѣтъ или скорѣе требованіе, выставляемое Сократомъ въ руководство художникамъ,—главнымъ образомъ живописцамъ, при воспроизведеніи индивидуальныхъ образовъ,—чтобы они не брали отъ предметовъ всякия случайно попавшіяся черты, но старались бы выбирать для передачи въ создаваемыхъ ими образахъ по возможности только такія черты, созерцаніе которыхъ доставляло бы зрителю наиболѣшее удовольствіе. (Мем. III, 10, 5).—Наконецъ даже изображеніе разнообразныхъ человѣческихъ страстей, какъ указывалъ Сократъ, является вполнѣ возможнымъ для произведенія искусства: изображеніе чувствъ и страстей возможно не только въ поэзіи, но и скульптурѣ, и въ живописи. Слѣдуетъ помнить однако, что въ то время, какъ въ произведеніяхъ поэтическихъ развитіе страсти можетъ быть представлено въ цѣломъ рядѣ послѣдовательныхъ моментовъ, въ каждомъ произведеніи скульптуры или живописи, на-

противъ, можетъ быть изображенъ только одинъ и притомъ наиболѣе яркій, характерный моментъ развитія страсти, или вообще душевнаго состоянія даннаго лица, каковой моментъ и долженъ быть указываемъ зрителю тѣми или иными вполнѣ опредѣленными и понятными для всякаго вѣшними чертами, въ которыхъ этотъ моментъ находитъ себѣ постоянное выраженіе,—поднятіемъ однихъ мускуловъ, опущеніемъ другихъ, постановкой фигуры, выраженіемъ лица и т. д. Такъ, напр., изображая нападающаго, художникъ долженъ придать ему (въ особенности глазамъ его) угрожающее выраженіе; изображая побѣдителя, онъ долженъ выразить въ его глазахъ побѣдоноснуюувѣренность и радостное чувство побѣдителя, и т. д.; именно, такую передачу внутреннихъ душевныхъ движений при помощи характерныхъ для нихъ вѣшнихъ признаковъ и рекомендуетъ художникамъ Сократъ, говоря съ скульпторомъ Клитономъ о задачахъ искусства (Memorab. III, 10, 6—8). Что касается возрѣній Сократа на другія искусства, то особенно интереснымъ является взглядъ его на *танцы и ихъ значеніе*.—Философъ указываетъ не только ихъ эстетическое, но и важное гигиеническое значеніе для человѣка во всѣхъ его возрастахъ,—другими словами, ихъ существенную и очевидную пользу не только въ отношеніи увеличенія физической красоты, но и въ цѣляхъ укрѣпленія тѣлеснаго здоровья. „Посмотрите,—говорилъ онъ своимъ собесѣдникамъ на пиру у Калліи (Хепорѣ. Sympos., II, 15 и сл.),—какъ этотъ красивый мальчикъ въ своихъ плавныхъ движеніяхъ въ танцахъ становится еще болѣе красивымъ. Посмотрите, какъ во время танцевъ ни одна часть организма его не остается безъ движенія и упражненія: шея, руки, ноги, корпусъ,—все одновременно въ плавномъ движеніи,—именно въ такомъ, въ какомъ должны быть всѣ органы у человѣка, желающаго имѣть равномѣрно и хорошо развитое тѣло. Вотъ почему,—прибавляетъ Сократъ,—я и самъ готовъ учиться такимъ тѣлодвиженіямъ,—готовъ учиться танцевать. И когда всѣ присутствующіе разсмѣялись въ отвѣтъ на это, Сократъ, принявши совершенно серьезный видъ, серьезно продолжалъ. Вы смѣетесь надо мной... Но неужели же можно смеяться надъ тѣмъ, что занимаясь

такими танцами, я желаю пользоваться лучшимъ здоровьемъ, пріятнѣе єсть и спать. Неужели можно смѣяться надъ тѣмъ, что я желаю заниматься танцами для того, чтобы не быть похожимъ, напримѣръ, на кулачныхъ бойцовъ, которые имѣютъ огромныя руки и плечи, но тонкія ноги; или на атлетовъ, упражняющихся всю жизнь только въ бѣганіи взапуски (въ долихѣ) и имѣющихъ, благодаря этому, крѣпкія ноги съ толстыми колѣнами, но тонкія руки и узкія плечи и т. д.; но что хочу развивать свое тѣло равномерно, чтобы имѣть во всѣхъ частяхъ организма равновѣсие. Можно-ли смѣяться надъ тѣмъ, что я хочу свой непомѣрно большой животъ сдѣлать меньшимъ, а все тѣло сдѣлать живымъ и болѣе эластичнымъ... Нѣтъ: все это заслуживаетъ отнюдь не осмѣянія, а одобренія, которое побуждало бы вообще каждого человѣка къ занятію танцами. Вотъ почему,—заканчиваетъ Сократъ,—одинъ изъ присутствующихъ на нашемъ пиру (по имени Хармидѣ) при посѣщеніи моего дома недавно дѣйствительно засталъ меня танцующимъ и, прійдя затѣмъ къ себѣ домой, и самъ сталъ учиться танцевать...—Таково, по убѣжденію Сократа, это существенное значеніе танцевъ,—эстетическое съ одной стороны, и гигіеническое, съ другой, и таковы его воззрѣнія на всѣ другіе виды искусства, которые высказывалъ онъ въ своихъ интересныхъ бесѣдахъ съ представителями художественной творческой дѣятельности, посѣщая ихъ мастерскія.—Вездѣ, какъ видите, у него, одинъ и тотъ же характеръ частныхъ эмпирическихъ обобщеній изъ наблюденій надъ отдѣльными фактами и явленіями, безъ стремленія къ обобщеніямъ всеобъемлющимъ, которые охватывали бы въ своей отвлеченности все существующее, къ какимъ,—какъ увидимъ далѣе, стремился его великий ученикъ; но за то эти частичные эмпирическія его обобщенія всѣ отличаются жизненной правдой и тою много-вѣковою устойчивостью, которая всегда присущи выводамъ, обоснованнымъ не на отвлеченныхъ теоріяхъ и измышеніяхъ, а на живыхъ наблюденіяхъ надъ реальной дѣйствительностью, надъ самыми фактами художественного творчества въ произведеніяхъ искусства всѣхъ его видовъ.

III.

Эстетика Платона¹⁾.

Мы подошли теперь къ тому чрезвычайно важному моменту въ исторіи эстетическихъ ученій, который по всей справедливости можетъ быть названъ средоточиемъ и высшимъ расцвѣтомъ философской эстетики древняго міра въ метафизической системѣ Платона. Изслѣдуя разнообразнѣйшія области духовной и физической природы, величайшій философъ—идеалистъ классической древности, Платонъ, останавливаетъ свое философское вниманіе между прочими объектами изслѣдованія на области прекраснаго,— особенно на томъ богатомъ мірѣ искусства, красоты кото-раго, на ряду съ красотами природы, увлекаютъ за собой и его, являясь для него, какъ и для большинства его со-временниковъ, источникомъ высокихъ чистыхъ радостей, и въ то же самое время, требуютъ для себя не только эсте-тическаго созерцанія, но сверхъ оцѣнки, даваемой непо-средственно чувствомъ, еще и философскаго разсмотрѣнія, критического анализа... И прямымъ, естественнымъ слѣд-ствіемъ такого интереса къ прекрасному мы видимъ, дѣй-ствительно, появление въ философской системѣ Платона эс-тетического ученія,—возвышенного, блестящаго и вмѣстѣ полнаго одушевленія,—дающаго отвѣты на всѣ важнѣйшіе запросы своего времени въ области эстетики.

Правда, всѣ данные, находимыя нами по вопросамъ эс-тетики у Платона, еще не составляютъ у него единой цѣль-ной и полной теоріи: въ своихъ отдѣльныхъ діалогахъ то здѣсь, то тамъ онъ говоритъ о различныхъ прекрасныхъ предметахъ, о внутренней сущности прекраснаго, о проис-хожденіи и цѣли различныхъ искусствъ и т. д.; но сопос-

¹⁾ См. сочиненія Платона въ переводе Карпова. Т. I—IV. Изъ моно-графій, посвященныхъ эстетич. воззрѣніямъ Платона, см. Runge: die Platoni-sche Aesthetik. Halle 1882. Кроме того эстетическими воззрѣніямъ Плато-на посвящены въ общихъ сочиненіяхъ по исторіи эстетич. ученій у M. Schasler: kritische Geschichte Aesthetik, S. 78—108; у C. Hermann: die Aesthetik, S. 27—50; у Walter: d. Geschichte d. Aesthetik im Altertum, S. 168—476, и др.

тавивши внутреннимъ образомъ всѣ эти разнообразныя его мысли, мы имѣемъ возможность представить себѣ ту совокупность эстетическихъ воззрѣній Платона, которая, входя органически въ его сложную философскую систему, составляетъ ея лучшую и интереснѣйшую часть.

Мы постараемся изложить въ послѣдующихъ лекціяхъ, по крайней мѣрѣ, важнѣйшіе изъ тѣхъ эстетическихъ взглядовъ Платона, какіе намъ удается извлечь изъ его философскихъ произведеній.—Задачей нашей при этомъ является возможно болѣе тѣсное внутреннее сближеніе всѣхъ этихъ звеньевъ идеалистической эстетики, которая, какъ сказано, разбросаны въ различныхъ твореніяхъ великаго метафизика, причемъ этотъ послѣдній, должно замѣтить, влагая въ своихъ діалогахъ разнообразныя рѣчи въ уста учителя своего, Сократа, высказываетъ однако въ нихъ нерѣдко свои собственныя воззрѣнія, не имѣющія ничего общаго со взглядами Сократа исторического.

Однимъ изъ первыхъ вопросовъ, разсматриваемыхъ Платономъ, является вопросъ о томъ, *какъ понимать сущность прекраснаго*. — „Скажи мнѣ, что такое — прекрасное?“.. — Съ этимъ вопросомъ Платоновскій Сократъ обращается въ одномъ изъ діалоговъ (*Гиппіасъ старшій*, 287 Д) къ знаменитому оратору и софисту древности Гиппіасу, когда тотъ обѣщаетъ сказать прекрасную рѣчь о прекрасныхъ предметахъ. Какъ и можно было ожидать отъ оратора изъ софистовъ, отнюдь не пользующихся симпатіей автора, отвѣты Гиппіаса на этотъ вопросъ являются всѣ наивными и совсѣмъ непригодными. *Софистъ совсѣмъ не умѣетъ отличить прекрасныхъ отдѣльныхъ предметовъ отъ прекраснаго вообще. Онъ не въ силахъ подняться надъ индивидуальною красотой отдѣльныхъ вещей*, поражающихъ его своею внѣшностью, и понять *красоту въ ея общности*, поскольку она присуща всѣмъ прекраснымъ предметамъ. Поэтому въ отвѣтъ на вопросъ Сократа онъ замѣчаетъ, что то прекрасное, о которомъ онъ спрашиваетъ, есть не что иное, *прекрасная женщина*. Отвѣтъ, какъ видимъ, дѣтски наивный, опредѣлившій вмѣсто сущности прекраснаго лишь отдѣльный прекрасный предметъ,

хотя и обладающей высокою красотой; и Сократъ немедленно же обнаруживаетъ всю его несостоятельность. Вѣдь прекрасной, говоритъ онъ,—можетъ быть не только женщина, но и лошадь, и собака, и сосудъ, и щитъ, и громадное множество иныхъ предметовъ, различнѣйшихъ родовъ. Неужели-же и всякой такой—прекрасный предметъ можетъ быть тѣмъ прекраснымъ, о которомъ онъ спрашивалъ.—Конечно нѣтъ, потому что еслибы это было такъ, то красота такого предмета, будучи присвоена какому угодно другому предмету, дѣлала бы и его прекраснымъ; а между тѣмъ красота, напримѣръ, женщины, будучи присвоена другимъ предметамъ, отнюдь не сдѣлаетъ прекраснымъ всякой другой предметъ, какъ и обратно.—Итакъ, нужно возвыситься надъ отдѣльными вещами, нужно принять во вниманіе одновременно цѣлую масу прекрасныхъ предметовъ разнообразнѣйшихъ видовъ и въ общей ихъ суммѣ уже постараться отыскать то прекрасное, отъ присоединенія котораго къ отдѣльной вещи всякая изъ нихъ дѣлается прекрасною.

Отвергнувъ первую мысль, высказанную софистомъ относительно прекраснаго, Сократъ у Платона разбираетъ затѣмъ и другія мнѣнія на сущность его, господствовавшія въ то время въ обществѣ.—„Прекрасное не есть-ли приличествующее, т. е. подходящее для чего-либо,—или украшающее (*τὸ πρέπον*),—какъ утверждаютъ нѣкоторые,—спрашиваетъ онъ.—Нѣтъ, потому что такое приличествующее или украшающее есть нѣчто такое, что является къ вещи—извѣнь, что—только *внѣшнимъ образомъ* украшаетъ ее и такимъ путемъ заставляетъ предметъ казаться болѣе прекраснымъ, чѣмъ каковъ онъ есть въ самой своей сущности. Такъ, напр., красивыя одежды, удачно надѣтые кѣмъ-либо, дѣлаютъ его гораздо болѣе красивымъ, чѣмъ какимъ онъ является безъ нихъ, или въ другихъ некрасивыхъ одеждахъ. Тоже и относительно красивой и безобразной прическо волосъ, и т. п. Стало быть, *приличествующее оказывается здѣсь чѣмъ-то обманчивымъ относительно прекраснаго*, потому что способствуетъ тому, что-бы вещи, по своей сущности непрекрасныя, казались бы прекрасными по своей внѣшности и черезъ то только вводятъ наблюдателя въ за-

блуждение относительно истинной сущности вещи: прекрасна она, или нетъ.

Но, можетъ быть, *прекрасное есть все то, что полезно*. Люди называютъ, напр., прекрасными глаза, но глаза не слѣпые или испорченные, а такие, которые хорошо могутъ видѣть, или руки и ноги—и другіе члены тѣла—считаютъ прекрасными не тогда, когда они бывають кривы или изломаны, но когда они вполнѣ оказываются способными къ исполненію своего назначенія. Такъ же точно и всѣ тѣла человѣческія и вообще животныя, а такъ же и всѣ предметы неодушевленные считаютъ *прекрасными*, поскольку и именно въ тѣхъ отношеніяхъ, въ какихъ эти тѣла и предметы являются полезными. Однако и это опредѣленіе прекраснаго не можетъ быть по мнѣнію Платоновскаго Сократа (въ отличіе отъ Сократа историческаго) приложено ко всѣмъ родамъ существующихъ предметовъ,—не можетъ по двумъ важнѣйшимъ причинамъ: 1) потому, что среди всей массы существующихъ прекрасныхъ предметовъ мы встрѣчаемъ не мало такихъ, для которыхъ мы не можемъ никакъ подыскать, въ какомъ отношеніи они способны быть полезными; а между тѣмъ они все-таки кажутся намъ прекрасными; 2) нерѣдко бываетъ, что та же самая вещь, которая оказывается полезной для однихъ предметовъ, или въ однихъ отношеніяхъ, въ то же самое время является весьма вредною для другихъ, и такимъ образомъ одна и та же вещь способна была бы казаться одновременно и прекрасною, и безобразною. Значитъ и не въ этомъ истина: *прекрасное нельзя отождествлять съ полезнымъ*¹⁾.

Но, можетъ быть, наконецъ, *прекраснымъ должно считать все то, что доставляетъ намъ удовольствіе?*—Нѣтъ, оказывается, что и это опредѣленіе прекраснаго, принимающее многими, не будетъ всеобъемлющимъ. Прежде всего, самую область удовольствій, получаемыхъ нами, должно

¹⁾ Въ этомъ пункте Сократъ, выставленный у Платона и передающій намъ возврѣнія этого послѣдняго, существенно отличается по своему взгляду на прекрасное отъ Сократа, исторически существовавшаго, характеристика возврѣній котораго, согласно Ксенофонту, была представлена нами выше.

ограничить только тьми изъ нихъ, которыя получаются черезъ зре́ніе и слухъ; всѣ удовольствія, которыя воспринимаются нами черезъ другія ви́шнія чувства,—черезъ обоня́ніе, вкусъ и осязаніе, отсюда исключаются, какъ недостойные имени прекрасныхъ, а только какъ пріятныя. Было бы странно, если-бы кто нибудь вкусное блюдо, или пріятный запахъ, или другія подобные удовольствія называлъ прекрасными въ такомъ же смыслѣ, въ какомъ называютъ прекрасными произведенія ваянія, живописи, музыки и другихъ изящныхъ искусствъ, воспринимаемыхъ нами черезъ зре́ніе и слухъ. Но если бы въ виду этого мы даже и ограничили область удовольствій одними тѣми, которыя получаются нами черезъ высшія наши чувства—слухъ и зре́ніе, то и тогда истинно прекраснымъ все-таки нельзя было бы признать то пріятное, которое получается черезъ ихъ посредство. Нельзя по слѣдующей причинѣ: еслибы пріятное, заключающееся въ этихъ удовольствіяхъ, было дѣйствительно тѣмъ абсолютнымъ прекраснымъ, которое здѣсь отыскивается Сократомъ, то и всѣ эти удовольствія всегда были бы однимъ и тѣмъ же, какъ едино по своей сущности само прекрасное; а не были бы столь различны, какъ это мы видимъ въ дѣйствительности, когда одно и то же явленіе производитъ различное впечатлѣніе на разныхъ людей и въ различное время. Слѣдовательно, настоящій источникъ удовольствій нужно искать здѣсь не въ слухѣ и зре́ніи, которые по устройству различны, и не въ отдельныхъ удовольствіяхъ, получаемыхъ черезъ нихъ,—а въ чемъ-то иномъ, что обще всімъ родамъ удовольствій. И въ этомъ, именно, общемъ, которое придаетъ пріятность однимъ предметамъ, полезность—другимъ, украшающее начало (приличествующее)—третьимъ, и красоту всімъ вообще, такъ называемымъ прекраснымъ предметамъ,—въ этомъ-то и должно отыскивать истинно прекрасное.

Каково же должно быть по существу своему это прекрасное въ его всеобъемлющей общности... Въ діалогѣ „Пиръ“ (211 А—212) Платонъ яркими красками рисуетъ намъ общія его качества.—Это прекрасное—говорить онъ,—существуетъ въ вѣчности: оно ни рождается, ни умираетъ, ни

увеличивается, ни оскудѣваетъ; оно не таково, чтобы однимъ и въ извѣстное время казалось бы прекраснымъ, а другимъ и въ иное время показывалось бы безобразнымъ; но всегда и для всѣхъ неизмѣнно можетъ быть только прекраснымъ. Далѣе, это прекрасное не должно представляться изслѣдователю, какъ какое-нибудь отдѣльное лицо, или отдѣльный предметъ на землѣ, или на небѣ, но какъ сущее само въ себѣ, общее для всѣхъ отдѣльныхъ прекрасныхъ предметовъ и всегда само съ собою тождественное. Всѣ существующія прекрасныя вещи являются таковыми только отъ общенія съ нимъ, и сколько бы ихъ ни рождалось и ни исчезало, само прекрасное черезъ это ничуть не страдаетъ, не дѣлается ни худшимъ, ни лучшимъ, ни большимъ, ни меньшимъ. Таково это прекрасное абсолютное. Вотъ почему—прибавляетъ Платонъ,—высоко счастливымъ можно почитать того, кому удается познать окончательно, что есть это абсолютно прекрасное: тогда-то жизнь его, познавшаго и созерцающаго эту абсолютную красоту, бываетъ безконечно болѣе счастливою, чѣмъ у всякаго изъ тѣхъ смертныхъ, которые обыкновенно считаются счастливыми за богатство, за почести, власть и т. д. И это потому, что само это истинно прекрасное, какъ безконечная и вѣчная идеальная сущность, неизмѣримо возвышается надъ всякими отдѣльными благами, какъ и надъ красотою отдѣльныхъ вещей, которая является лишь блѣднымъ и далекимъ ея отраженiemъ.

Итакъ, эта безконечная и вѣчно—неизмѣнная сущность всего прекраснаго, эта высочайшая идея красоты,—гдѣ же она и какимъ путемъ человѣку возможно познать ее?..— Превыше всего земного, мѣняющагося и тлѣннаго, превыше всего нашего видимаго міра, учить Платонъ, пребываєтъ вѣчный и въ своей неизмѣнности безконечный міръ незримыхъ идей. Въ этомъ мірѣ идея красоты, наряду съ идеями добра и истины, занимаетъ важнѣйшее мѣсто; въ ней-то лежитъ источникъ и всякой земной красоты и отъ одного общенія съ нею, отъ слабаго даже ея отраженія вещи въ нашей природѣ становятся сами прекрасными. Спрашивается, какимъ-же путемъ эти незримыя для насъ идеи (и въ частности идея прекраснаго) становятся доступными для

нашего познания? Отвѣтъ на это мы находимъ въ одномъ изъ лучшихъ діалоговъ Платона, въ *Федрѣ*, гдѣ передъ нами развертывается цѣлая картина философско - поэтическаго характера.

Нѣкогда, — говоритъ тутъ Платонъ (*Федръ*, 249В—253С),—всѣ наши души были свободны и въ своемъ до-мірномъ существованіи еще не были заключены въ эту гру-бую тѣлесную оболочку, въ которой онѣ замкнуты нынѣ... Тогда-то носились онѣ, сами незримыя, въ невидимомъ мірѣ идей, и восхитительно было тогда для нихъ созерцать без-смертную красоту, когда, вмѣстѣ съ хоромъ духовъ, слѣдуя однѣ за Зевсомъ, а другія—за иными богами, онѣ наслаждались дивнымъ видѣніемъ и посвящаемы были въ тайну, блаженнѣе которой и называть невозможно,—когда онѣ праздновали ее, какъ непорочныя и чуждыя зла, ожидавша-го ихъ въ будущемъ. Допущенные къ непорочнымъ про-стымъ и блаженнымъ видѣніямъ и созерцая ихъ въ чистомъ сіяніи, наши души оставались тогда и сами чистѣйшими и непорочными, и не погребены были еще въ этой оболочкѣ, которая называется теперь тѣломъ. Но это блаженное со-стояніе не могло продолжаться вѣчно: одна за другой, эти души ослабѣвали, теряли силы слѣдовать за богами и, отя-желѣвші, падали на землю и здѣсь заключались въ тѣла. Съ заключеніемъ души въ эту бренную оболочку тѣла все прежнее было совершенно забыто; только постепенно при видѣ разнообразныхъ предметовъ вселенной, служащихъ отдаленнымъ, блѣднымъ отраженіемъ міра идей, человѣкъ вспоминаетъ о самыхъ идеяхъ, и эти вспоминанія достигаютъ особенной живости и ясности тогда, когда человѣкъ пре-бываетъ въ состояніи энтузіазма, въ состояніи вдохновенія, облегчающаго созерцаніе вѣчныхъ идей. Въ такомъ состоя-ніи,—(говоритъ Платонъ) находится тотъ, кто, видя здѣш-нюю красоту и воспоминая о красотѣ истинной, вѣчной, какъ бы окрыляется духомъ и пламенно стремится вверхъ, въ божественномъ восторгѣ: Итакъ, всякая человѣческая душа, по природѣ своей созерцала нѣкогда сущее. Но вспо-минать по здѣшнему о тамошнемъ, по земному о небесномъ, легко не для всякой: это не легко и для тѣхъ, которыхъ

созерцаніе тамъ было кратковременно, и лля тѣхъ, которыхъ ниспавши на землю, подъ дурными вліяніями уклонились къ неправдѣ и позабыли о видѣнныхъ нѣкогда священныхъ предметахъ. Остается немного душъ, у которыхъ еще довольно памяти; да и тѣ, видя здѣсь какое-нибудь подобіе тамошней красоты, такъ поражаются имъ, что какъ-бы выходятъ изъ себя и, сами не понимаютъ, что значитъ ихъ страсть... А значитъ эта любовь и стремленіе къ красотѣ въ дѣйствительности слѣдующее: красота абсолютная неизмѣнно блистала, еще существуя тамъ, вмѣстѣ съ другими идеями, для всѣхъ нашихъ душъ; пришедши же сюда, мы и здѣсь замѣчаемъ нерѣдко живость ея блеска въ отдѣльныхъ прекрасныхъ предметахъ и лицахъ, и замѣчаемъ это яснѣйшимъ изъ нашихъ чувствъ—эрѣніемъ, которому свойственно созерцать прекрасное видимое, внѣшнюю красоту предметовъ, а черезъ нее вспоминать и доходить затѣмъ разумомъ до красоты идеальной, бессмертной. Это стремленіе къ красотѣ дѣйствуетъ возвышающимъ образомъ. Только непосвященный или развратный не сильно стремится отсюда туда,—къ красотѣ самой въ себѣ, когда на комъ-нибудь изъ людей онъ видитъ ея отпечатокъ: только онъ смотритъ на нее безъ должнаго уваженія и ищетъ только чувственного удовольствія; думая только о сладострастіи, онъ не боится проводить жизнь въ постыдныхъ плотскихъ наслажденіяхъ. Напротивъ того, человѣкъ посвященный, созерцавшій много тамошней небесной красоты, при взглядѣ на прекрасное лицо, хорошо отпечатлѣвшее на себѣ эту бессмертную красоту, сперва приходитъ въ трепетъ и объемлется какимъ-то страхомъ тамошняго; потомъ, присматриваясь, чтитъ его, какъ бога, и если бы не боялся прослыть безумнымъ и изступленнымъ, то приносилъ бы ему жертвы, какъ будто священному изваянію или богу. Таково это вѣчно прекрасное и таково его дѣйствіе на познающаго... Здѣсь, какъ видимъ, ученіе о красотѣ связывается съ ученіемъ о любви въ ея чистѣйшемъ и возвышенномъ пониманіи (такъ наз. платоническая любовь).

Если мы отъ этихъ общихъ основаній прекраснаго обратимся затѣмъ къ отдѣльнымъ искусствамъ, желая въ

нихъ прослѣдить, гдѣ находится источникъ всякаго художественного творчества, то увидимъ, что этотъ источникъ, согласно Платону, повсюду одинъ и тотъ же: повсюду—это энтузіазмъ, вдохновеніе, порождаемое созерцаніемъ безсмертныхъ идей, которыя становятся доступными сперва для самого художника, а затѣмъ черезъ его произведенія и для всесоюзства.

Съ особеною ясностью раскрываетъ намъ это Платонъ въ отношеніи къ творчеству поэтическому. Въ своемъ діалогѣ „Іонъ“ (533Д—542), Платонъ достигаетъ этого, показывая намъ съ необыкновенною простотою, сущность бессознательного поэтическаго одушевленія, порождаемаго созерцаніемъ идей, въ отличие отъ яснаго, отчетливаго анализа идей у философа.—Онъ удачно сравниваетъ источникъ такого бессознательного творческаго одушевленія поэта съ магнитомъ, а самого поэта—съ желѣзнымъ кольцомъ, которое само не знаетъ, почему влечется къ магниту; а самое это влечение не ограничивается только одними поэтами, но передается затѣмъ и поющимъ рапсодамъ, а вмѣстѣ съ нимъ и слушателямъ подобно тому, какъ сила магнита передается не только отъ магнита къ желѣзу, но и отъ одного намагниченаго куска желѣза къ другому и т. д. Между Сократомъ и извѣстнымъ рапсодомъ Іономъ происходитъ интересный разговоръ о сущности поэтическаго творчества и его проявленіяхъ. „Вѣдь умѣнье твое хорошо исполнять Гомера,—пѣть его пѣсни,—замѣчаетъ Сократъ Іону, (533Д и сл.),—зависитъ отъ той божественной силы, которая находится въ тебѣ, какъ въ камнѣ, называющемся у Эврипида магнитомъ. Этотъ-то камень не только притягиваетъ желѣзныя кольца самъ по себѣ, но и сообщаетъ намагниченнымъ кольцамъ силу дѣлать въ свою очередь то же самое, что дѣлаетъ камень, т. е.—силу притягивать другія желѣзныя кольца, такъ что получается цѣлая цѣпь желѣзныхъ колецъ, притягивающихъ другъ друга; сила же всѣхъ ихъ зависитъ все таки вся отъ одного магнита. Такъ-то и поэты сначала сами становятся вдохновенными, а черезъ нихъ потомъ составляется цѣлая цѣнь изъ другихъ вдохновенныхъ восторженниковъ. Вѣдь всѣ хорошия творцы

поэтическихъ произведеній,—продолжаетъ Платонъ,— пишутъ свои прекрасныя стихотворенія, водясь *не сознательнымъ искусствомъ, а вдохновенiemъ*, или особаго рода *одержанiemъ*. То же и добрые творцы всякой пѣсни: подобно тому, какъ корибанты пляшутъ въ особомъ изступленіи; такъ и творцы пѣсенъ создаютъ свои прекрасныя пѣсни въ какомъ-то одержаніи, и лишь только успѣли напасть на гармонію и размѣръ, тотчасъ они начинаютъ вакханствовать и являются одержимыми, будто вакханки, которыя, когда одержимы, то утверждаютъ будто черпаютъ изъ рѣкъ молоко и медъ, пришедши-же въ себя, этого уже не могутъ и имъ это уже не кажется... Въ душѣ поэтовъ и въ самомъ дѣлѣ совершается то, что они намъ описываютъ; и говоря, что они летаютъ по садамъ музъ, собирая подобно пчеламъ ихъ пѣсни, они говорятъ правду о томъ, что имъ такъ кажется. Поэтъ, прибавляетъ Платонъ, есть нѣчто легкое, летучее и священное и онъ не прежде можетъ произвести что-либо, какъ сдѣлавшись вдохновеннымъ и изступленнымъ, когда въ немъ уже нѣтъ обыкновенно разсудка, такъ какъ пока разсудокъ въ немъ еще дѣйствуетъ (сильнѣе фантазіи и чувства), онъ совершенно безсиленъ въ истинномъ творчествѣ... Такова та длинная цѣль, по которой вдохновеніе передается отъ одного человѣка къ другому: отъ самого поэта, вдохновляющагося созерцаніемъ вѣчныхъ идей, къ рапсоду, распѣвающему прекрасныя произведенія поэта и, наконецъ, къ зрителю и слушателю, которые знакомятся, (черезъ рапсода или сами), съ этими произведеніямъ истиннаго творчества.

Таково своеобразное учение Платона о художественномъ творчествѣ. Если бы мы пожелали теперь опредѣлить тотъ путь, по которому философъ пришелъ къ этой идеалистической теоріи искусства и художественного творчества, то увидѣли бы здѣсь явленіе, достойное вниманія изслѣдователя. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что теорія эта родилась у него подъ непосредственно близкимъ вліяніемъ идеальныхъ произведеній величайшаго изъ скульпторовъ древности, Фидія, творческая дѣятельность котораго закончилась еще задолго до Платона созданіемъ цѣлаго ряда такихъ

недосягаемо высокихъ образцовъ идеальной пластики, какъ Зевсъ Олимпійский (около 448 г.), Аєина-Дѣва (ок. 438 г.) и нѣкоторые другіе. Но въ то время, когда казалось бы вполнѣ естественнымъ ожидать, что теорія, создаваемая подъ непосредственнымъ вліяніемъ извѣстныхъ явлений дѣйствительности, должна была бы оказаться прямымъ резултатомъ изученія этихъ послѣднихъ,—по отношенію къ идеалистической теоріи Платона мы замѣчаемъ на самомъ дѣлѣ совершенно иное. Для самого Платона существованіе идеальной пластики является скорѣе поводомъ, чѣмъ настоящимъ источникомъ созданныхъ и высказанныхъ имъ принциповъ идеализма въ области художественного творчества. Вместо того чтобы тщательно изучить самыя произведенія идеальной пластики въ ихъ внутреннемъ содеряніи и виѣшнихъ формахъ, и такимъ путемъ прійти къ рѣшенію вопроса о происхожденіи и дѣйствительномъ содеряніи вообще произведеній идеального искусства на основаніи самыхъ фактовъ его,—вместо этого Платонъ идетъ по пути совершенно иному, который и приводитъ его къ неизбѣжной ошибкѣ. Его идеалистическая теорія искусства оказывается на самомъ дѣлѣ выводомъ не изъ самыхъ фактовъ идеалистического творчества, хотя они хорошо извѣстны ему, но изъ тѣхъ общихъ идеалистическихъ началъ, которые лежали въ основѣ всей его метафизической системы. Отсюда и самое пониманіе идеализма въ искусствѣ получаетъ у Платона несоответствующую дѣйствительности окраску, въ силу которой пониманіе это должно быть признано по существу неправильнымъ. *Идеалъ въ искусствѣ,—какъ это увидимъ ниже,—на самомъ дѣлѣ не имѣетъ ничего общаго, по своему происхожденію, съ тѣми безмертными идеями, находящимися превыше всего земнаго, виѣ самаго человѣчества, и созданными помимо него и до него отъ вѣчности божественнымъ Разумомъ, о которыхъ говоритъ Платонъ, какъ объ источникѣ творческаго вдохновенія и истинномъ содеряніи идеальныхъ произведеній искусства. Каждый идеалъ, когда либо находившій себѣ воплощеніе въ искусствѣ, слагался въ душѣ художника отнюдь не путемъ счастливаго созерцанія такихъ безмертныхъ, въ неиз-*

мииной формъ существующихъ идей, но путемъ сложнаго синтеза отдельныхъ чертъ, полученныхъ при помощи наблюдений надъ явлениями дѣйствительности, и при содѣйствіи творческой фантазіи, объединяющей результаты такихъ наблюдений. Отсюда разнообразіе виѣшнихъ формъ, даже для одного и того же идеального содерянія, у различныхъ художниковъ... Зевсъ Олимпійскій и Аѳина-Діва Фидія, само собою понятно, никогда не являлись для художника тѣми готовыми, законченными образами, которые онъ вдругъ почерпнулъ бы въ такомъ законченномъ видѣ изъ міра сверхчувственного, въ одинъ изъ моментовъ вдохновленного созерцанія. Они оказались у него, какъ иные идеальные типы у другихъ художниковъ, на самомъ дѣлѣ продуктомъ лишь продолжительной выработки, долговременного исканія тѣхъ пластическихъ формъ, которыя съ наибольшою ясностью передавали бы каждою своей чертою внутреннее содеряніе идеального образа, составившееся у художника въ свою очередь путемъ изученія религіозно-нравственныхъ представлений народа въ миѳѣ и поэзії.

Яркимъ примѣромъ такого именно процесса созданія идеальныхъ произведеній является, между другими, какъ разъ этотъ самый Зевсъ Олимпійскій у Фидія. Можно сказать, что нигдѣ въ языческомъ мірѣ идея божескаго всемогущества не была выражена столь полно и всесторонне, какъ въ этомъ, именно, геніальномъ произведеніи Фидія¹⁾. Рассмотримъ же, въ чёмъ заключается сущность идеального типа Олимпійскаго Зевса у Фидія?... Въ чёмъ великій художникъ въ данномъ имъ идеальномъ образѣ божества различается отъ изображеній того же самаго Зевса у поэтовъ и въ миѳахъ народныхъ? Что новаго и нравственно-цѣннаго далъ Фидій греческому народу въ этомъ извяяніи царя всѣхъ боговъ? Если мы вспомнимъ все то, что сообщали народу относительно Зевса различные описанія его у Гомера и другихъ эпическихъ поэтовъ древней Эллады, а равно и въ многочисленныхъ миѳахъ, то увидимъ явленіе достой-

¹⁾ См. изобр. Зевса въ атласѣ Штейдника: памятники античнаго искусства, табл. 20 фиг. 1, 2 и 5.

ное замѣчанія. Миѳъ и поэзія одновременно показывали его и могучимъ царемъ всѣхъ боговъ и богинь, бессмертнымъ властителемъ цѣлаго міра, и какимъ то искателемъ приключеній, который нерѣдко, возбуждая ревность законной супруги, увлекался прекрасными смертными женщинами¹⁾. И знакомясь съ этими миѳами и описаніями у поэтовъ, каждый изъ грековъ долженъ былъ выносить въ общемъ неясное и спутанное представлениe о божественной сущности Зевсова типа, потому что узнавалъ его тамъ столько же, какъ вседержителя міра, сколько и въ положеніяхъ, явно унижающихъ его божеское достоинство, иногда даже прямо безнравственныхъ. Отсюда, при полномъ смѣшениi такихъ взаимно противоположныхъ сторонъ божества въ миѳахъ и у поэтовъ, являлось совершенное отсутствіе идеала въ созданномъ ими пониманіи Зевсова типа... *Фидій съумѣлъ очистить нравственный образъ его отъ всякихъ случайностей.* Онъ совершенно отбросилъ всѣ тѣ случайныя качества, приписываемыя ему поэтами, которыя только унижали достоинство бога, оказываясь по существу своему совсѣмъ чуждыми истинной природѣ божественной. *Онъ сохранилъ для пластического образа Зевса только высочайшия стороны природы его, особенно его царственное величие и божеское всемогущество премудрого властителя вселенной.* Это былъ тотъ самый Зевсъ, отъ грознаго взора котораго потрясался даже Олимпъ, какъ представилъ его въ одной сценѣ Гомеръ въ своей Иліадѣ (I, 528—530):

„Рекъ, и во знаменье черными Зевсъ помаваетъ бровями;
Быстро власы благовонные вверхъ поднялись у Кронида
Окрестъ безсмертной главы... И потрясся Олимпъ многохолмный”...

И такого могучаго владыку міра представилъ Фидій въ своемъ колосальномъ изваяніи Зевса, поставленномъ въ его Олимпійскомъ святилищѣ. Въ лицѣ этого Зевса онъ съ

¹⁾ См. Миѳы классической древности у Штоля, Зееманна и др., относящіеся къ Зевсу.

поразительной силой и ясностью выразилъ высочайшее все-могущество царя всѣхъ боговъ одновременно съ спокойнымъ его величиемъ и благостью, какъ отца всѣхъ бессмертныхъ. Онъ воспользовался приведенными выше стихами Гомера, чтобы взять изъ нихъ тѣ самыя яркія черты для скульптурного образа, въ которыхъ особенно наглядно выражалось его царственное могущество и величіе. Онъ придалъ своему Зевсу почти львиныя кудри, вздымающіяся вокругъ головы; даль ему широкія грозныя брови и высокій выпуклый лобъ. Но въ то же самое время онъ умѣлъ и смягчить выраженіе лица Зевса едва уловимой, но ясной улыбкой и привѣтливъ взоромъ, которые отмѣчали въ созданіи Фидія греческіе писатели, усматривая въ нихъ проявленіе отеческой благости Зевса. Такъ художникъ умѣлъ показать здѣсь разнообразныя и высшія стороны божественной сущности Зевса; но онъ не просто сопоставилъ ихъ тутъ внѣшнимъ образомъ при помощи атрибутовъ и символовъ: онъ показалъ эти различныя стороны въ томъ ихъ внутреннемъ тѣснѣйшемъ взаимодѣйствіи, въ какомъ они давали цѣльный гармоническій образъ, подобно тому какъ и различные музыкальные тоны сочетаются въ одинъ стройный аккордъ..

Вотъ почему можно сказать, что никогда въ отдѣльномъ произведеніи художника *идеалъ* для цѣлаго народа не выразился такъ ярко и полно, какъ въ Зевсѣ Олимпійскомъ у Фидія. Здѣсь, въ его пластическомъ образѣ великій ваятель олицетворилъ идею высшаго эллинскаго божества, всемогущаго, мудраго и благостнаго міроправителя съ такимъ совершенствомъ, передъ которымъ невольно преклонялся всякий и которое создало новую эру въ самой религіи грековъ. Такимъ образомъ, мы видимъ ясно, насколько далеки въ самой дѣйствительности процессы творческой работы художника-идеалиста отъ того вдохновеннаго созерцанія бессмертныхъ идей, о которомъ говорить намъ Платонъ. Въ дѣйствительности это—долгая и трудная обдуманная работа художника по отысканію сначала идеального внутренняго содержанія, а затѣмъ внѣшнихъ соответствующихъ ему формъ. Можно сказать даже болѣе. Для того чтобы оказалось возможнымъ самое появленіе такихъ художни-

ковъ-идеалистовъ, какъ Фидій, необходима была многовѣковая работа тѣхъ его предшественниковъ, которые, въ теченіе долгаго времени, трудились въ области религіозной пластики надъ созданіемъ, такъ называемыхъ, гіератическихъ образовъ,—тѣхъ кумировъ, отъ которыхъ только послѣдующіе художники постепенно возвысились до образовъ идеальныхъ. Только путемъ долговременныхъ усилий художниковъ въ области техники и наблюдений надъ живою дѣйствительностью достигалось ими все большее и большее умѣніе—при помощи тѣхъ или другихъ видахъ формъ и выраженія—передавать внутреннее духовное содержаніе. И лишь благодаря продолжительному изученію художниками древнѣйшаго (до-Фидіевскаго) периода того, какимъ образомъ и въ какихъ именно чертахъ лица и формахъ тѣла выражаются такія или иныя свойства самого духа,—художники-идеалисты V-го вѣка и послѣдующихъ могли достигнуть такого изумительного совершенства въ наглядной передачѣ идеального содержанія при помощи прекраснѣйшихъ формъ. То же самое должно сказать и относительно процессовъ созданія всѣхъ остальныхъ идеальныхъ образовъ въ античномъ искусствѣ. Повсюду для созданія каждого изъ нихъ необходимо было и долговременное размышеніе художника (вместо мгновенного счастливаго порыва). и тщательное изученіе какъ религіозно-нравственныхъ представлений народа, такъ и живой дѣйствительности, въ цѣляхъ отысканія видахъ формъ, наиболѣе соответствующихъ внутреннему содержанію каждого идеала.

Но особенно ясно раскрывается намъ эта работа художниковъ-идеалистовъ при сравнительномъ разсмотрѣніи тѣхъ идеальныхъ изображеній греческихъ женскихъ божествъ, которые созданы были въ эпоху расцвѣта античнаго искусства величайшими его представителями. Идеальные образы *Аѳинь-Дѣвы*, работы Фидія, *Геры Аѳгосской*, работы Поликлета, и *Афродиты Книдской*, работы Праксителя,—являются прежде всего образцами высочайшей женской красоты по внешнимъ своимъ формамъ. Но художники, создавшіе ихъ, должны были въ то же самое время въ каждомъ изъ этихъ изваяній наглядно выразить то своеобразное внут-

реннее содержание всякаго изъ нихъ, которое налагаетъ на эти образы особенный, соответствующій такому содержанію, отпечатокъ,—придаетъ красоту каждого женскаго божества своеобразный нравственный смыслъ и выраженіе.

Если мы разсмотримъ, съ этой точки зрењія, каждый изъ перечисленныхъ выше идеальныхъ типовъ греческихъ женскихъ божествъ, то увидимъ полное подтверждение всего, сейчасъ сказанного, въ анализѣ внутренняго содержанія и внѣшнихъ формъ каждого изъ нихъ. Какова должна быть внутренняя сущность идеального типа Аѳины-Дѣвы. Коротко говоря, Аѳина-Дѣва является высшою представительницей всего чистаго, непорочнаго, дѣвственно-прекраснаго въ женской натурѣ; но она соединяетъ въ себѣ всѣ эти качества въ высочайшей степени не въ силу отсутствія всякихъ опасныхъ искушеній извнѣ и не въ силу отсутствія страстныхъ желаній въ себѣ самой, но только вслѣдствіе глубокой нравственной силы своего цѣломудрія, дающей ей возможность и въ себѣ самой съ помощью воли и разума, и въ другихъ—съ помощью своего оружія—обуздывать всякие порывы чувственной страсти. Это—богиня чистѣйшая и непорочная въ своемъ существѣ, и столько же побѣдоносная въ отношеніи внѣшнихъ враговъ, сколько властившая надъ своими личными чувственными наклонностями.

Какъ же представилъ великій Фидій это сложное содержаніе идеального типа въ пластическомъ образѣ? Какъ видимъ въ сохранившейся до насъ превосходной мраморной античной копіи парѳенонской Аѳины-Дѣвы Фидія (найденной въ Аѳинахъ на площади Varvakeion)¹⁾, богиня стояла въ спокойной и важной до строгости позѣ своего побѣдоноснаго величія: слегка только выдвинувши правую ногу впередъ, одѣтая въ длинный, доходящій до самой земли, хитонъ, съ эгидой на груди и шлемомъ на головѣ, она спокойно положила свою правую руку на прочную подставку, чтобы удобнѣе держать крылатую фигурку вѣстницы побѣды, Ники. Въ то же время ея лѣвая рука также спокойно придерживаетъ большой круглый щитъ и копье, подлѣ ко-

¹⁾ Изобр. въ атласѣ Штейдника, табл. 19, фиг. 2 и 4.

торыхъ видна огромная змѣя,—эта постоянная спутница и помощница ея въ подвигахъ. Итакъ, все это знаменуетъ въ ней пока богиню могучую, сильную, воинственную, которая только что побѣдоносно закончила свою трудную дѣятельность на пользу великаго города аениянъ, состоявшаго подъ ея покровительствомъ, и теперь стоитъ, сложивши спокойно свое оружіе, но готовая снова помочь своему народу и увѣнчать всякую новую побѣду аениянъ... Но это только одна изъ сторонъ ея существа, и при томъ не самая важная: *эта мощная и побѣдоносная богиня была сверхъ того и вѣчно юною, непорочною, вѣчно чистою въ своемъ цѣломудріи Дѣвою;* и художникъ долженъ былъ выразить въ типѣ Аениы-Пареносъ эту высшую сторону ея природы со всею возможной ясностью. Великій Фидій съумѣлъ превосходно достигнуть этого, соединивши въ одно стройное цѣлое побѣдоносное величіе Аениы съ суровою строгостью формъ ея тѣла и самого выраженія. Ея формы—высоко прекрасны, но не роскошны; взамѣнъ чувственной роскоши тѣла въ ней видимъ благородное и строгое изящество: тѣ формы тѣла, въ которыхъ особенно ярко раскрываются полнота жизненности и нѣга женской натуры, у Аениы значительно сокращены; а руки и ноги ея можно было бы назвать почти мужскими, еслибы съ силой и крѣпостью могучей воительницы онѣ не соединяли дѣвической красоты. При взглядѣ на эту Аениу, ясно видишь, что сама она настолько мужественна, что ей уже трудно, даже невозможно отдаваться чувственной страсти... Силою духа она окончательно побѣдила уже свои низшія природныя наклонности (впрочемъ, никогда не достигавшія у нея особенно сильнаго развитія), и эту разумную побѣду духа надъ чисто физическими побужденіями художникъ превосходно выразилъ въ ея прекрасномъ и вмѣстѣ строгомъ лицѣ. Ясный и высокій лобъ ея легко опускается къ тонко—очерченному прямому носу; строгое выраженіе ея усть и ланитъ довершается большимъ округленнымъ подбородкомъ; наконецъ, въ большихъ глазахъ ея, глядящихъ впередъ спокойнымъ и чистымъ цѣломудреннымъ взоромъ, ясно выражаются не застѣнчивость и стыдливость неопытной дѣвушки, а разумное и глупо

бокое сознаніе всего величія своеї дѣвственной чистоты ¹⁾... Таковъ этотъ художественный идеалъ Аѳины-Дѣвы въ его высочайшемъ пластическомъ выраженіи у Фидія.

Инымъ характеромъ отличался идеальный типъ Геры, супруги Зевса, царицы боговъ и людей. Это былъ типъ столь же возвышенной и царственно-величавой красоты женскаго божества, какимъ среди мужскихъ божествъ являлся Фидіевъ типъ Олимпійскаго Зевса. И это понятно, потому что Гера была, какъ сказано, супругою Зевса и, значитъ, по праву—царицей боговъ и людей. Но въ то же самое время, согласно народнымъ о ней представлениямъ она являлась и женщиной во всей полнотѣ того физического развитія, на которое только способна женская натура, уже нашедшая себѣ законное удовлетвореніе въ супружеской любви. И именно соединеніе двухъ сторонъ ея природы—божескаго величія и царственной суровости съ полной жизненностью прекрасной, вполнѣ развившейся женщины,—это соединеніе и лежитъ въ основѣ ея художественнаго типа. Внѣшнія формы ея идеального образа, созданнаго Поликлетомъ для храма Геры въ Аргосѣ (какъ можно судить по сообщеніямъ о немъ древнихъ авторовъ и по сохранившимся для насъ античнымъ изображеніямъ Геры, особенно изъ виллы Людовизи) вполнѣ соответствовали его внутреннему содержанію ²⁾). Болѣе широкій, чѣмъ высокій лобъ ея, гладкій и слегка закругляющійся книзу, указывалъ въ ней твердую волю и сильный характеръ; внизу этотъ лобъ очерчивался тонкою линіей прекрасныхъ густыхъ бровей, изогнутыхъ едва примѣтной дугою,—бровей, на которыхъ, по выраженію одного изъ писателей, покоялась гордость царицы боговъ. А подъ ними глубоко сидѣли тѣ больше, широко открытые глаза, форма и величина которыхъ („воловая Гера“) высоко цѣнились у древнихъ. Въ этихъ глазахъ яснѣе всего отразилась природа богини. Въ нихъ не было того мягкаго, нѣжнаго и страстнаго выраженія, какимъ отличались глаза Афродиты;

¹⁾ Ср. Goethe: «Uber d. m nnliche und weibliche Form», etc., и Ѳ. И. Буслаева: »О женскихъ типахъ въ изваяніяхъ греческихъ богинь» (въ «Пропилеяхъ 1856 г. № 1).

²⁾ Изобр. въ атласѣ Штейдника табл. 28 фиг. 1—6.

они не похожи были и на глаза Аенины съ ихъ цѣломудренно—строгимъ дѣвическимъ взоромъ; они заключали въ сѣбѣ выраженіе царственно величавое и чуждое страсти, спокойное, потому что въ самой природѣ ея нѣтъ уже страстности чувства или неудовлетворенности женскихъ инстинктовъ, присущихъ обѣимъ названнымъ богинямъ; а есть лишь спокойное чувство супруги царя всѣхъ боговъ, нашедшей себѣ полное удовлетвореніе въ супружеской жизни... Та же спокойная, строгая величавость царицы боговъ отразилась и на всѣхъ остальныхъ ея чертахъ: она видна и въ рѣзкомъ очертаніи слегка раскрытаго рта, и въ этой прямолинейности носа, и въ полномъ овалѣ лица, заканчивающагося энергично округленнымъ подбородкомъ. Только роскошное тѣло ея, съ пышною грудью, съ высокимъ стройнымъ станомъ и бѣломраморными руками, указываютъ въ этой величавой богинѣ еще и полную жизни женщину во всей красотѣ ея зрѣлой, законченной въ своемъ развитіи, натуры.

Опять иной характеръ имѣетъ идеальный образъ *Афродиты*. Уже въ древнѣйшихъ поэтическихъ сказаніяхъ эта богиня является *богиней всепобѣждающей и всеобъемлющей любви и красоты*. Такою же изобразилъ ее и Пракситель въ своемъ знаменитомъ произведеніи, созданномъ имъ для острова Книла¹⁾). Онъ представилъ въ ней общечеловѣческій элементъ больше, чѣмъ это возможно было сдѣлать въ какомъ либо другомъ изваяніи греческихъ богинь, потому что и самое чувство любви, составляющее ея внутреннюю сущность, является чувствомъ по преимуществу человѣческимъ, а не божескимъ. Но богиня *красоты и любви* есть *въ то же самое время и прекраснѣйшая, вѣчно юная, неизмѣнно цветущая женщина, живущая самою полною жизнью тѣла и духа, чувствующая и чувственная*. Соответственно такому именно содержанію ея идеального типа, созданъ былъ и пластическій образъ ея у Праксителя, въ которомъ все олицетворяетъ одновременно и богиню, и прекраснѣйшую женщину съ ея завѣтнымъ чувствомъ любви. Пракситель

¹⁾ Изобр. въ атласѣ Штейдника табл. 32, фиг. 3 и табл. 35, фиг. 1.

изобразилъ ее, въ отлиchie отъ всѣхъ остальныхъ богинь, совершенно обнаженною, показавши удивленному міру всю красоту ея прекраснаго тѣла, котораго онъ не скрылъ ни малѣйшимъ покровомъ. Ея собственная красота,—не допускавшая низкой мысли у созерцавшаго ее, по словамъ одной древней эпиграмы,—служила ей вмѣсто покрова. Богиня представлена была только что вышедшей изъ воды послѣ купанья, когда одною рукой она поднимаетъ съ амфоры свою одежду, чтобы прикрыться ею, а другою—стыдливо спѣшитъ прикрыть свою грудь. Ея плечи и грудь—роскошны и исполнены жизненности; ея полныя бѣлыя руки, граціозныя ноги и весь плавный изящный контуръ, который образуется непрерывною линіей тѣла, слегка изогнувшагося при указанной постановкѣ; ея большиe страстные глаза съ поволокой,—съ тою особеною влажностью взора, на которую указывали еще древніе авторы и которая достигалась въ скульптурѣ особымъ очеркомъ глазъ;—все это (какъ видимъ и въ мюнхенской, и въ ватиканской копіяхъ кнідской Венеры Праксителя) вполнѣ отвѣчало внутреннему характеру этого идеального типа *Афродиты, какъ богини любви и красоты и прекраснѣйшей женищины.* И сила выраженія этого внутренняго характера во внѣшнихъ формахъ была настолько велика въ произведеніяхъ Праксителя, что древнимъ грекамъ казалось, будто сама богиня сошла съ Олимпа и воплотилась въ ея кнідскомъ изваяніи, какъ гласитъ о ней между прочимъ слѣдующая древняя эпиграмма:

„Кто вложилъ душу въ этотъ мраморъ? Кто видѣлъ на землѣ богиню Киприду? Кто одарилъ этотъ мраморъ такою горячею страстью любви?.. Это—работа рукъ Праксителя и, благодаря ей, Олимпъ лишился богини красоты и любви, потому что она сошла съ Олимпа въ городъ кнідянъ“...

Таково было это третье идеальное изваяніе женскаго божества, отличное по внутреннему характеру и внѣшнимъ формамъ отъ остальныхъ идеальныхъ типовъ богинь, уже выше разсмотрѣнныхъ—Аеины-Дѣвы, Геры, и цѣлаго ряда другихъ, на разсмотрѣніи которыхъ мы не будемъ здѣсь останавливаться.

Представленныхъ сейчасъ примѣровъ совершенно достаточно для того, чтобы убѣдиться въ справедливости всего сказаннаго нами относительно творчества художниковъ идеалистовъ; чтобы видѣть, насколько мало общаго имѣеть эта творческая работа съ вдохновеннымъ созерцаніемъ готовыхъ образовъ въ счастливые моменты экстаза, въ таинственной области какихъ-то внѣ міра пребывающихъ идей, и насколько оно, напротивъ, многосложно, обдуманно и близко къ реальнай дѣйствительности въ своихъ процессахъ.

* * *

Должно отмѣтить однако, что *на ряду съ указаннымъ выше источникомъ, лежащимъ вни самога человѣка*, (т. е. воздействиемъ на человѣка самыхъ идей въ моменты вдохновеннаго ихъ созерцанія), Платонъ указываетъ еще и *иное начало художественнаго творчества*, — *начало субъективное, психологическое, пребывающее внутри самого человѣка*. Платонъ находитъ его въ дѣйствіи той *всеобъемлющей и всесильной любви*, которою бывали и бываютъ одушевлены, по мнѣнію его, не только люди, но и самые боги, и которой многія произведенія искусства въ дѣйствительности обязаны были своимъ происхожденіемъ. Въ одномъ изъ своихъ диалоговъ (*Пиръ 196е—197 с.*), олицетворяя эту любовь подъ видомъ Эроса, Платонъ раскрываетъ намъ ея значеніе для художественнаго творчества слѣдующимъ образомъ... — „*Эросъ,—говоритъ онъ,—есть такой мудрый поэтъ, что и другихъ легко дѣлаетъ поэтами*, потому что всякий, сколь-бы онъ ни былъ необразованъ прежде, непремѣнно дѣлается поэтомъ, коль скоро къ нему прикасается любовь. И въ этомъ доказательство, что *Эросъ самъ хороший поэтъ*, ибо чого кто самъ не имѣетъ или не знаетъ, того не можетъ дать и другому.... А что касается *производительности искусства*, то развѣ мы не знаемъ, что *только тѣ, кому Эросъ былъ учителемъ, вышли въ искусство извѣстными и славными*; тогда какъ тѣ, кого онъ не касался, всегда оставались во мракѣ и неизвѣстности. И это справедливо не только относительно людей, но и самыхъ боговъ. Вѣдь и Апеллонъ

свое искусство изобрѣлъ подъ руководствомъ любви, такъ что и онъ былъ ученикомъ Эроса. Подъ тѣмъ-же самымъ руководствомъ и Музы изобрѣли музыку, и Гефестъ-кузнечное искусство, Аѳина—ткацкое искусство, а Зевсъ—искусство управления богами и людьми. Отъ того-то и могли устроиться дѣла самихъ боговъ, что былъ между ними Эросъ, богъ прекраснаго. Раньше появленія Эроса, какъ разсказываютъ поэты, даже съ богами случалось много ужаснаго, и это происходило тогда отъ владычества Ананки,—Необходимости; когда-же между богами явился Эросъ, тогда между ними установилось согласіе, и отъ любви къ прекрасному произошли тогда всѣ блага и для боговъ, и для людей”...—И въ этой эстетико-психологической аллегоріи мы усматриваемъ глубокій жизненный смыслъ. Можно сказать, что насколько противорѣчащей по отношенію къ дѣйствительной практикѣ творчества художниковъ идеалистовъ являлась у Платона его метафизическая теорія созерцанія вѣчныхъ идей, настолько же правдивою, естественною и близкой къ самой дѣйствительности для множества произведеній искусства представляется эта теорія психологическая, придающая въ явленіяхъ художественного творчества столь важное значеніе моменту субъективному,—тому восторженному одушевленію, которое у многихъ поэтовъ, музыкантовъ и художниковъ бывало тѣснѣйшимъ образомъ связано съ чувствомъ любви... Этотъ элементъ любви къ прекрасному индивидуальному, къ живымъ отдельнымъ лицамъ, существующимъ на землѣ, для цѣлой массы произведеній искусства, для цѣлыхъ видовъ поэзіи, музыки, скульптуры и живописи, гораздо ближе, проще и естественнѣе объясняетъ самое ихъ происхожденіе,—самые источники творчества въ этихъ областяхъ, чѣмъ метафизическое созерцаніе вѣчныхъ идей, находящихся превыше всего земного и индивидуального. Такъ мы знаемъ, дѣйствительно, цѣлые обширные виды поэзіи,—широкую область лирики, где любовь являлась важнѣйшимъ мотивомъ для содержанія. Мы знаемъ, что и въ романѣ, и въ драмѣ любовь варирировалась въ ея безконечно разнообразныхъ проявленіяхъ, какъ главнѣйшая тема, вѣчная, какъ міръ, и въ то же время всегда новая и жизненная. Мы

знаемъ и особые разряды пѣвцовъ красоты и любви въ прошломъ поэзіи (трубадуровъ и миннезингеровъ), культивировавшихъ подобное же содержаніе, какъ драгоцѣннѣйшую святыню своей души. И этотъ же элементъ, несомнѣнно, никогда не изсякнетъ и въ будущей поэзіи цѣлаго міра, какъ одинъ изъ главнѣйшихъ и вѣчно живыхъ источниковъ, какъ бы ни измѣнялись господствующія теченія въ поэзіи; и можно съ увѣренностью сказать, что изъ такого источника безконечно долго еще поэты будутъ черпать и вдохновеніе для созданія многихъ произведеній своихъ, и самое содержаніе ихъ живое, привлекательное и интересное...

То-же и въ области музыки, гдѣ указанный элементъ далъ начало лирической музыки въ огромномъ количествѣ произведеній ея, посвященныхъ разнообразнѣйшимъ темамъ, вызываемымъ чувствомъ любви. И должно замѣтить, что чѣмъ глубже и искреннѣе тѣ чувства, которыя заполняютъ сердце творящаго композитора, тѣмъ болѣе жизненной и прекрасной является самая музыка; тѣмъ болѣе понятна она и для каждого слушателя, хотя бы онъ и не обладалъ никакими техническими музыкальными знаніями...

Наконецъ, и въ области живописи и пластики тому же самому элементу любви во многихъ случаяхъ, засвидѣтельствованныхъ исторіей, обязаны своимъ появлениемъ многочисленныя и превосходнѣйшія произведенія; причемъ эти послѣднія естественно наиболѣе часто связывались съ портретомъ (скульптурнымъ и живописнымъ), какъ съ такимъ видомъ изобразительного искусства, который ближе всѣхъ остальныхъ и совсѣмъ непосредственно связывается съ возсозданіемъ личности.—Такова роль указанного психического начала въ художественномъ творчествѣ и таково значеніе его для вѣкоторыхъ видовъ искусства.

* * *

Намъ остается ознакомиться теперь еще съ однимъ весьма любопытнымъ и для изучающаго Платона неожиданнымъ явлениемъ, которое давно уже обращало на себя вниманіе различныхъ толкователей Платона, возбуждало многочисленные оживленные споры и все-таки не приводи-

ло ни къ какимъ окончательнымъ результатамъ, оставаясь для всѣхъ очевиднымъ и несомнѣннымъ противорѣчіемъ въ его системѣ.—Вопреки высокимъ эстетическимъ положеніямъ, поставленнымъ имъ-же самимъ въ основу своей эстетической теоріи; вопреки всѣмъ тѣмъ многочисленнымъ, блестящимъ фактамъ въ области извѣстнаго ему идеалистического искусства, на которые онъ могъ-бы и долженъ былъ опираться,—вопреки всему этому Платонъ дѣлаетъ въ своемъ трактатѣ: „Государство“ цѣлый рядъ чрезвычайно рѣзкихъ и совершенно неожиданныхъ въ его устахъ замѣчаній, очевидно умышленно унижающихъ то самое искусство, которое имъ-же самимъ въ другихъ сочиненіяхъ было, (какъ мы видѣли раньше), превознесено на недосягаемую высоту, было поставлено выше всего, что только способенъ произвести человѣкъ, и что способна дать сама природа. Эти своеобразные взгляды свои, непохожіе на все предыдущее, Платонъ развиваетъ подробно въ названномъ сочиненіи. Подыскивая въ этомъ своемъ сочиненіи для своего образцового государства желательный для него составъ гражданъ, Платонъ исходитъ тутъ съ высоты своего идеализма на почву *соціологии и политики* и, въ цѣляхъ уже чисто *государственныхъ*, а равно и *педагогическихъ*, дѣлаетъ расцѣнку различнымъ видамъ возможной общественной дѣятельности. Набравши для этого государства и воиновъ, и мудрыхъ управителей, и ремесленниковъ, и т. п. гражданъ онъ обращается, между прочимъ, къ вопросу о томъ, *нужны ли будутъ въ идеальномъ государствѣ представители искусствъ, а если нужны, то какие, и въ чёмъ должна состоять здѣсь ихъ роль?*—И вотъ тутъ-то, въ отвѣтахъ на эти вопросы Платонъ доходитъ до яркаго *противорѣчія съ собою самимъ*. Значеніе всякаго художника въ образцовомъ его государствѣ было-бы,—по мнѣнію Платона,—вовсе ничтожнымъ, потому что *вся роль его сводилась бы къ подражательному воспроизведенію* того, что существовало *въ природѣ уже ранѣе*, ибо *искусство*,—замѣчаетъ онъ здѣсь въ отличіе отъ своихъ взглядовъ въ предыдущихъ сочиненіяхъ,—*заключается въ простомъ подражаніи природѣ*. Для самостоятельной творческой дѣятельности художника

не оставляется никакого места и, будет ли объектомъ его подражательного воспроизведенія служить какой-либо изъ видимыхъ предметовъ природы, или же нѣчто невидимое, духовное,—все равно и въ томъ, и въ другомъ случаѣ художникъ не создаетъ будто-бы ничего, въ строгомъ смыслѣ, новаго,—такого, что въ томъ или иномъ видѣ не существовало бы уже ранѣе во вселенной. На долю художника приходится только простое наблюденіе и сверхъ того заботы о техникѣ исполненія при передачѣ въ своихъ произведеніяхъ уже существующаго, вслѣдствіе чего и самая эта подражательная дѣятельность художника оказывается для него лишь простою забавой, а самое искусство, преслѣдующее такія пустыя, ничтожныя цѣли, какъ воспроизведеніе уже существующаго ради забавы, въ лучшемъ случаѣ можетъ претендовать на признаніе его украшеніемъ обеспеченной жизни, но отнюдь не можетъ быть признано необходимымъ и полезнымъ для образцового государства.

Но этого мало. Во многихъ случаяхъ искусство оказывается не только бесполезнымъ, но и прямо-таки *вреднымъ и потому опаснымъ для государства*, и эта опасность со стороны искусства является для развитія государства настолько серьезною, что для предупрежденія грозящихъ дурныхъ послѣдствій рождается необходимость въ высшемъ контролѣ, въ цензурѣ государства какъ надъ самими художниками, такъ и надъ ихъ произведеніями.—Уже пластическая искусства,—скульптура и живопись,—могутъ представлять для государства нѣкоторую опасность, такъ какъ и первая, и вторая стремится къ обману человѣка,—скульптура посредствомъ формъ, живопись—при помощи красокъ и перспективы, стараясь показать въ своихъ произведеніяхъ (подражающихъ природѣ) безжизненное и въ дѣйствительности несуществующее и бездушное какъ-бы существующимъ и жизненнымъ. Уже одного этого достаточно для того, чтобы признать существованіе скульптуры и живописи въ образцовомъ государствѣ нежелательнымъ, а самихъ художниковъ, какъ обманщиковъ и людей бесполезныхъ, исключить изъ числа гражданъ.—Но гораздо болѣе опасными для государства оказываются два другія

искусства—поэзія и музыка, ибо въ первой—слово, а во второй—мелодія являются въ высшей степени могущественными орудіями, при помощи которыхъ поэтъ и музыкантъ могутъ дѣйствовать на человѣка въ любомъ, желательномъ имъ направлениі. Въ виду этого Платонъ настаиваетъ на томъ, чтобы поэзія и музыка подвержены были особенно строгому контролю со стороны государства,—контролю и требованіямъ настолько суровымъ, что почти всѣ существовавшія въ его время поэтическія и музыкальные произведенія должны были быть исключенными изъ числа тѣхъ воспитательныхъ средствъ, которыми можно было бы пользоваться въ его идеальномъ государствѣ; вмѣстѣ съ этимъ и большая часть поэтовъ и музыкантовъ, какъ распространителей элементовъ вредныхъ для жизни гражданской, должна была быть совсѣмъ изгнанной изъ государства.—Весьма интересенъ этотъ первый древнѣйший проектъ государственной цензуры. Какие именно вредные элементы видѣлъ Платонъ прежде всего въ поэзіи и что именно считалъ въ ней недозволительнымъ для пользованія.—Больше всего,—говорить намъ Платонъ (см. „Государство, II, 375—383),—должно остерегаться тѣхъ разсказовъ поэтовъ, гдѣ сами боги представляются въ свѣтѣ обманчивомъ, ложномъ; гдѣ богамъ приписываются такія дѣла, которые недостойны не только безсмертныхъ, но и каждого просто порядочнаго человѣка; гдѣ имъ присваиваются качества самыя низкія, непристойныя божеской природѣ, унижающія ихъ достоинство и заставляющія думать о нихъ не съ благоговѣніемъ, какъ о небожителяхъ, стоящихъ выше всего человѣческаго, но какъ о существахъ, обладающихъ множествомъ тѣхъ же пороковъ, тѣхъ-же грубыхъ страстей и инстинктовъ, которые свойственны и самымъ порочнымъ изъ смертныхъ. А между тѣмъ такихъ унизительныхъ для божескаго достоинства разсказовъ у поэтовъ имѣется множество: таковы, напр., разсказы Гомера и Гезіода, въ которыхъ говорится, о враждѣ боговъ между собой и постыдной ихъ ненависти другъ къ другу и къ избраннымъ любимцамъ другихъ боговъ изъ среды человѣчества, если этимъ любимцамъ покровительствуютъ враждебные боги.

Еще хуже тѣ поэтические рассказы, въ которыхъ описываются взаимные обманы боговъ, или рассказывается объ обманахъ богами людей. Много и еще описываютъ поэты такихъ безобразныхъ дѣлъ боговъ Олимпійскихъ, которые не захотѣлъ-бы приписать себѣ ни одинъ нравственно добрый человѣкъ; и вотъ этого-то всего должно тщательно избѣгать при изученіи поэтовъ и все это должно исключить изъ предметовъ изученія юношества въ образцовомъ государствѣ, потому что такие рассказы способны только развращать юношей, ничему не научая. Равнымъ образомъ нужно, въ цѣляхъ уже развитія мужества въ гражданахъ, исключить изъ числа пригодныхъ для воспитанія тѣ рассказы поэтовъ, въ которыхъ передаются различные *ужасы преисподней и мученія загробной жизни*. Поэтому, нужно было бы просто вычеркнуть изъ сочиненій поэта Гомера такие стихи, какъ, напр., слѣдующіе въ „Одиссеѣ“, въ которыхъ говорится о душахъ умершихъ въ первые моменты послѣ смерти тѣлесной:

„Будто летучія мыши во мракѣ пещеры глубокой
Съ свистомъ порхаютъ, и только лишь въ ихъ
вереницѣ
Съ камня упала одна, какъ и всѣ сцепившись
упали:
Такъ тамъ и души умершихъ неслись съ скрежетаньемъ“. (Одис. XXIV, 6 и сл.)

Или такие, какъ, напр., слѣд. стихи Иллады:

„Тутъ-то подъ землю душа, какъ облако дыма,
съ воемъ ушла“... (Ил. XXII 100)

Или, какъ эти стихи, представляющіе царство Аида преисподнюю въ устрашающемъ видѣ:

„И жилищъ его не открылъ бы бессмертнымъ,
и смертнымъ—
Мрачныхъ, ужасныхъ, которыхъ трепещутъ и
самые боги“... (Ил. XX, 64.)

Таково же описание преисподней въ XI п. Одиссеи, особенно мрачное по характеру; подобныхъ стиховъ и цѣлыхъ разговоровъ въ поэзіи много, и всѣ они должны быть

исключены изъ пользованія при воспитаніи, потому что они уничтожаютъ мужество и не достигаютъ ничего иного, кроме того, что развиваютъ сильный страхъ передъ смертью и преисподнею и заставляютъ воиновъ бояться даже самой войны, гдѣ смерть возможна скорѣе всего.

Наконецъ необходимо исключить изъ твореній поэтовъ всѣ тѣ разсказы, въ которыхъ передаются въ подражательномъ воспроизведеніи различные обольстительныя сцены, где превозносятся наслажденія, и притомъ чрезмѣрные, различными пиршествами, виномъ и яствами, или дѣлами любовными и подобными же другими предметами. Всѣ эти рассказы и описанія, которыхъ особенно много напр., у Анакреона, только развиваются въ гражданахъ, особенно въ молодежи, желаніе самимъ получать возможность пользоваться подобными-же неумѣренными наслажденіями, какія описываютъ поэты; съ другой стороны, такія описанія усиливаютъ у нихъ недовольство своею судьбою, если всѣхъ этихъ наслажденій самая жизнь имъ не доставляетъ.—Что касается, наконецъ, музыки, то и ея содержаніе Платонъ подвергаетъ столь-же суровому контролю со стороны государства. Онъ отдаетъ ее всю на судъ и распоряженіе общественной власти для того, чтобы ни одна вредная мелодія, ни одинъ видъ музыки, способный оказать то или иное дурное вліяніе на членовъ общества, не были допущены въ это общество и не могли произвести своего дѣйствія. Онъ исключаетъ изъ общественного пользованія цѣлый рядъ мелодій то по однѣмъ, то по другимъ причинамъ: онъ не допускаетъ въ своемъ государствѣ мелодій слишкомъ печальныхъ, плаксивыхъ, (подобныхъ мольно-лидійскимъ мелодіямъ), потому что онъ дѣлаютъ будто бы слезливыми, слишкомъ чувствительными и самихъ ихъ слушателей. Онъ не допускаетъ также мелодій изнѣживающихъ, подобныхъ юнійскимъ, потому что онъ только разслабляютъ души гражданъ и т. д. Допущены могутъ быть только тѣ мелодіи, которыя, подобно дорійскимъ, подражая напѣвамъ человѣка мужественнаго, содействуютъ укрѣплению мужества въ душѣ граждани и, успокаивая ее, если она передъ тѣмъ была возмущена чѣмъ-либо, даютъ ей новую бодрость и силу

на новые подвиги. Допускаются и торжественные гимны богамъ, которые даютъ соотвѣтствующее торжественное настроеніе. Таковы суровыя требованія Платона и таковъ его суровый приговоръ по отношенію къ тому самому искусству, которое самъ же онъ ставилъ такъ недосягаемо высоко въ своихъ другихъ сочиненіяхъ. И единственнымъ болѣе или менѣе правдоподобнымъ объясненіемъ этой суровости здѣсь можетъ быть только то, что исходная точки зре-
нія были различны въ этомъ сравнительно съ предыдущими его сочиненіями: тамъ Платонъ говорилъ, какъ философъ-идеалистъ, какъ метафизикъ; здѣсь онъ превращается въ устроителя образцового государства, въ педагога, политика и соціолога и судитъ искусства по ихъ чисто практическому — общественно-педагогическому значенію, по ихъ примѣненію къ системѣ образцового воспитанія, въ цѣляхъ государственныхъ. Вотъ почему и самые приговоры являются здѣсь и тамъ совершенно различными и по самому существу своему другъ съ другомъ рѣшительно непримирами.

Рѣзко до противорѣчія измѣняется въ „Государствѣ“ Платона прежде всего самый взглядъ его на художественное творчество, на происхожденіе и задачи искусства. Платонъ является здѣсь уже не тѣмъ философомъ-идеалистомъ поставляющимъ искусство на недосягаемую высоту, какимъ мы видимъ его ранѣе, въ другихъ его сочиненіяхъ. Онъ смотритъ тутъ на искусство съ пренебреженіемъ, указывая, въ противорѣчіи съ самимъ же собою, источникъ его въ простомъ подраженіи тому, что видитъ, слышитъ, воспринимаетъ художникъ изъ окружающей его среды или духовнаго міра человѣческихъ представлений.

О вдохновенномъ созерцаніи художникомъ или поэтомъ вѣчныхъ идей въ счастливые моменты вдохновенія—здѣсь нѣтъ и рѣчи. И если въ другихъ своихъ сочиненіяхъ Платонъ придаетъ вдохновенному экстазу творящаго художника слишкомъ преувеличенное значеніе того элемента, который возвышаетъ духъ человѣческій въ эти моменты до вѣчнаго всюду сущаго; то здѣсь онъ унижаетъ самое вдохновеніе, отнимая у него даже тѣ реальные свойства болѣе глубокаго проникновенія въ явленія жизни, которыя присущи въ

дѣйствительности творящему духу художника въ моменты проявленія повышенной его энергіи, называемой вдохновеніемъ, и вмѣсто того придаетъ ему ничтожное значеніе простого подражанія существующему, главнымъ образомъ вѣшнему.—Далѣе, съ преувеличенной осторожностью и чрезмѣрной строгостью относится Платонъ въ своемъ „Государствѣ“ и къ самой дѣятельности поэтовъ, художниковъ и музыкальныхъ композиторовъ. Правда, нельзя не признать въ мотивахъ такого строгаго отношенія значительной доли правды, реальной обоснованности. Потому что, дѣйствительно, искусство вообще, а поэзія и музыка по преимуществу способны оказывать на человѣка (а на воспріимчивую молодежь въ особенности) огромное воспитательное воздействиѣ. И смотря потому, каковы будутъ самыя эти произведенія, которымъ подпадаетъ человѣкъ въ своей жизни, будутъ получаться и самые различные результаты: благотворные въ однихъ случаяхъ и разрушительные въ другихъ.. Тѣмъ не менѣе ясно, что подчиняя искусство строжайшей цензурѣ со стороны государства, Платонъ въ явномъ противорѣчіи съ самимъ же собой, добивался уничтоженія той самой свободы въ искусствѣ, какая естественно вытекала изъ идеалистического его ученія, согласно которому никто и ничто не могло ограничить свободнаго творчества художника и поэта, поднимавшагося въ моменты своего вдохновенія превыше всего земного и ограниченаго, условнаго.

Наконецъ, глубоко ошибочнымъ должно признать тотъ взглядъ философа на значеніе искусства для общества, который проводится въ „Государствѣ“ Платона. Не безпользно и ненужно роскошью для богатыхъ является искусство въ общественной жизни, и не изгонять его, какъ такую ненужную роскошь, или обманъ, должно изъ образцового государства, какъ и изъ государства реальнаго. Нѣтъ, необходимо, напротивъ того, культивировать, совершенствовать его, какъ послѣднюю и высшую цѣль культурнаго бытія въ благоустроенномъ государствѣ. Потому что въ тѣ лучшія времена государственной жизни, когда устроены будутъ, наконецъ, высшія формы ея, когда достигнуты бу-

дуть и общее экономическое благосостояние гражданъ, и справедливое распределение социальныхъ благъ для всѣхъ классовъ народа и всѣхъ отдельныхъ его представителей, —тогда искусство естественно и необходимо сдѣлается вѣнцомъ государственной жизни,—лучшимъ и драгоценнейшимъ элементомъ ея, безъ котораго полнота и счастье идеального бытія были бы невозможны, безъ котораго жизнь въ такомъ идеальномъ утопическомъ государствѣ была бы смытымъ, животнымъ, однообразнымъ и сѣрымъ, безрадостнымъ бытіемъ, безъ солнца, безъ свѣта духовнаго, безъ наслажденій высокихъ, чистѣйшихъ, волнующихъ и захватывающихъ всякаго человѣка съ живою душою.. Вотъ почему государство, изъ котораго было бы изгнано искусство въ разнообразныхъ его проявленіяхъ, представлялось бы бездушнымъ государственнымъ механизмомъ, а отнюдь не идеаломъ государственного счастливаго бытія, въ кототоромъ всѣ счастливые граждане составляютъ единый и цѣльный, совершенный въ своемъ устройствѣ живой организмъ...

IV.

Эстетика Аристотеля¹⁾.

Вы ознакомились въ твореніяхъ великаго Платона съ тѣмъ интереснымъ периодомъ въ исторіи древней эстетики, которой можетъ быть названъ эпохой высшаго расцвѣта эстетического идеализма на ряду съ таковымъ же и въ самой греческой пластикѣ. Эта эпоха была, (если характеризовать ея внутреннее общее направление), эпохой глубокаго идейнаго увлеченія, когда лучшіе представители философіи и искусства устремляли могучія силы своего гenія не на одну только измѣнчивую вѣшнюю вѣчно движущихся явлений, но, какъ казалось тогда, на самую сущность вещей, въ которую одни старались проникнуть путемъ вдохновеннаго созерцанія, другіе—непосредственной силой мысли, трети—путемъ

¹⁾ Объ эстетическихъ воззрѣніяхъ Аристотеля см. у M. Schasler: kritische Geschichte d. Aesthetik, S. 121—202; у Walter: d. Gesch. d. Aesthetik im Altertum, S. 477—735; у Hermann d. Aesthetik in ihrer Geschichte S. 50—65 и др.

творческой дѣятельности въ искусствѣ.. Но въ то же время это была эпоха, когда *восторженное стремленіе къ идеалу еще заслоняло собою спокойное изученіе, методическое изслѣдованіе по вопросамъ эстетики*, потому что такое изслѣдованіе, имѣющее въ виду познаніе прежде всего отдельныхъ вещей и индивидуумовъ съ ихъ особенностями, а не абсолютныхъ сущностей всѣхъ предметовъ, не казалось тогда главнѣйшею цѣлью, достойной философа... И эта эпоха со всѣми ея увлеченіями и со всѣми особенностями ея нашла себѣ, какъ Вы видѣли, полное и яснѣйшее выраженіе въ лицѣ великаго древняго представителя метафизической философіи, Платона.—Въ вопросахъ эстетики Вы слышали его голосъ, полный самаго искренняго увлеченія, доносившійся къ намъ изъ этой далекой древности. Голосъ этотъ чаше всего уносился въ недосягаемыя высоты метафизического идеализма, и тогда Вы слышали скорѣе пѣсню поэта, съ восторгомъ рассказывающаго о своихъ счастливыхъ и вдохновенныхъ видѣніяхъ, чѣмъ разсудочную и строго обоснованную рѣчь глубокомысленного философа... Но иногда этотъ голосъ внезапно обрывался: восторженная пѣснь его неожиданно умолкала, и вместо поэта Вы видѣли вдругъ передъ собою суроваго философа, произносящаго приговоры необыкновенной строгости,—изгоняющаго изъ государства однихъ поэтовъ, музыкантовъ и художниковъ, другихъ подчиняющаго строжайшей цензурѣ, и неожиданно жертвуящеаго въ интересахъ соціальныхъ и педагогическихъ тѣмъ самымъ искусствомъ, въ честь котораго раньше онъ пѣлъ свои хвалебныя пѣсни...

Теперь Вы услышите иной голосъ, иныя рѣчи, выходящія изъ области *реальной дѣйствительности*. Вы познакомитесь съ образомъ мыслей философа трезво-холоднаго, который никогда не уносился за художественно-философскими идеалами въ тѣ сверхчувственные сферы прекраснаго, которые будто бы существуютъ превыше всего земного. Такимъ философомъ былъ Аристотель, великий ученикъ великаго метафизика, и въ то же время до противоположности на него не похожій въ своихъ эстетическихъ взглядахъ.

Въ противоположность Платону, Аристотель былъ рѣшительнымъ, убѣжденнымъ проповѣдникомъ господства разсудка надъ сердцемъ и поэтическою фантазіей у философовъ. И создавая свою эстетическую теорію, онъ никогда поэтому не оставлялъ міра вещей существующихъ,—міра реального, который онъ подвергалъ самому тщательному и проницательному анализу. Естественно, что при этомъ аналитическомъ способѣ изслѣдованія Аристотеля рѣчи его никогда не возвышались до гимна прекрасному,—до такихъ восторженныхъ поэтическо-философскихъ пѣсень въ честь красоты и искусства, какія Вы слышали у Платона; но никогда за то они у него не доходили до того явнаго внутренняго противорѣчія сами съ собою и съ фактами самой дѣйствительности, какое Вы видѣли тамъ, въ системѣ великаго метафизика... Таковъ былъ этотъ представитель новаго направленія въ древней эстетикѣ, всегда остававшійся вѣрнымъ реальной дѣйствительности, не покидавшій для своихъ эстетическихъ выводовъ области фактovъ,—великій философъ, бѣдный поэтическою фантазіей и одушевленіемъ; но могучій по силѣ аналитического ума своего, непоколебимый и ясный въ своихъ обобщеніяхъ.

Мы обратимся теперь къ ближайшему разсмотрѣнію тѣхъ эстетическихъ положеній, какія находятся въ философскихъ трактатахъ у Аристотеля и главнымъ образомъ въ его знаменитой „Поэтике“.—Ни одинъ изъ философовъ классической древности не оставилъ послѣ себя такого полнаго, такого систематического кодекса своихъ эстетическихъ взглядовъ, какіе въ свое время представилъ Аристотель въ своихъ разнообразныхъ трактатахъ, посвященныхъ вопросамъ эстетики. Существуетъ мнѣніе у изслѣдователей, занимавшихся разысканіемъ всѣхъ сочиненій этого великаго философа, что разрѣшенію различныхъ вопросовъ эстетики имъ посвящено было нѣсколько отдельныхъ трактатовъ. Какіе, именно, вопросы здѣсь разматривались и какъ велики были эти трактаты,—ближе намъ неизвѣстно, потому что всѣ они, за исключеніемъ „Поэтики“, исчезли безслѣдно. Какъ бы то ни было, но мы можемъ лишь искренно пожалѣть обѣ этой утратѣ, потому что въ нихъ, въ этихъ ут-

раченныхъ сочиненіяхъ, мы несомнѣнно лишились множества замѣчаній ума глубокаго, наблюдательного и положительного, наиболѣе близко изъ всѣхъ подходящаго по существу, (какъ увидимъ), къ тому направленію, какое слѣдуетъ примѣнять въ изслѣдованіяхъ строго научныхъ, и результаты котораго являются наиболѣе цѣнными. Сохранившаяся для насъ „Поэтика“ Аристотеля даетъ намъ ясное представление о томъ новомъ методѣ изслѣдованія эстетическихъ вопросовъ, который введенъ былъ впервые этимъ философомъ; а та глубина и тонкость анализа, которая являются важнѣйшими достоинствами содержанія „Поэтики“, дѣлаютъ этотъ трактатъ въ глазахъ всего ученаго міра драгоценнѣйшимъ изъ всѣхъ памятниковъ древности, посвященныхъ разсмотрѣнію и решенію вопросовъ эстетики, несмотря на явную его конспективность, на очевидную необработанность формы и несовершенство его языка.

Принимая во вниманіе это громадное и неоспоримое значеніе названного трактата въ исторіи развитія эстетики, а также его существенное вліяніе на большую часть эстетическихъ теорій послѣдующихъ эпохъ вплоть до нашего времени, я считаю необходимымъ представить Вамъ по возможности полное и ясное изложеніе содержанія важнѣйшихъ частей Аристотелевой „Поэтики“, чтобы затѣмъ уже перейти къ выясненію ея внутренняго значенія.

Поэтика Аристотеля¹⁾.

Однимъ изъ первыхъ вопросовъ, на которыхъ останавливается въ своей „Поэтикѣ“ великий философъ, является вопросъ *о причинахъ и источникахъ, изъ которыхъ произошли вообще весь искусства и поэзія въ частности.* Такихъ причинъ, породившихъ искусства, имѣется двѣ: *первая заключается въ томъ, что человѣку прирождено (отъ колыбели до старости) подражать окружающимъ его дѣйствіямъ, звукамъ, явленіямъ и т. д.; вторая—въ томъ, что возсозданные подражаніемъ предметы доставляютъ удовольствіе, какъ тѣмъ*

¹⁾ На русскомъ языке имѣется переводъ Поэтики, исполненный Аппельротомъ: Аристотель. Объ искусствѣ поэзіи. Москва. 1893 г.

кто удачно воспроизводитъ ихъ, такъ и тѣмъ, кто видить или слышить такія подражательныя воспроизведенія. Самое же это удовольствіе объясняется тѣмъ, что, созерцая воспроизведеній въ искусствѣ предметъ, мы познаемъ его въ подробностяхъ, а всякое новое знаніе доставляетъ человѣку радость при его пріобрѣтеніи. И благодаря такому удовольствію естественная способность и потребность подражанія еще усиливается у художниковъ, живописцевъ, скульпторовъ, архитекторовъ, поэтовъ, музыкантовъ актеровъ и прочихъ (Поэтика, гл. IV).

Такимъ образомъ, *всѣ вообще произведенія разнообразныхъ искусствъ*,—говоритъ Аристотель,—*представляютъ собою подражательныя воспроизведенія, которыя сдѣлались различными только отъ различія или вещества, (т. е. материала воспроизводящаго), или способа творчества, или предмета воспроизведенія* (см. Поэтику гл. I, II и III). Разсматривая въ виду этого всѣ искусства прежде всего по отношенію къ различію вещества, мы видимъ, что скульптура пользуется для воспроизведенія въ пластическихъ формахъ мраморомъ, бронзой и другими металлами, камнями и т. п. материалами; живопись употребляетъ для воспроизведенія краски, изображая все на поверхностяхъ; поэзія, музыка и танцевальное искусство имѣютъ для себя вещественными признаками: поэзія—совокупность слова, гармоніи и ритма; музыка—соединеніе гармоніи съ ритмомъ въ звукахъ безъ словъ, и танцевальное искусство—только одного ритма въ движеніяхъ тѣла, служащаго материаломъ воспроизведенія въ этомъ искусствѣ. Однако, прибавляетъ Аристотель, стихотворный размѣръ, такой или иной ритмъ въ поэзіи не имѣетъ первостепенного и решающаго значенія настолько, что-бы за одинъ только стихотворный размѣръ какое-либо словесное произведеніе можно было признать произведеніемъ поэтическимъ, ибо это послѣднее, болѣе опредѣляется содержаниемъ, чѣмъ формою изложенія, такъ что одна стихотворная форма еще не дѣлаетъ произведенія поэтическимъ.—Далѣе, по отношенію къ содержанію произведеній во всѣхъ видахъ искусства различіе проистекаетъ отъ того, что художникъ представляетъ людей и ихъ дѣйствія и поступки

или лучшими, чѣмъ они суть на самомъ дѣлѣ; или худшими, чѣмъ они бываютъ; или же наконецъ такими, каковы они въ реальной дѣйствительности. Такъ напр. въ живописи Полигнотъ изображалъ людей лучшими, чѣмъ они бываютъ на самомъ дѣлѣ, т. е. показывалъ идеалы; Павзонъ напротивъ того—худшими, создавая карикатуры; Діонисій же давалъ правдивыя изображенія людей, показывая ихъ такими, какими они они дѣйствительно существуютъ. Въ поэзіи Гомеръ представлялъ идеальную жизнь, Клеофонъ—реальную, а Игемонъ и Никомахъ—карикатурную. Третье различіе происходитъ отъ способа воспроизведенія. Разсматривая въ этомъ отношеніи въ частности только произведенія поэтическія, Аристотель указываетъ, что *въ поэзіи вслѣдствіе различія въ способахъ воспроизведенія пораждаются три вида ея: 1) эпосъ, въ которомъ поэтъ разсказываетъ о различныхъ предметахъ и событияхъ, отличныхъ отъ него самого, причемъ личность поэта совершенно теряется въ разсказѣ его; 2) лирика, въ произведеніяхъ которой поэтъ вѣсъ события и явленія относить лично къ себѣ, передавая свои собственныя чувства и мысли по поводу ихъ; и 3) драма, гдѣ всѣ лица представляются дѣйствующими и какъ бы живущими передъ зрителями на сценѣ.* Самое слово *драма* произошло отъ глагола *δρᾶν* дѣйствовать, причемъ это слово дорического dialecta дало поводъ дорійцамъ приписывать себѣ изобрѣтеніе драмы вообще и *комедіи* въ частности, такъ какъ селенія, гдѣ игрались у нихъ издревле комедіи, доряне называли *комами*.

Въ дальнѣйшемъ изложеніи своей „Поэтики“ Аристотель говоритъ главнымъ образомъ только о *поэзіи драматической и эпической*, оставляя въ сторонѣ другія искусства, которымъ онъ посвятилъ въ свое время повидимому отдѣльные трактаты. И первымъ вопросомъ, который онъ здѣсь разрѣшаетъ, является вопросъ о *происхожденіи и первыхъ ступеняхъ развитія поэзіи драматической*. (см. Поэтику гл. IV).

Происхожденіе поэзіи объясняется такъ, что *въ силу свойства нашей души, по природѣ своей открытой для гармоніи и ритма, творить путемъ подражанія, уже въ пер-*

вобытныя времена люди, одаренные по преимуществу передъ другими такою способностью, начали импровизировать и тѣмъ породили поэзію. Обращаясь затѣмъ къ исторіи постепенного развитія греческой трагедіи отъ простыхъ формъ до наиболѣе сложныхъ, Аристотель указываетъ, что сначала актеръ былъ одинъ кромъ хора, Эсхилъ ввелъ второго актера и уменьшилъ значение хора, сосредоточивши дѣйствіе на главныхъ роляхъ актеровъ; у Софокла являются уже три актера и декорациі. Перемѣна произошла постепенно и въ формѣ: прежде драмы писались тетраметромъ впослѣдствіи же, когда онѣ измѣнили свой насмѣшливый, глумительный характеръ на болѣе серьезный, размѣръ измѣнился въ ямбическій, какъ наиболѣе подходящій къ обычной разговорной рѣчи. Вмѣстѣ съ тѣмъ увеличивалось постепенно и число вставныхъ эпизодовъ, расширявшихъ размѣры трагедіи.

Что касается комедіи, то по существу своему она является воспроизведеніемъ только такого порочнаго и дурного, которое возбуждаетъ смѣхъ, а не отвращеніе; смѣшнымъ же можетъ быть ошибка или безобразіе, не причиняющія никому большого вреда. (Поэтика, V). Показавши такимъ образомъ происхожденіе трагедіи и комедіи и постепенный ходъ развитія трагедіи въ исторіи, Аристотель обращается затѣмъ къ разсмотрѣнію *самаго существа и основныхъ задачъ трагедіи*.—На эту часть я обращаю особенно ваше вниманіе въ виду того, что (какъ увидимъ далѣе, вопросъ о пониманіи сущности трагедіи и задачъ ея Аристотелемъ возбуждалъ въ теченіе цѣлыхъ столѣтій разнорѣчивыя толкованія и ожесточенные споры.

По своей сущности, говорить онъ, (Поэтика гл. VI) трагедія есть воспроизведеніе какого-либо единаго события и притомъ события цѣльнаго, важнаго, полнаго и достаточно продолжительнаго.—Она есть воспроизведеніе всего этого въ словѣ, проникнутомъ элементами изящнаго, выступающими ясно во всѣхъ частяхъ; сверхъ того самое воспроизведеніе события ведется не въ разсказѣ, а въ дѣйствіи; наконецъ, воспроизведеніе это имѣстъ свое послѣднею цѣлью при помощи возбужденія въ зрителяхъ страха и состраданія даровать имъ нравственное очищеніе этихъ и другихъ страстей. Въ

виду этого трагедія должна и заключать въ себѣ всѣ части со-
отвѣтствующія указаннымъ требованиямъ: элементомъ изъи-
наго будетъ служить слово, имѣющее ритмъ, въ сопровожденіи
музыки и пѣнія; дѣйствующія лица должны имѣть свои
определенные нравы и известный образъ мыслей,—но все это
они должны выражать не только словами, но и дѣйствіями,
составляющими въ совокупности событие, которое должно
устрашить зрителя и возбудить въ его душѣ состраданіе и
благодаря потрясенію его этими чувствами, дать ему нрав-
ственное очищеніе. Отсюда въ трагедіи получаютъ суще-
ствованіе слѣдующія 6 главныхъ частей: фабула трагедіи,
нравы и мысли дѣйств. лицъ, слово (фразы дѣйствующихъ лицъ)
зрѣлище (декорации) и музыка. Изъ всѣхъ этихъ частей
главнѣйшая есть фабула, потому что трагедія есть воспро-
изведеніе не просто отдельныхъ личностей съ ихъ характерами, но самыхъ событий, жизни, счастья и несчастья героевъ
и цѣль трагедіи состоитъ въ томъ, чтобы показать известные
другими словами, цѣлью трагедіи служить воспроизведеніе
событий, которые въ своей совокупности и составляютъ
фабулу. Безъ сильного дѣйствія нѣтъ трагедіи, тогда какъ безъ
определеныхъ нравовъ онъ можетъ существовать; поэтому
и бѣднѣйшая нравами, но богатая происшествіями трагедія
будетъ имѣть большій успѣхъ, чѣмъ трагедія, пересыпан-
ная нравственными тирадами и мыслями, но безъ всякаго
дѣйствія. Наибольшую прелесть изъ всѣхъ элементовъ
имѣеть музыка; наконецъ сценическая постановка также
имѣеть значительное влияніе на зрителя, но она есть уже
дѣло не творца трагедіи, а того, кто ее поставляетъ на
сценѣ.

Составъ происшествій, входящихъ въ трагедію, долженъ
быть таковъ, чтобы въ результатѣ трагедія была воспроизве-
деніемъ дѣйствія ильного, полнаго и имѣющаго достаточную
продолжительность. Будетъ же оно таковымъ тогда, если имѣ-
етъ естественное начало, средину и конецъ въ своемъ развитіи;
въ виду этого фабула не должна начинаться и оканчиваться,
гдѣ угодно; но во всемъ должна согласоваться съ нашими
выводами, сдѣланными по законамъ существованія. Для

полученія изящнаго недостаточно имѣть всѣ свои части въ соподчиненіи, а нужна еще неслучайная продолжительность или величина. Ибо прекрасныи вобще не можетъ быть существо слишкомъ малое, такъ какъ оно было бы неяснымъ для нашихъ чувствъ, какъ воспринятое въ едва замѣтное время; но прекрасное не можетъ быть и слишкомъ большимъ, потому что нашъ взоръ не могъ бы обнять его въ цѣлости, а лишь по частямъ. Вообще, какъ предметы должны быть такой величины, какая необходима для легчайшаго воспріятія нашими глазами, такъ и фабула трагедіи должна быть настолько длинна, чтобы ее было легко удержать въ памяти. *Многие изъ составителей трагедіи ограничиваются совершающеюся дѣйствіе однѣми сутками; однако размѣры трагедіи должны болѣе всего обусловливаться не такимъ произвольнымъ срокомъ, а самою сущностью сюжета:* этотъ размѣръ будетъ достаточенъ, когда въ его предѣлахъ помѣщается столько необходимыхъ и правоподобныхъ фактovъ, сколько ихъ нужно для уясненія того, какимъ образомъ человѣкъ могъ изъ счастливаго положенія ниспасть до крайняго несчастья, или же наоборотъ изъ ничтожества подняться на высоту величія (Поэтика, гл. VII).

Задача поэта, пишущаго трагедію, разъясняеть далѣе Аристотель (Поэтика, гл. XI), состоитъ въ томъ, чтобы говорить не столько о дѣйствительно случившемся со всѣми его подробностями, сколько о томъ что могло бы случиться при известныхъ обстоятельствахъ съ известными лицами. Здѣсь Аристотель тонко проводитъ различие между историкомъ и поэтомъ. Историкъ и поэтъ различаются между собою не тѣмъ, что одинъ пишетъ прозой, а другой стихами; нѣтъ, различіе важнѣе и глубже: историкъ повѣствуетъ о дѣйствительно случившемся и при томъ какъ разъ именно такъ, какъ оно произошло на самомъ дѣлѣ; а поэтъ говоритъ о возможномъ. Отсюда поэзія оказывается болѣе глубокою, чѣмъ исторія, потому что поэзія имѣетъ дѣло съ общимъ а исторія—съ отдельнымъ, частнымъ: въ поэзіи возникаетъ общее, потому что поэтъ заставляетъ лицо извѣстнаго характера говорить и дѣйствовать соотвѣтственно этому характеру, не отступая ни въ чемъ отъ вѣроятнаго и необхо-

димаго для него; если же поэтъ и даетъ такому характеру имя конкретнаго лица, то все-таки имѣеть въ виду одно лишь общее, типическое. Въ исторіи, напротивъ всегда является частное, потому что говоря объ извѣстной личности, авторъ (историкъ) передаетъ только то, что дѣйствительно случилось съ этимъ лицомъ, даже случайное, несущественное. Тѣмъ не менѣе *въ трагедіи чаше всего придерживаются историческихъ именъ*, для того чтобы придать большие вѣроятія событиямъ изъ жизни, такъ какъ то, что занесено въ исторію, случилось и, слѣдовательно, возможно. Но и придерживаясь историческихъ именъ и даже вообще исторіи, авторъ хорошей трагедіи долженъ быть названъ поэтомъ (творцомъ) за изобрѣтеніе самой фабулы, которую онъ создаетъ, выбирая изъ дѣйствительно случившагося только то, что согласно съ законами вѣроятнаго и необходимаго. Вотъ почему худшія изъ трагедій суть тѣ, въ которыхъ фабулы—эпизодическія, т. е. такія, гдѣ события смѣняются какъ бы чисто случайно, а не по требованіямъ законовъ вѣроятнаго и необходимаго. Онѣ хуже всѣхъ потому, что черезъ такую случайную смѣну нарушается естественный ходъ событий, а между тѣмъ *естественнѣсть и строгая послѣдовательность событий* *必需на для всякой трагедіи*, какъ имѣющей конечною цѣлью своей—породить страхъ и состраданіе, которые возможны только при правдоподобномъ или необходимомъ теченіи событий и не имѣютъ силы при случайностяхъ.

Фабулы, избираемыя для трагедій говорилъ далѣе Аристотель (глава X) бываютъ *простыя и сложныя*, какъ и человѣческія дѣянія: *простыя* суть тѣ, которые представляютъ дѣяніе, совершающееся безъ перерыва и не имѣющее въ своемъ развитіи *ни перипетіи, ни узнанія*; *сложныя* же заключать въ себѣ и *узнаніе, и перипетію* отдельно или вмѣстѣ, причемъ *узнаніе и перипетія должны вытекать изъ самой фабулы путемъ необходимости и вѣроятія*. Что же такое *представляетъ собою эта перипетія и узнанія?*..—*Перипетія возникаетъ, когда события внезапно принимаютъ теченіе, противоположное предыдущему, и этотъ переворотъ долженъ возникнуть правдоподобно или по необходимости,*

какъ напр. въ Эдипѣ. Узнаніе есть переходъ отъ невѣдѣнія окружающихъ обстоятельствъ къ ихъ полному уразумѣнію. Чаще всего узнаніе, порождая любовь или ненависть, производятъ собою въ то же время и перипетію, вмѣстѣ съ которою оно является причиной страха и состраданія. Кромѣ узнанія и перипетіи для возбужденія трагического служатъ еще страданія дѣйствующаго лица, нерѣдко кончающіяся его погибелью.—(Поэтика, гл. XI).

Съ внѣшней стороны трагедія раздѣляется на прологъ, эпизодъ, экзодъ и хоральную часть, распадающуюся на пѣніе при шествіи хора и пѣніе на мѣстѣ. Прологомъ называемыя начало трагедіи до появленія хора; эпизодомъ—часть трагедіи между первымъ и вторымъ появленіемъ хора; экзодъ есть финалъ трагедіи, гдѣ хоръ уже не является; пѣніе при шествіи составляютъ первыя слова хора, а конецъ (безъ анапестовъ и хореевъ) поется уже на мѣстѣ; кромѣ того бываетъ въ трагедіи коммосъ, т. е. общее, надрывающее душу, пѣніе совмѣстно и хора, и актеровъ, но оно имѣетъ мѣсто не во всѣхъ трагедіяхъ. (Поэтика гл. XII).

При составленіи фабулы трагедіи поэты должны однѣхъ вещей избѣгать, а къ другимъ стремиться. Они не должны въ своихъ трагедіяхъ, замѣчаетъ Аристотель (глава XIII) низвергать добродѣтельныхъ людей въ бездну несчастья, потому что это возбуждало бы не просто страхъ и состраданіе, а возмущеніе несправедливостью судьбы и уныніе. Они не должны и наоборотъ порокъ поднимать на верхъ счастья, такъ какъ это совсѣмъ было бы противно духу трагедіи и не возбуждало бы ни страха, ни состраданія, а только досаду и негодованіе. Наконецъ, не слѣдуетъ и злодѣя или въ высшей степени порочнаго человѣка представлять повергнутымъ изъ счастья въ несчастье, потому что онъ несъ бы только заслуженную кару, не возбуждая нашего состраданія... *Должно выбирать для трагедіи только среднее, а именно, нужно изображать такихъ героеvъ, которые, не отличаясь высочайшею добродѣтелью, дѣлались бы несчастными не вслѣдствіе своей злости или порочности, а просто вслѣдствіе какой-нибудь роковой ошибки, будучи раньше въ общемъ почетъ и въ ласкахъ у судьбы.* Такимъ былъ

напр., Эдипъ, у которого переходъ отъ счастья къ несчастью былъ результатомъ только большой ошибки. *Въ трагедіяхъ наилучшее дѣйствие для зрителей имѣетъ переходъ въ судьбѣ героевъ отъ счастья къ несчастью, а не обратный, гдѣ герой поднимается изъ несчастнаго положенія къ счастливому, или такая двойная связка, гдѣ добродѣтель награждается, а порокъ наказывается.* У Эврипида тѣмъ-то трагедіи и эффектны по преимуществу, что связка въ нихъ весьма печальна, несчастна. Кроме вышеуказанного при составлении фабулы нужно всегда имѣть въ виду, чтобы страшное и трогательное были произведены не одними вѣшними театральными эффектами, но вытекали бы изъ самой сущности пьесы; т. е. фабула должна быть составлена такъ, чтобы уже при одномъ ея чтеніи даже безъ игры актеровъ она возбуждала страхъ и состраданіе, которые вытекали бы изъ своего источника. *Какое же стеченіе обстоятельствъ дѣлаетъ поступокъ страшнымъ и какое возбуждаетъ къ нему состраданіе?* Аристотель (въ XIV главѣ): Дѣлаетъ рядъ вѣрныхъ наблюдений по этому вопросу. Если врагъ убиваетъ врага, то самъ преступникъ не заслуживаетъ нашего состраданія, а только его жертва; почти то же самое бываетъ, если действующія лица чужды по духу и тѣлу другъ къ другу; напротивъ, если убиваютъ или вообще совершаютъ другъ противъ друга преступленіе лица, связанныя между собою узами родства или любви; тогда такое преступленіе производитъ потрясающее впечатлѣніе и возбуждаетъ страхъ и состраданіе не только къ жертвѣ преступленія, но и къ самому преступнику. Этого-то и должно искать для трагедіи и такія именно преступленія мы видимъ въ трагедіяхъ: Эдипъ, Медея и др.

Что касается *условий*, при которыхъ можетъ быть совершенно преступленіе, то ихъ можно раздѣлить на два разряда: въ однихъ случаяхъ оно совершается *при полномъ знаніи обстоятельства*, такъ напр., Медея сознательно убиваетъ своихъ дѣтей изъ ревности и мести къ Язону, бросившему ее; въ другихъ случаяхъ преступленіе совершается *по невѣдѣнію* и уже впослѣдствіи раскрывается его преступное значеніе, какъ напр., въ Эдипѣ. Бываютъ, наконецъ

случаи, когда кто нибудь по незнанию готовится совершить преступление, но передъ совершениемъ вдругъ узнаетъ свою жертву, напр. въ Ифигеніи... Лучшій изъ всѣхъ способовъ по своему потрясающему дѣйствію на зрителя оказывается тотъ, гдѣ преступление дѣлается по незнанию, и только впослѣдствіи неожиданно раскрывается для самаго преступника и окружающихъ его. Поэты, узнавши по опыту эти способы разработки фабулъ, употребляютъ ихъ наиболѣе часто и съ наибольшимъ успѣхомъ.

Въ изображеніи характеровъ, говоритъ Аристотель (глава XVI) должно искать всегда необходимаго или правдоподобнаго; кроме того характеры должны быть выдержаны послѣдовательно и безъ противорѣчія и должны быть благородны... Развязка пьесы должна вытекать изъ самой пьесы, а не являться результатомъ неожиданного вмѣшательства какого-либо высшаго существа, помошью которого можно пользоваться только для разъясненія событий предшествовавшихъ пьесѣ или существующихъ наступить въ будущемъ. Въ ходѣ пьесы, вообще не должно быть ничего, что противорѣчило бы здравому смыслу. Наконецъ, такъ какъ трагедія есть воспроизведеніе людей сильнѣйшихъ, чѣмъ обыкновенные смертные, то и воспроизводимые въ ней характеры должны быть выражены наиболѣе яркие, какъ наиболѣе типичныя выраженія такихъ или иныхъ своеобразныхъ особенностей для того, чтобы такимъ путемъ тѣмъ легче было понять изображаемые въ трагедіи характерные типы.

Всякий поэтъ, пишущій трагедіи или комедіи долженъ, при составленіи фабулы и обработкѣ языка, какъ можно чаще становиться на мысль зрителя: черезъ это поэтъ, какъ бы присутствуя самъ при представлениі его трагедіи, легко можетъ видѣть и ея достоинства, и недостатки, имѣя возможность избавить пьесу отъ этихъ послѣднихъ. Кромѣ того поэтъ долженъ переноситься мыслью и чувствомъ и въ положенія действующихъ лицъ для того, чтобы сообщить имъ большую силу и искренность, потому что природа устроила насъ такимъ образомъ, что мы съ своимъ сочувствіемъ становимся на сторону только человѣка, говорящаго

со страстью и действующаго по убежденію. Вотъ почему поэзія есть по преимуществу сфера генія, способнаго къ творчеству, или энтузиаста, способнаго къ экзальтациі *). (Поэтика глава XVII).

Эпическая поэзія.

Покончивши съ трагедіей, Аристотель переходитъ за-тѣмъ къ рассмотрѣнію произведеній поэзіи эпической. Эпическая поэзія, говоритъ онъ (Поэтика гл. XXIII—XXIV) подобно трагедіи должна имѣть *фабулу, полную жизни и движения;* она должна сверхъ того концентрироваться около единаго дѣйствія и притомъ дѣйствія цѣльного и закончен-наго, которое имѣло бы свое естественное начало, средину и конецъ, сообщая читателю такою цѣльностью особенное удовольствіе, которое доставляется знакомствомъ вообще со всякою жизнью, всецѣло направленною на осуществленіе единой цѣли. *Эпосъ не долженъ быть похожимъ на исторію,* которая перечисляетъ самыя различные события, случив-шіяся съ однимъ или нѣсколькими лицами и не стоящія между собою въ тѣсной внутренней связи; но онъ долженъ раскрывать какое либо *единое дѣйствіе*, хотя бы въ немъ и участвовали многіе. Гомеръ въ своихъ великихъ произведе-ніяхъ, Иліадѣ и Одиссеѣ, поступилъ именно такъ, какъ и слѣдовало поступить истинному поэту: въ его планѣ не входило представить всю Троянскую войну, хотя она имѣла и начало, и конецъ, и середину, потому-что такое ея описание было бы необозримс; но онъ выбралъ изъ нея для первой, какъ и для второй своей поэмы, единое дѣй-ствіе (гнѣвъ Ахиллеса для Иліады, и возвращеніе Одис-сея для Одиссеи), съ его подробностями и описалъ его внося въ свои поэмы разнообразіе различными эпизодами. *Виды эпоса таковы же, какъ и трагедіи:* онъ бываетъ

*.) Мы опускаемъ здѣсь дальнѣйшія главы XVIII—XXII, трактующія о словесномъ выраженіи въ области мыслей ибо, какъ замѣчаетъ самъ Аристотель, это относится не къ эстетикѣ, а къ реторицѣ.

и простымъ (безъ узнаній и перипетій), и съ трагическими конфликтами; бываетъ и нравоописательнымъ, и патетическимъ: напр. Иліада—поэма простая и патетическая; Одиссея—поэма нравоописательная и съ трагическими конфликтами. Составные части эпоса тѣ же, что и въ трагедіи; нѣтъ только сценировки и хоровъ; кромѣ того подобно трагедіи большей части эпическихъ произведеній нужны перипетіи и узнанія, а также страданія героевъ; а по внѣшности,—по языку, эпосъ долженъ подобно трагедіи отличаться также изящной отделькой. Таково его сходство съ трагедіей. Отличается же эпосъ отъ трагедіи по своему объему и по стихотворному метру; а именно: эпосъ отличается чрезвычайной растяжимостью, ибо, если въ трагедіи нельзя представлять одновременно совершающимися нѣсколько разнородныхъ событий во всей полнотѣ, а только тѣ части ихъ, которые принимаетъ сцена и которые выполняются игрою актеровъ,—то эпосъ, какъ разсказъ о событияхъ, напротивъ можетъ представить намъ сразу множество событий, совершающихся одновременно въ различныхъ мѣстахъ¹⁾. Что касается метра, то въ эпосѣ употребляется исключительно метръ героический (гекзаметръ), отличающійся передъ всѣми другими своею величественностью и полнотою, и способный вбирать въ себя слова и выраженія наиболѣе изысканныя, сообщающія языку 'особенное изящество.—Въ эпосѣ поэтъ долженъ меныше всего говорить о самомъ себѣ; такъ именно и дѣлаетъ Гомеръ, хотя многіе другие поэты чаще говорятъ о себѣ, чѣмъ о событияхъ. Далѣе, какъ трагедія не можетъ обходиться безъ удивительного, такъ и эпосъ; причемъ въ эпосѣ это удивительное можно доводить до высшаго предѣла, такъ какъ мы не видимъ дѣйствующихъ лицъ, а только представляемъ ихъ себѣ въ фантазіи. Нужно же это удивительное потому, что оно доставляетъ намъ удовольствіе. Впрочемъ при выборѣ изображаемыхъ событий даже не случившееся, но правдоподоб-

¹⁾ Кромѣ того каждый изъ позднѣйшихъ рапсодовъ имѣть возможность прибавить отъ себя новые сцены не уничтожая цѣльности поэмы.

ное, нужно предпочтать даже случившемуся, но не правдо-подобному; а все нелогичное не должно вовсе иметь места въ эпосѣ, какъ и въ трагедіи, за исключенiemъ тѣхъ рѣдкихъ случаевъ, когда пьеса отъ какого-либо парадоксальнаго допущенія на самомъ дѣлѣ только выигрываетъ въ смыслѣ.

Критика по отношению ко всѣмъ вообще произведениямъ поэзіи возбуждаетъ нѣсколько вопросовъ. Во первыхъ, по отношению къ содержанію. Всякій поэтъ, какъ и художникъ, можетъ воспроизводить, какъ было указано раньше, только одно изъ слѣдующихъ трехъ: или реальную жизнь, или религіозныя вѣрованія съ миѳами и народными повѣрьями, или, наконецъ, идеалы, облекая ихъ въ соотвѣтствующія изящныя формы. Поэтому, если критики будутъ ставить поэту въ упрекъ, что онъ, напримѣръ, изображаетъ идеальные характеры, онъ можетъ сказать вмѣстѣ съ Софокломъ, что онъ рисуетъ героевъ такими, какими они должны быть; если наоборотъ будутъ упрекать его за отсутствіе всякой идеализаціи въ изображеніи, то поэтъ можетъ сказать, что онъ подобно Эврипиду рисуетъ людей такими, каковы они суть въ дѣйствительности; наконецъ, если поэта критикуютъ за то, что онъ не далъ въ своемъ изображеніи ни реальной, ни идеальной жизни, передавая только изукрашенныя народныя преданія, то онъ можетъ оправдываться желаніемъ—остаться вѣрнымъ миѳологіи. Во вторыхъ—ошибки дѣйствительныя, за которые критика можетъ упрекать поэтовъ, бываютъ двухъ родовъ: однѣ—будутъ ошибки самого поэта, возникающія благодаря его собственному неизнанію того, что онъ берется изобразить въ своемъ произведеніи, другія—суть ошибки наносныя и случайныя, имѣющія место тогда, когда художникъ или поэтъ дѣлаетъ ошибку, повторяя только мнѣніе какой-либо другой науки (напр., медицины и т. д.). Ошибки могутъ быть извинительны, если онѣ вводятся умышленно, чтобы достигнуть какой либо опредѣленной цѣли въ произведеніи искусства. Въ третьихъ, для оцѣнки нравственного значенія извѣстнаго поступка или выраженія критика должна обращать вниманіе не только на самый поступокъ или выраженіе, но и на

тотъ объектъ, на который они направлены, а также причину и особенно цѣль ихъ, такъ какъ иногда дурной поступокъ, если онъ направленъ къ достижению большой нравственной пользы, перестаетъ быть дурнымъ. Но критика должна будетъ поставить въ вину поэту, если онъ станетъ выводить на сцену безнравственное, не мотивируя его такою высокою цѣлью. Наконецъ, относительно *невозможного и противорѣчиваго* критика должна имѣть въ виду слѣдующее: то невозможное, которое на видъ будетъ правдоподобно и убѣдить въ томъ, въ чемъ желаетъ убѣдить поэтъ, нужно считать болѣе желательнымъ въ произведеніи, чѣмъ возможное, но неправдоподобное. Что касается противорѣчиваго, то оцѣнивать его и узнавать можно простымъ здравымъ смысломъ, который всегда осуждаетъ противорѣчивое и нелогичное, если только оно не имѣло въ виду достижения желаемаго поэтомъ эффекта.

Послѣднимъ вопросомъ, который рѣшаетъ Аристотель въ своей „*Поэтике*“, является вопросъ о томъ, *какому виду поэзіи должно отдать предпочтение: эпосу или драмѣ?*— Защитники эпоса, говоритъ Аристотель,—разсуждаютъ такимъ образомъ: такъ какъ образованная публика отдаетъ предпочтеніе исполненію изящному, безъ преувеличенія и грубости, то понятно, что искусство, воспроизводящее,—какъ драма,—все видимое до осязательности, можетъ показаться подавленнымъ подъ тяжестью своей ноши и не понравиться наиболѣе развитому вкусу, тѣмъ болѣе, что актеры часто многое прибавляютъ отъ себя, и притомъ прибавляютъ чаще всего неудачно, нерѣдко даже фиглярничаютъ, какъ балаганные плясуны; поэтому драма, говорятъ они, вообще предназначена для черни, тогда какъ эпосъ, нуждающійся въ мимикѣ,—для образованной публики. Можно однако этимъ защитникамъ—эпоса замѣчаетъ Аристотель (*Поэтика*, гл. XXIV).—возразить слѣдующее. Во 1-хъ, критика ихъ направлена не противъ поэтическаго творчества, а противъ игры актеровъ; но вѣдь не умѣлая излишняя жестикуляція можетъ быть и у рапсода, передающаго слушателямъ эпической произведенія, и наоборотъ не быть у хорошаго актера. Во 2-хъ, хорошая трагедія производитъ на читателя свое дѣйствіе

даже безъ игры актеровъ при одномъ ея чтеніи. Кромѣ того трагедія имѣетъ передъ эпосомъ и другія преимущества: она имѣетъ сверхъ того, что имѣетъ эпосъ, еще музыку и сценическую постановку, которыхъ нѣтъ въ эпосѣ и которые доставляютъ зрителямъ высшее наслажденіе. Въ ней существуютъ сверхъ того еще узнанія и трагическія потрясающія перипетіи, которые придаютъ ей особенную живость, будучи сосредоточены на короткомъ пространствѣ и времени. Ибо эпическія произведенія, даже лучшія, не представляютъ никогда такого тѣснаго единства, какъ трагедія; они не такъ сосредоточены около одного центра, какъ трагедія, и потому не могутъ произвести такого сильнаго убѣждающаго и очищающаго дѣйствія на человѣка, которое производить трагедія. Вотъ почему *предпочтение по всей справедливости, заключаетъ Аристотель, нужно отдать трагедіи, а не эпосу.*

Таково содержаніе этого драгоценнаго трактата Аристотеля, важнѣйшаго изъ всѣхъ дошедшихъ до насъ трактатовъ классической древности, относящихся къ теоріи искусства вообще и теоріи поэзіи по преимуществу.

* * *

Историческія судьбы „Поэтики“ Аристотеля.— Оцѣнка „Поэтики“ Аристотеля въ отношеніи метода изслѣдованія и по содержанію.— Разсмотрѣніе важнѣйшихъ частныхъ вопросовъ, затронутыхъ въ „Поэтике“: о трагическомъ очищении, о трехъ единствахъ и др..

Поэтика Аристотеля имѣетъ за собою долгое и блестящее существованіе втеченіе больше двухъ тысячъ лѣтъ. *Исторія этого существованія была сплошною исторіей ея необыкновенныхъ успеховъ*, ея духовнаго могущества, захватывавшаго постепенно все болѣе и болѣе широкій кругъ народовъ. Одинъ народъ за другимъ, въ лицѣ своихъ лучшихъ представителей, добровольно подчинялся его воззрѣніямъ на поэзію и художественное творчество и старался усвоить себѣ ясныя, твердыя правила, данные великимъ

философомъ, чтобы тамъ, гдѣ возможно, перенести эти правила въ сферу практической дѣятельности, въ область реального поэтическаго творчества. Теоретическое изученіе ея, начавшись съ самаго момента появленія, идетъ впослѣдствіи втеченіе цѣлаго ряда вѣковъ вплоть до настоящаго времени.

Уже Гораций въ своемъ извѣстномъ произведеніи: *de arte poëtica*, „какъ будетъ показано ниже, въ главѣ о Горации, облекаетъ важнѣйшія положенія Аристотелевої „Поэтики“ въ прекрасную стихотворную форму, и это блестящее у него возложеніе глубокихъ мыслей великаго философа особенно много содѣйствовало, широкому распространенію ихъ въ римскомъ обществѣ, а затѣмъ въ средневѣковой христіанской Европѣ. Въ V столѣтіи „Поэтика“ Аристотеля была уже переведена на сирійскій языкъ, потому что въ эту эпоху, именно, сирійцы были представителями высшей образованности. Вскорѣ затѣмъ появились ея переводы на персидскій языкъ и арабскій; трактатъ комментировался учеными арабскими и другими мыслителями, а въ самыхъ идеяхъ, высказанныхъ въ Аристотелевої „Поэтике“ усмотрѣно было такое полное и существенное соотвѣтствіе съ дѣйствительнымъ характеромъ и положеніемъ арабской поэзіи, что въ нѣкоторыхъ ея изданіяхъ сочли возможнымъ, составивши теорію его по существу неизмѣнной во всей ея цѣлости, замѣнить большую часть примѣровъ, заимствованныхъ Аристотелемъ изъ поэзіи греческой другими примѣрами изъ литературы арабской, видя въ этой послѣдней воплощеніи тѣхъ же идей, тѣхъ же практическихъ положеній, какія Аристотелю давало изученіе созданій греческаго генія. Съ тѣхъ поръ проходятъ вѣка и „Поэтика“ Аристотеля, переведенная почти на всѣ новые языки культурныхъ народовъ, приобрѣтаетъ у всѣхъ право несомнѣнного гражданства, а ея правила становятся какъ бы кодексомъ эстетическихъ законовъ для всѣхъ, кто занимался изученіемъ теоріи поэзіи.

Гдѣ же причина такого постоянного блестящаго и прочнаго успѣха этого произведенія, пережившаго болѣе двадцати столѣтій, невредимо прошедшаго глубокую бездну

средневѣковаго невѣжества, и вмѣсто забвенія, создавшаго себѣ такую громкую славу и такое громадное число послѣдователей? Если многочисленныя, блестящія по изложенію и, казалось, глубокія по содержанію эстетическія системы другихъ философовъ древняго и новаго міра не рѣдко рушились уже въ ближайшее время послѣ своего появленія, сохрания значеніе лишь въ немногихъ своихъ положеніяхъ,— почему простая, необработанная по формѣ „*Поэтика*“ Аристотеля, представляющая собою скорѣе конспектъ, чѣмъ связную и полную систему, умѣла побѣдить въ борьбѣ съ виками и постоянно мињавшимися человѣческими мнѣніями и такъ всесильно, такъ полно войти даже въ лучшія эстетическія теоріи новаго времени?.. Потому, отвѣтимъ мы, что отысканъ былъ тотъ правильный путь, по которому должно направляться всякое эстетическое изслѣдованіе; потому, что найдена была та настоящая исходная точка, съ которой должны смотрѣть на предметъ всѣ, кто желаетъ достигнуть устойчивыхъ, положительныхъ результатовъ изслѣдованія. И этотъ путь, по которому впервые совершенно сознательношелъ Аристотель, есть путь индуктивнаго опытнаго изслѣдованія.—Чтобы сдѣлать какой либо опредѣленный выводъ, который могъ бы найти себѣ мѣсто въ его эстетической теоріи, Аристотель внимательно изучаетъ уже существующія въ дѣйствительности произведенія поэзіи греческаго народа,—признаваемыя лучшими знатоками того времени за прекраснѣйшія по формѣ и содержанію. Онъ читаетъ самъ и смотритъ въ игрѣ лучшихъ актеровъ на сценѣ геніальныя произведенія греческой драмы; внимательно наблюдаетъ ихъ дѣйствіе на себѣ самомъ и другихъ, и затѣмъ уже, только послѣ тщательныхъ и долгихъ наблюдений,—изучивши все, что было создано лучшаго къ тому времени въ области поэзіи, решается, наконецъ, дѣлать выводы о сущности ея, о задачахъ и процессахъ поэтическаго творчества, и т. д. Дальше того, что даетъ ему изученіе самой художественной практики своего и прошедшаго времени, онъ не идетъ:—оставаясь всегда въ тѣсныхъ границахъ наблюдения и строгаго опыта онъ никогда не уходитъ на шаткую почву различныхъ гадательныхъ соображеній.

Въ этомъ—разгадка его величія; въ этомъ—причина неувядаемаго значенія его эстетической теоріи... Каковы же были *принципіальныя основы Аристотелевої эстетики?* Каково было вмѣсто съ этимъ ея значеніе для своего времени?.. Въ сравненіи съ воззрѣніями Платона въ ученіи Аристотеля мы видимъ явный прогрессъ. Расходясь со своимъ великимъ учителемъ въ самомъ существенномъ, Аристотель прежде всего рѣшительно отвергаетъ то внѣ-мірное бытіе божественныхъ вѣчныхъ идей, которое Платонъ полагаетъ въ основу всего существующаго въ природѣ, Аристотель переносить ихъ внутрь самыхъ вещей, и эти идеи становятся у него какъ бы совокупностью существенныхъ и прирожденныхъ свойствъ предмета. Съ этимъ вмѣстѣ у Аристотеля вводится и новое, чисто эмпирическое начало изслѣдованія, потому что, *если идеи находятся внутри самихъ вещей, составляя пребывающую въ нихъ сущность, то для познанія ихъ необходимо и изучать эти самыя вещи при помощи непосредственныхъ наблюдений и опыта,* а не ждать случайного момента вдохновенного созерцанія ихъ.—Дальнѣйшее существенное различіе между Платономъ и Аристотелемъ находится въ тѣсной связи съ этимъ различіемъ въ самыхъ основахъ и становится особенно яснымъ въ воззрѣніи на *самыя причины художественного творчества и задачи его.* Въ системѣ Платона, какъ было показано вамъ въ свое время объясненіе самыхъ *причинъ художественного творчества* было найдено чисто *метафизическое:* сама по себѣ формообразующая сила идей является будто бы художнику въ его вдохновенномъ созерцаніи міра идей уже готовые ясные образы, высокіе художественные идеалы. Мысль Платона о томъ, что *искусство обязано своимъ происхожденiemъ подражанію человѣка окружющей природѣ,* мысль, заимствованная Платономъ у своего учителя, Сократа, эта мысль, высказанная философомъ въ его „Государствѣ“, не стоитъ какъ мы видѣли, ни въ какой связи со всей его метафизической системой. Аристотель воспользовался ею наилучшимъ образомъ и, положивши ее въ основу своей эстетической теоріи, сумѣлъ сдѣлать изъ нея, при помощи примѣненнаго имъ метода, цѣлый рядъ въ высшей степени цѣнныхъ и

интересныхъ выводовъ. Отыскивая общія причины художественной творческой дѣятельности, онъ умышленно избѣгаетъ чистаго умозрѣнія, обращаясь непосредственно къ помощи наблюденій и опыта, и это приводить его къ тѣмъ положительнымъ выводамъ, поражающимъ насъ глубиною и тонкостью своего анализа, которые мы видѣли въ его „Поэтике“.—Съ самыхъ первыхъ лѣтъ своей жизни, (показывали ему эти наблюденія),—человѣкъ старается подражать всему, что онъ слышитъ и видитъ,—сначала дѣйствіямъ и звукамъ, потомъ предметамъ, причемъ пытается вторично воспроизвести наиболѣе интересное изъ всего, что на его глазахъ совершалось въ средѣ, его окружающей; человѣкъ стало быть, по существу своему оказывается животнымъ, любящимъ подражаніе и всегда стремящимся къ нему. Отсюда прямо слѣдовало, что и причины, порождающія творчество художника, должны на самомъ дѣлѣ быть *причинами вполнѣ естественными*: не созерцаніе идей, о которыхъ говорятъ метафизики, но *природная склонность человѣка къ подражанію*,—склонность несомнѣнная и доказываемая ежедневнымъ опытомъ,—заставляетъ человѣка творить, являемъя внутренней побуждающей къ этому силой...

И подчиняясь этой потребности, художникъ чаще всего подражаетъ отдельнымъ предметамъ и лицамъ или простейшимъ дѣйствіямъ, возсоздавая ихъ въ своихъ произведеніяхъ (такъ рождаются различные виды реалистического искусства, смотря по тому, какимъ способомъ и въ какихъ материалахъ мы подражаемъ: въ словѣ, дѣйствіяхъ, вещественномъ материалѣ и т. д.), а затѣмъ *научается подражательно воспроизводить и болѣе общее*. Лучшимъ изъ всѣхъ видовъ творчества, конечно, является тотъ, гдѣ художникъ подражаетъ отнюдь не всему, что случайно возникаетъ въ томъ или другомъ индивидуумѣ, но лишь видовому или родовому, типичному, именно тому, что характерно для многихъ подобныхъ предметовъ или дѣйствій и что встрѣчается часто. Вотъ почему, говоря о содержаніи, которое должно быть избираемо для лучшихъ произведеній поэзіи, Аристотель настойчиво требуетъ, чтобы всѣ изображаемыя въ нихъ события непремѣнно имѣли характеръ *правдоподобія*,

достигая его подражаніемъ именно типичнымъ лицамъ со столь-же типичными дѣйствіями, чтобы часто встрѣчая ихъ въ жизни, никто не усомнілся въ самой возможности существованія ихъ.

Такое-же различіе во взглядахъ двухъ философовъ, какое только что мы видѣли по отношенію къ указаннымъ выше вопросамъ, имѣло мѣсто и въ дальнѣйшемъ истолкованіи конечныхъ цѣлей творчества въ связи съ его источникомъ. Для чего создаются и должны создаваться всѣ эти многочисленныя произведенія искусства, о постоянномъ пополненіи которыхъ такъ заботится человѣчество?..—Цѣль этихъ произведеній искусства, говорилъ намъ раньше Платонъ,— заключается въ болѣе или менѣе совершенномъ раскрытии въ нихъ того существа вѣчныхъ идей, которое доставляется человѣку созерцаніемъ вѣчныхъ идей въ моменты творческаго одушевленія у художниковъ, отчего такія созданія искусства и дѣлаются болѣе близкими по своему выражению къ самымъ идеямъ, чѣмъ даже произведенія самой природы. Таково объясненіе великаго метафизика, въ которомъ конечная цѣль всякая творчества,—эстетическое наслажденіе,—замѣняется чѣмъ то абстрактнымъ, надуманнымъ, мало доступнымъ для пониманія обыкновенныхъ людей, не стоявшихъ близко къ метафизической философіи.

Аристотель смотрѣлъ на дѣло иначе. Художественные произведенія,—думаетъ онъ,— возбуждаютъ въ человѣка прежде всего естественное чувство искренняго удовольствія, но удовольствіе это не абстрактное, а чисто эмоціонное, возникающее само собою всякой разъ, когда удовлетворяется у человѣка какая либо склонность, вложенная въ него самой природой.—Въ данномъ же случаѣ удовлетворяется естественная прирожденная наклонность человѣка—съ одной стороны, у художника — склонность воссоздавать путемъ подражанія все видѣнное имъ и слышанное; съ другой стороны у зрителя—учиться,—познавать сущность вещей по ихъ существеннымъ признакамъ. Ибо художественные произведенія указываютъ именно эти признаки и мы, зрители и слушатели, радуемся, когда видимъ подражательное воспроизведеніе ихъ въ искусствѣ. (Поэтика, гл. VI). Кромѣ того,

въ задачи художественной творческой дѣятельности входитъ, по мнѣнію Аристотеля, и доставленіе пользы, и цѣль эта несомнѣнно достигается искусствомъ, потому что всякий разъ, когда человѣкъ по произведеніямъ искусства узнаетъ новые вещи, ихъ роды и виды, онъ получаетъ при этомъ не только удовольствіе, которое порождается удовлетвореніемъ его жажды познанія, но и непосредственную для себя пользу, потому что запасъ его свѣдѣній увеличивается всякий разъ новыми знаніями, доставляемыми ему искусствомъ. Таковы тѣ общія основанія эстетической теоріи Аристотеля, изъ которыхъ ясно для Васъ, какое значеніе имѣла она для древняго міра.

Мы обратимся теперь къ важнѣйшимъ изъ частныхъ вопросовъ, разрѣшенныхъ Аристотелемъ въ „Поэтике“, и прежде всего къ вопросу о тѣхъ трехъ единствахъ: дѣйствія, мѣста и времени, защиту которыхъ такъ часто можно приписывали Аристотелю и которые были положены въ основаніе, такъ называемой, ложноклассической драмы.

Въ своей теоріи поэзіи,—говорили проповѣдники драмы ложно-классического направленія,—Аристотель будто бы безусловно требовалъ, чтобы во-первыхъ вся трагедія была развитиемъ всегда единой какой-либо страсти, которая сообщаетъ единство дѣйствію; во-вторыхъ, самое дѣйствіе всей трагедіи должно было совершаться цѣликомъ непремѣнно въ одномъ какомъ-либо мѣстѣ, и въ третьихъ оно должно было совершаться обязательно въ теченіи единыхъ сутокъ. Таковы эти три единства, которые ради священного уваженія къ авторитету Аристотеля примѣнялись во всей строгости къ произведеніямъ ложноклассической драмы и породили въ ней много нелѣпаго, напыщенаго и уродливаго, и все это вслѣдствіе невѣрнаго пониманія разумныхъ требованій великаго философа.

Посмотримъ, что же именно говоритъ Аристотель въ дѣйствительности...?—„Трагедія,—утверждаетъ онъ,—есть воспроизведеніе дѣйствія цѣльнаго, полнаго, имѣющаго достаточную продолжительность. Подобно тому, какъ во всѣхъ остальныхъ искусствахъ всякое произведеніе есть возсозданіе единаго сюжета, такъ точно и фабула трагедіи должна

быть воспроизведеніемъ единаго дѣйствія и притомъ еще цѣльнаго. Это значитъ, что всѣ его части, состоящія сами изъ отдѣльныхъ происшествій, должны быть между собою такъ прочно спаяны, что съ перемѣщеніемъ или уничтоженіемъ одной изъ нихъ разрывалось бы и самое цѣлое".... (Поэтика глава VIII). Такимъ, образомъ, Аристотель дѣйствительно требуетъ для драмы *единства сюжета или дѣйствія* и ничего болѣе и, выставляя такое требованіе, какъ общее для всѣхъ драматическихъ произведеній, онъ держится на почвѣ фактовъ, ибо правило это выводить изъ разсмотрѣнія прекраснѣйшихъ произведеній греческой поэзіи. Во всѣхъ этихъ произведеніяхъ, и въ самомъ дѣлѣ, соблюдалось единство сюжета или дѣйствія, производившее впечатлѣніе цѣльности и неразрывности всѣхъ частей трагедіи; но это единство достигалось не выставленіемъ жизни какого-либо *одного героя трагедіи со всѣми ея случайностями*, и не изображеніемъ единой какой-либо страсти или порока, объединяющаго всѣ его дѣйствія, (какъ это дѣлали нерѣдко плохіе авторы и древняго, и новаго времени), но лишь *такимъ изображеніемъ жизни, где даже при существовании несколькиихъ героевъ вся дѣйствія ихъ нерезрывно переплетены другъ съ другомъ, и где вся отдѣльная происшествія спаяны между собою самою тѣсною внутреннею связью, вытекая одно изъ другого.* (см. VIII гл.). Затѣмъ относительно единства времени. „Соразмѣрять пьесу со временемъ, которое можетъ быть ей удалено на сценическихъ состязаніяхъ,—замѣчаетъ Аристотель, — не есть вовсе дѣло искусства: размѣръ каждой пьесы долженъ всегда вытекать изъ сущности самаго сюжета, и если рамки ея могутъ быть безъ вреда для ясности пониманія расширены, то такое расширение предѣловъ драмы во времени имѣеть даже преимущество передъ короткими пьесами.. Вообще же для времени правило здѣсь таково: *размѣры пьесы по времени будутъ достаточны, когда въ ея предѣлахъ можетъ помѣститься столько необходимыхъ и вѣроятныхъ событий, сколько ихъ нужно для выясненія того, какъ человѣкъ съ высоты счастья могъ ниспасть до крайняго несчастья или изъ бѣдствія подняться на высоту величія*“ (Поэтика VII гл.).—Итакъ устанавливая правило для промежутка вре-

мени, потребного для пьесы, авторъ „Поэтики“ не только не дѣлаетъ обязанностью поэта заключать его въ тѣсные предѣлы единаго дня, какъ это утверждали лжетолкователи великаго философа, но и расширяетъ этотъ періодъ до предѣловъ возможнаго, лишь бы только отъ этого не страдала ясность и точность пониманія пьесы. Только однажды и то мимоходомъ, говоря объ *обычныхъ приемахъ* большинства драматурговъ его времени, онъ замѣчаетъ, что чаще всего въ своихъ произведеніяхъ они стараются представить тѣ событія, которые могутъ совершиться въ теченіе сутокъ. Но указать на обычай, констатировать фактъ, имѣющій мѣсто въ дѣйствительности, отнюдь не значитъ—вмѣнять его въ обязательное для всѣхъ, безусловное правило. И Аристотель въ дѣйствительности далекъ отъ этого, тогда какъ въ произведеніяхъ лжеучениковъ его и мнимыхъ послѣдователей, въ произведеніяхъ ложноклассической драмы искусственное ограниченіе пьесы предѣлами однихъ сутокъ, при какой бы то ни было сложности дѣйствія, приводило къ тому безобразному, невозможному въ дѣйствительности накопленію фактовъ въ трагедіи, которое самою нелѣпостью получаемыхъ результатовъ яснѣе всего другого показывало, насколько фальшиво были поняты и примѣняемы здѣсь требованія самого Аристотеля... Наконецъ, относительно единства мѣста. Во всей своей „Поэтике“ Аристотель въ дѣйствительности ни въ одномъ замѣчаніи не указываетъ намъ на необходимость соблюденія того единства мѣста, которое навязывали отъ его имени драматургамъ представители ложнаго классицизма; да и самое указаніе это было бы въ то время для поэтовъ современной ему Греціи совершенно излишнимъ: единство мѣста въ тогдашней трагедіи было явленіемъ естественнымъ, потому что всѣ ея дѣйствія тогда совершались постоянно въ присутствіи хора, той толпы народной, которая сама принимала участіе въ событіяхъ драмы и которая оставалась всегда въ данной пьесѣ одною и тою же, всегда должна была находиться неподалеку отъ своихъ постоянныхъ жилищъ и потому естественно требовала совершенія всѣхъ главныхъ дѣйствій трагедіи на одномъ какомъ-либо мѣстѣ. Въ трагедіяхъ новаго времени не было ничего такого, что

требовало бы естественно подобного единства мѣста: въ ложноклассическихъ драмахъ 18 столѣтія постоянное присутствіе хора не находитъ себѣ мѣста; самыя дѣйствія, изображаемыя въ трагедіи, чрезвычайно усложняются и требуютъ для себя соответствующаго разнообразія и перемѣнъ самой мѣстности, гдѣ совершаются эти запутанныя дѣйствія, а между тѣмъ сочинители ложноклассическихъ драмъ считали единство мѣста для себя обязательнымъ. И вотъ когда при всемъ желаніи авторовъ такихъ драмъ ограничить мѣсто дѣйствія однимъ какимъ-нибудь опредѣленнымъ мѣстомъ, а время—единими сутками,—сдѣлать это оказывалось все-таки нерѣдко вполнѣ невозможнымъ, тогда они, все таки не желая отказаться отъ повиновенія этимъ тиранническимъ правиламъ, измышленнымъ ими отъ лица Аристотеля, по справедливому замѣчанію Лессинга (Гамбургская драматургія, гл. 46), вступаютъ въ слѣлку съ этими правилами.—„Вместо одного опредѣленного мѣста они придумываютъ какую-нибудь общую неопределенную мѣстность, подъ которой можно было бы по желанію разумѣть то одну, то другую; для этого имъ достаточно было, чтобы эти мѣстности не отстояли одна отъ другой на слишкомъ далекое разстояніе и чтобы ни одна изъ нихъ не требовала особенного декоративнаго укращенія, а чтобы одно и то же укращеніе приблизительно подходило къ одной мѣстности настолько же, насколько и къ другой. Подобнымъ же образомъ и единство дня они замѣнили единствомъ неопределенного срока времени и выдавали за одинъ день какой-то промежутокъ времени, въ теченіи котораго не говорилось ни о восходѣ, ни о закатѣ солнца, и никто не ложился спать на постель, хотя за это время и совершалась цѣлая масса разнообразныхъ событий требующихъ для своего совершенія весьма долгаго времени“.

Таковы печальные слѣдствія искаженія разумныхъ требованій Аристотеля его мнимыми послѣдователями и лжетолкователями, и конечно, ответственность за совершившееся должна падать отнюдь не на самого философа...

Переходимъ теперь къ разсмотрѣнію другого не менѣе важнаго основного вопроса: въ чемъ состоитъ задача всякой трагедіи? Какія внутреннія цѣли должна преслѣдоваться

каждая трагедія?—Отвѣчая на этотъ вопросъ въ самомъ опредѣлениі трагедіи, Аристотель говоритъ: „трагедія есть воспроизведеніе событія важнаго, цѣльнаго, полнаго, достаточно продолжительнаго..., имѣющее своею конечною цѣлью—посредствомъ возбужденія страха и состраданія даровать зрителямъ очищеніе этихъ и подобныхъ страстей“.—(Поэтика, гл. VI.). Что именно Аристотель хотѣлъ сказать послѣдними словами,—трудно опредѣлить съ полною достовѣрностью, и именно эта неопределеннность послужила причиной того, что въ отвѣтахъ на этотъ вопросъ оказалось значительное разнообразіе мнѣній. Съ большими подробностями разсматривается вопросъ объ этомъ трагическомъ очищеніи у Лессинга въ его „Гамбургской драматургіи“, и нельзя не признать, что анализъ его сдѣланъ здѣсь съ большимъ знаніемъ дѣла. Прежде чѣмъ объяснить что именно разумѣеть подъ „очищеніемъ“ самъ авторъ, онъ указываетъ намъ весьма распространенное ошибочное мнѣніе о немъ своихъ предшественниковъ. Ихъ ошибка,—говоритъ Лесингъ,—(ст. 77)—заключается въ томъ, что они увѣряютъ, будто Аристотель сказалъ, что трагедія должна посредствомъ состраданія и страха очищать отъ недостатковъ всѣ тѣ страсти, которыя изображаются на сценѣ..

Очищать страсти, изображаемыя на сценѣ?.. Это значитъ, что если герой трагедіи дѣляется несчастнымъ вслѣдствіе, напр., чѣрезмѣрнаго честолюбія, или любви, или ревности, или гнѣва, то и трагедія должна содѣйствовать очищенію нашего честолюбія, нашей любви, ревности, гнѣва, и другихъ нашихъ страстей, соответственно тому, какія изображаются страсти въ каждой трагедіи. Самый путь, которымъ совершается это очищеніе, они представляютъ себѣ въ слѣдующемъ видѣ.—„Жалость“ состраданіе къ несчастью, постигающему нашего ближняго,—замѣчаетъ одинъ изъ представителей этого объясненія (*Корнель: second discours sur la tragédie*).—возбуждаетъ въ насъ страхъ относительно того, что и насъ можетъ постигнуть подобное же несчастье; этотъ страхъ вызываетъ желаніе избѣгнуть его, а это желаніе въ свою очередь рождаетъ стремленіе—очистить, умѣрить, исправить, даже искоренить въ себѣ ту самую страсть, вслѣдствіе кото-

рой лицо, возбуждающее наше сожалѣніе, передъ нашими глазами навлекаетъ на себя несчастіе, такъ какъ разумъ каждому изъ насть говоритъ, что избѣжать послѣдствія можно только устраниеніемъ его причины"...—Но Аристотель,—по мнѣнію Лессинга—никогда не утверждалъ ничего подобнаго, потому что если бы разсужденіе это было справедливо, то на основаніи его трагедія могла бы очищать всѣ страсти, кромѣ какъ разъ только тѣхъ двухъ, очищенія которыхъ именно и добивается самъ Аристотель. Она могла бы очистить, уничтожить нашъ гнѣвъ, честолюбіе, любовь, любопытство или ревность и прочія страсти, смотря по тому, какая изъ нихъ навлекла несчастіе на героя трагедіи; и только состраданіе и страхъ она оставила бы неочищенными, потому что это—тѣ страсти, которые испытываютъ въ трагедіи во время дѣйствія не сами дѣйствующія въ ней лица, а мы, ея зрители, боящіеся за увлеченныхъ другими страстями героевъ трагедіи и сострадающіе ихъ ужаснымъ бѣдствіямъ. А между тѣмъ Аристотель прямо указываетъ въ своемъ опредѣленіи, что трагедія посредствомъ возбужденія состраданія и страха должна очищать именно эти т. е. страхъ и состраданіе и связанныя съ ними, другія подобныя страсти. Какъ же драгедія очищаетъ эти двѣ страсти, (или вѣрнѣе эмоціи), всякий разъ возникающія въ нашей душѣ?...—Одинъ изъ kommentаторовъ Аристотеля, *Дасъе* (въ своихъ объясненіяхъ къ „Поэтике“ Аристотоля Poétique d’Aristote, гл. 15, ст. 23), показываетъ намъ, какъ совершается такое очищеніе. „Не трудно понять, говоритъ онъ, какимъ образомъ трагедія возбуждаетъ состраданіе и страхъ для очищенія этихъ же самыхъ страстей. Она возбуждаетъ ихъ тѣмъ, что выставляетъ предъ нами несчастье, постигшее людей, намъ приблизительно равныхъ, вслѣдствіе не какихъ-либо преднамѣренныхъ злодѣяній, но лишь какой-либо ихъ ошибки; но она же очищаетъ эти чувства, ознакомляя насть не только съ этимъ самымъ несчастьемъ, но и съ ошибкой, его породившей; такимъ образомъ она научаетъ насть черезъ это не слишкомъ бояться и не слишкомъ быть пораженными, если бы по подобная же участь постигла и насть. Она подгото-
вляетъ людей къ тому, чтобы они мужественно переносили са-

мая непріятныя случайности и считали бы себя не слишкомъ-
несчастными, сравнивая свое несчастье съ тѣми еще болѣе
ужасными, которые изображаются въ трагедіи".—Тѣмъ же
путемъ къ разрѣшенію этого вопроса подходитъ и самъ
Лессингъ. Коротко говоря, значеніе трагедіи, по его мнѣнію, заключается въ томъ, что она умѣетъ регулировать
нашъ страхъ и наше состраданіе, умѣетъ очищать ихъ отъ
обѣихъ крайностей, возможныхъ въ каждомъ чувствѣ,
которые то могутъ доходить до крайнаго излишка, то стра-
дать отъ недостатка.

Трагическое состраданіе, являясь въ одно и то же
время и эмоціей, и эстетическимъ чувствованіемъ, способно
очищать не только душу слишкомъ сострадательного человѣка, но также и такого, который къ ближнему питаетъ
слишкомъ мало состраданія. Трагический страхъ подобнымъ
же образомъ очищаетъ душу не только того кто не боится
вообще никакого несчастья, но и того, кого наоборотъ по-
вергаетъ въ тревогу всякое даже весьма отдаленное и
мало вѣроятное несчастье. Вотъ почему въ цѣляхъ достиже-
нія такого очищенія авторы трагедій должны избирать ге-
роями ихъ людей, по возможности намъ равныхъ или подоб-
ныхъ,—ни страшныхъ злодѣевъ, ни добродѣтельныхъ пра-
ведниковъ, а людей просто добропорядочныхъ, со многими
достоинствами, но и съ недостатками,—людей, которые
попадали бы въ несчастье вслѣдствіе какого-либо заблу-
женія, возможнаго и для каждого изъ насъ, зрителей.
Отсюда—то истекаетъ страхъ нашъ и за себя самихъ, какъ
бы и съ нами не случилось подобнаго же несчастья вслѣд-
ствіе ошибки, возможной для всякаго: отсюда и состраданіе
наше къ несчастному герою трагедіи, потому что, сожалѣя
о немъ, мы въ то же время косвенно сожалѣемъ и о себѣ
въ подобномъ же будущемъ.—Наконецъ—нѣкоторые авторы
весьма удачно указываютъ, какъ на причину очищенія, еще
чисто эстетическое воздействиe на насъ трагедіи. Эти пи-
сатели (особенно Фонтенелль и Батте) приводятъ въ связь
свои объясненія со словами самого Аристотеля, которые онъ
высказываетъ въ своей "Политикѣ" (V,7) объ эстетическомъ
дѣйствіи музыки.—„Дѣйствіе музыки,—замѣчаетъ Аристо-

тель въ этомъ отрывкѣ,—ощущается всѣми, хотя и въ различной степени. Всѣ знаютъ, что музыка можетъ увлечь наши души къ состраданію, подавить ихъ страхомъ и поднять до вдохновенія, она способна способна возбудить своими звуками въ душѣ нашей разнообразныя страстныя волненія; но она же можетъ и быстро ихъ успокоить соотвѣтственными мелодіями. Тогда то въ моментъ успокоенія мы испытываемъ состояніе нравственного очищенія и мы чувствуемъ облегченіе страсти отъ избытка удовольствія"... Таково дѣйствіе музыки по словамъ самого Аристотеля. Дѣйствіе трагедіи подобно этому воздействию музыки, только еще сильнѣе: музыка входила въ античную трагедію, какъ одна изъ ея лучшихъ частей, и оказывала на зрителя соотвѣтствующее дѣйствіе подобно нынѣшней оперѣ; но представлениe трагедіи на сценѣ еще болѣе усиливало его и сценическою обстановкой пьесы, и живымъ натуральнымъ исполненіемъ актеровъ, давая впечатлѣнія одновременно и зрѣнію, и слуху. Отсюда сила эстетичеекаго воздействиа на зрителя древней трагедіи черезвычайно увеличивалась, налагая на страхъ и состраданіе, возбуждаемыя въ немъ трагической судьбой героя, особую печать эстетического очищенія, дѣлая ихъ свободными отъ той примѣси острого чувства нравственной боли и горечи, какія мы испытываемъ, встрѣчаясь съ подобной же драмой въ живой дѣйствительности. Подобно этому и на картину или скульптурное произведеніе съ изображеніемъ ужаснѣйшихъ, кровавыхъ бѣдствій и убийствъ смотримъ мы не съ чувствомъ подавляющаго насть страданія и ужаса, съ какимъ мы смотрѣли бы на убийство въ реальной дѣйствительности; но съ чувствомъ особеннаго эстетического страданія, очищенаго и умѣреннаго силою самаго эстетического впечатлѣнія, получаемаго отъ дѣйствія на насть прекрасной внѣшней формы и уносящаго насть до извѣстной степени отъ дѣйствительности.

Заканчивая на этомъ разсмотрѣніе теоріи драмы у Аристотеля мы естественно должны дать отвѣтъ на послѣдній вопросъ о томъ, *какое значеніе можетъ имѣть эта теорія, какъ и другія подобныя, для практики самого творчества драматурговъ, древнихъ и новыхъ?*...

Ясный и вѣрный отвѣтъ на этотъ вопросъ даетъ извѣстный нѣмецкій писатель, Густавъ Фрейтагъ въ своемъ сочиненіи: „Техника драмы“, Введеніе.—Современные поэты, говорить онъ, склонны въ большинствѣ относиться съ пренебреженіемъ къ тому методу, который при построении драматическихъ явлений, при обрисовкѣ характеровъ и послѣдовательномъ рядѣ сценическихъ воздействиій сообразуется съ системой прочно установленныхъ техническихъ правилъ, переданныхъ по традиціи. Они готовы считать всякое такое теоретическое ограниченіе погибелю свободнаго художественного творчества. Но это—величайшее заблужденіе. Какъ разъ наоборотъ, можно сказать, что *такія выработанныя системы отдельныхъ предписаній,—какую мы видимъ напр., въ Поэтике Аристотеля, были обыкновенно наилучшей поддержкою творческой силы.* Даже больше того; такія правила являются необходимымъ условіемъ той богатѣйшей производительности, которая поражаетъ насъ въ нѣкоторые періоды прошлаго, какъ нѣчто загадочное и непостижимое. Мы признаемъ до сихъ поръ, что греческая трагедія именно, и обладала подобною выработанною и установленной техникой и что величайшиe греческіе поэты руководились въ своемъ творчествѣ такими профессиональными правилами... Съ другой стороны, и аттической критикѣ хорошо извѣстны были эти правила, и она рѣшительно судила о достоинствахъ и недостаткахъ пьесы соответственно съ тѣмъ, напр., на должномъ ли мѣстѣ находится перипетія, и въ достаточной ли мѣрѣ патетическая сцена трагедіи возбуждаетъ требуемая отъ нея страхъ и состраданіе... Ясно, что и новые поэты, отнюдь не должны пренебрегать техническими правилами древнихъ, какъ и новыхъ,— должны, напротивъ, отыскивать ихъ и примѣнять съ разсчетомъ, потому что они облегчаютъ нашей сценѣ достиженіе художественныхъ воздействиій... Въ этомъ отношеніи „Поэтика“ Аристотеля является въ высшей степени цѣннымъ произведеніемъ, потому что даетъ возможность археологіи заглянуть въ погребенный подъ развалинами прошлаго сценическій міръ эллиновъ. Въ нашихъ учебникахъ „Поэтика“ Аристотеля, какъ извѣстно, и по нынѣ служитъ

фундаментомъ для теоріи драматического искусства; главы ея еще и донынѣ поучительны также для пишущаго драмы поэта Ибо, кромѣ теоріи драматическихъ воздействиій, установленныхъ тутъ величайшимъ мыслителемъ древности, и кромѣ многихъ принциповъ национальной критики, примѣненной имъ къ существующимъ пьесамъ, эта „Поэтика“ передаетъ также много весьма тонкихъ техническихъ приемовъ, заимствованныхъ изъ драматическихъ мастерскихъ древности,—приемовъ, которыми и современный поэтъ можетъ воспользоваться для себя съ большою выгодою”.

Эстетическая ученія стоическихъ философовъ. Разборъ образцовъ реалистической пластики.

Въ своихъ предшествующихъ лекціяхъ мы разсмотрѣли общія основы Аристотелевої эстетики, а также тотъ методъ, при помощи котораго ведено было эстетическое изслѣдованіе у Аристотеля. Мы указали тогда на то, что главной причиной того многовѣкового успѣха, которымъ пользовались эстетическая положенія этого великаго философа древности, было *отысканіе того правильного пути, по которому должно направляться всякое эстетическое изслѣдованіе;* что этой причиной было внимательное изученіе реальныхъ явлений при помощи наблюденій и опыта, приводящихъ изслѣдователя къ познанію самой природы со всѣми ея неисчислимymi богатствами... Представители философской стоической школы¹⁾ продолжаютъ учить обѣ искусствѣ въ духѣ Аристотеля. Они указываютъ на *природу, какъ на единственную силу, которая сама, естественными побужденіями, заложенными ею въ человѣческія существа, заставляетъ такимъ образомъ человѣка подражать ей въ творчествѣ и возсоздавать ее вторично въ произведеніяхъ искусствѣ*

¹⁾ Зенонъ, Клеанеъ, Хризиппъ, Посидоній и другіе. О возврѣніяхъ ихъ см. также у Ed. Müller: Geschichte d. Theorie der Kunst, II, S. 186 ff. и 398 ff. у Max. Schasler: kritische Geschichte der Aesthetik, I, S. 203—210.

ства. Весь миръ,—учили они,—есть единое и бесконечно—великое цѣлое, проходящее путь свой разумно и гармонически, согласно вѣчнымъ законамъ, а всякий человѣкъ составляетъ неизмѣримо малую, но неотдѣлимую часть этого цѣлага,—находясь со всѣми своими жизненными процессами въ полной зависимости отъ законовъ цѣлага,—законовъ вѣчныхъ, всеобщихъ и неизмѣнныхъ. Физическая природа человѣка есть часть мировой матеріи; человѣческій разумъ есть часть мирового разума; а законы его личной жизни суть законы той же природы. Поэтому *человѣкъ постоянно обязанъ жить и дѣйствовать согласно съ природой*, (*secundum naturam vivere*), и онъ въ самомъ дѣлѣ дѣйствуетъ такъ въ большей части случаевъ, такъ какъ сама природа вложила въ него сильнѣйшія естественные побужденія къ такому именно образу дѣйствій. Всѣ отрасли человѣческой дѣятельности подтверждаютъ это; что касается въ частности *самыхъ искусствъ*, то въ отношеніи ихъ дѣйствие природы обнаруживается въ томъ, что *человѣкъ съ самого ранняго дѣтства невольно и безотчетно стремится путемъ подражанія возоздавать все видѣнное имъ и слышанное, въ особенности прекрасное*. Это стремленіе у нѣкоторыхъ людей, а именно у художниковъ и поэтовъ, достигаетъ такой неодолимой силы, что они уже не могутъ не творить, не могутъ воздержаться отъ проявленія своей творческой способности въ предметахъ искусства.

Такимъ образомъ, *сама природа является здѣсь тою силой, которая побуждаетъ человѣка къ художественному творчеству*; природа оказывается его естественного причиной. Однако,—учатъ стоические философы, сама по себѣ природа не способна дать художнику всѣ техническія его познанія и умѣніе, необходимыя въ его художественной практикѣ. Чтобы достигнуть такого умѣнія въ техническомъ отношеніи, художникъ долженъ *изучать эту же природу*,—которая побуждаетъ его къ творчеству,—*изслѣдовывать ея явленія*, и именно такимъ путемъ т. е. путемъ опыта и наблюдений, онъ можетъ достигнуть высокихъ достоинствъ въ практическомъ отношеніи, примѣняя результаты пріобрѣтенныхъ знаній къ искусству.—Итакъ, съ

одной стороны, естественныя стремления къ творческой дѣятельности, вложенные въ человѣческую душу самою природой; а съ другой, положительное изученіе этой природы съ цѣлью—пріобрѣсти техническія познанія, равно какъ и матеріалы для своихъ произведеній, даютъ художнику возможность—воспроизводить въ прекрасномъ созданіяхъ искусства разнообразныя явленія этой самой природы подъ ея вліяніемъ и ради нея самой. И нужно замѣтить,—что при такомъ созиданіи своихъ произведеній художникъ чувствуетъ высокое удовольствіе, такъ какъ онъ сознаетъ себя вполнѣ удовлетвореннымъ и счастливымъ оттого, что онъ творитъ, и эта его творческая дѣятельность совпадаетъ съ его природнымъ влечениемъ.—Таковы общія основы стоической эстетики.—*Далъе, эстетическая воззрѣнія стоиковъ перемѣшиваются уже съ принципами стоической морали и учение объ прекрасномъ соединяется у нихъ съ учениемъ о добродѣтели.* Такое именно отношеніе замѣтно болѣе всего по вопросу о сущности прекрасного и его важнѣйшихъ условіяхъ. Какъ известно, по учению стоиковъ, сущность добродѣтели нравственной заключается въ томъ непосредственномъ слѣдованіи законамъ природы, въ томъ внутреннемъ согласіи съ нею, которое проникаетъ собою всѣ дѣйствія человѣка.—Сущность стоической добродѣтели заключается, именно, въ гармоніи нравственныхъ дѣяній человѣка съ тѣми законами морали, которые сама природа заложила въ его сердце; въ порядкѣ и закономѣрности самыхъ проявленій нравственной личности и, такъ сказать, во внутренней симметріи между законами внутренними и поведеніемъ внѣшнимъ. Будучи затѣмъ перенесены въ область явленій физическихъ, тѣ же самыя качества обусловливаютъ собою, по ихъ убѣждѣнію, сущность прекраснаго въ мірѣ явленій. Наблюденіе различныхъ предметовъ природы, которые вообще принято называть *предметами прекрасными*, убѣждало стоическихъ философовъ въ томъ, что повидимому *всѣ такие предметы своимъ непремѣннымъ условиемъ имѣютъ столько же порядокъ, пропорциональность, гармонию и симметрію своихъ внѣшнихъ частей, сколько ту особенность, что внѣшнія формы предмета находятся въ*

полномъ прямомъ соотвѣтствіи съ внутреннею идеей, внутренней сущностью всици и ея природнымъ назначеніемъ. Такъ, напр., въ частности относительно красоты человѣка они утверждали, что сущность ея состоитъ столько же въ соразмѣрности всѣхъ частей его тѣла, въ гармоніи ихъ между собою и пропорціональности, сколько вмѣстѣ съ тѣмъ въ пригодности каждого члена этого тѣла къ опредѣленнымъ цѣлямъ, къ отправленію назначенныхъ для него природою функций самымъ легкимъ и совершеннымъ способомъ. Обращаясь затѣмъ со своимъ анализомъ къ окружающей природѣ, стоические философы находятъ въ ней безконечное множество произведеній, которые, могутъ быть названы съ такой точки зрењія прекрасными, цѣлесообразными и полезными. Всякое зерно, изъ котораго съ теченіемъ времени по внутреннимъ законамъ произрастанія (заключающимся въ немъ самомъ), выростаетъ громадное дерево или изящный цветокъ,—всякое такое зерно уже само есть (съ ихъ точки зрењія) прекрасное произведеніе природы, какъ прекрасно и само дерево или цветокъ, вышедшіе изъ него. Прекраснымъ такое зерно можетъ быть названо потому, что природа, которая создавала его, позаботилась не только о томъ, чтобы въ немъ заключено было полезное и необходимое, т. е. качества строенія, безусловно необходимыя для дальнѣйшаго развитія изъ зерна цѣлаго растенія; но и о томъ, чтобы снабдить будущее растеніе, дерево или цветокъ, которые должны произрасти изъ зерна, элементами чистой красоты, дающими человѣку высокое наслажденіе эстетического созерцанія,—элементами гармоніи и симметріи всѣхъ частей предмета, въ соотвѣтствіи съ ихъ назначеніемъ. То же самое, можно сказать о мірѣ животныхъ, гдѣ на каждомъ шагу замѣтны заботы природы о томъ, чтобы каждое, самое незначительное ея созданіе не только являлось цѣлесообразнымъ и необходимымъ звеномъ въ безконечной цѣли ея непрерывающихся явлений и не только было само снабжено организмомъ, способнымъ къ существованію и развитію, но и представляло бы собой украшеніе этой природы, служа тѣмъ самымъ и наслажденію человѣчества прекраснымъ, а стало быть и его счастью. Итакъ, говорили эти философы,

сама природа есть величайшая художница, которая умъетъ всегда оставаться такою въ гармоніи всего своего необъятнаго цѣлаго, какъ и во всѣхъ своихъ, безконечно разнообразныхъ вещахъ и явленіяхъ.

Что же, съ своей стороны, долженъ дѣлать тотъ человѣкъ, который хочетъ быть истиннымъ художникомъ?— Онъ долженъ подражать природѣ въ ея прекрасныхъ созданіяхъ; а для такого подражанія ему необходимо усердно изучать эту природу, вникать въ смыслъ ея явлений и стараться воспроизвести въ искусство преимущественно тѣ изъ нихъ, которыя его непосредственному чувству показываются прекрасными. Если однако въ предметахъ, подлежащихъ художественному воспроизведенію, встрѣчаются и такія черты, которые не могутъ быть названы прекрасными съ обыденной для толпы точки зрѣнія, то художникъ обязанъ воспроизводить и такія, на взглядъ большинства лишенныя красоты, черты ихъ, если только онъ является *характерными*, типичными для данныхъ предметовъ, выясняющими ихъ сущность и назначеніе. Другими словами, художникъ не долженъ въ своихъ произведеніяхъ отступать отъ природы, придерживаясь по возможности всего того, что она даетъ ему; но именно поэтому-то онъ долженъ выбирать для воспроизведенія въ своемъ искусствѣ не то случайное, которое помимо его воли попадается ему на глаза, а то *характерное, типичное въ окружающей его природѣ и жизни*, которое способно служить представителемъ цѣлаго ряда предметовъ этого же самого рода. Стало быть, *выборъ этихъ предметовъ долженъ быть всегда сознательнымъ*.

Если мы всмотримся внимательно въ содержаніе только что изложенныхъ взглядовъ стоическихъ философовъ на искусство, то во всей ихъ совокупности мы замѣтимъ *последовательное проведеніе принциповъ художественного реализма*. Такой послѣдовательный въ своихъ основаніяхъ и вполнѣ *сознательный реализмъ* существенно отличается, какъ известно, отъ тѣхъ *натуралистическихъ стремлений*, которыя имѣли нерѣдко мѣсто уже у художниковъ древнѣйшихъ эпохъ античнаго искусства: тамъ, гдѣ въ древнѣйшія эпохи искусства мы встрѣчаемся съ *натуралистическими* чертами.

въ самыхъ произведеніяхъ искусства,—тамъ эти черты, въ которыхъ выражаются позаимствованія у природы, относятся чаще всего только ко внѣшнимъ формамъ, къ формальному исполненію созданій искусства, но отнюдь не ко внутреннему ихъ содержанію. Уже древнѣйшие художники пользовались тѣмъ богатымъ материаломъ, который давала имъ окружающая природа; но они пользовались имъ по преимуществу для того, чтобы отыскать среди этого материала тѣ видимыя формы, въ которыхъ было бы можно заключать или религіозныя представленія, или высшія идеи нравственнаго порядка, какія являются истиннымъ содержаніемъ лучшихъ произведеній какъ архаической, такъ и идеальной пластики...¹⁾ Начиная съ Поликлета и особенно Лизиппа, заимствованія у художниковъ у природы для искусства становятся сознательными и возводятся въ принципъ: художники берутъ у этой природы не однѣ только внѣшнія формы въ своихъ особенныхъ цѣляхъ, но цѣликомъ заимствуютъ у нея и самое внутреннее содержаніе для своихъ художественныхъ произведеній. Такимъ образомъ, эти послѣднія, благодаря сознательному выбору художника, дѣлаются полнымъ отраженіемъ уже не случайной, но характерной дѣйствительности, и притомъ не только по своимъ формамъ, но и по самому содержанію. Въ этомъ важнѣйшее отличіе послѣдовательного реализма рассматриваемой эпохи отъ случайныхъ проявленій натурализма въ предшествующее время. Уже изъ сказанного сейчасъ ясно, что вышеизложенные принципы реализма, которые были высказаны впервые еще у Сократа въ отрывочной формѣ и затѣмъ развились у Аристотеля и стоиковъ въ цѣлую систему, имѣ-

¹⁾ Встрѣчаются, правда, въ значительномъ количествѣ уже въ древнѣйшія эпохи греческого искусства и чисто жанровыя произведенія, возсоздающія отдѣльныя сцены дѣйствительной жизни. Но и эти произведенія по характеру творчества отличаются отъ реализмического искусства позднѣйшихъ эпохъ, именно тѣмъ, что являются результатомъ бессознательного стремленія художниковъ къ подражанію природѣ и жизни, а не какихъ-либо опредѣленныхъ эстетическихъ принциповъ, которымъ художники слѣдовали бы сознательно и послѣдовательно.

ли мѣсто не въ одной только философской теоріи, но являлись руководящими принципами въ творческой практикѣ самихъ художниковъ, которые нерѣдко даже и независимо отъ всякихъ философскихъ вліяній, благодаря болѣе всего своему собственному художественному чутью, приходили къ тѣмъ же принципамъ реализма въ искусствѣ. Несомнѣнно также, что эти художественные произведенія реалистического направленія съ своей стороны сказывали значительное вліяніе на представителей философской теоріи, и такимъ образомъ философская теорія и художественная практика стояли относительно другъ друга въ тѣсномъ взаимодѣйствіи.

Анализъ самыхъ памятниковъ реалистической пластики подтверждаетъ намъ сказанное. Посмотримъ теперь каковы были эти памятники... Тогда какъ разнообразнѣйшіе идеалы религіозно-нравственного содержанія создавались величайшими художниками—идеалистами съ Фидіемъ, а затѣмъ съ Праксителемъ и Скопасомъ во главѣ; другіе греческие художники поставляли, напротивъ того, принципомъ своей дѣятельности то положительное начало, которое составляетъ сущность истиннаго *реализма въ искусстве*. Они усердно изучали окружающую природу и жизнь, чтобы сознательно сдѣлать ее материаломъ для своего искусства, чтобы ея явленія и предметы, путемъ или цѣлаго ряда наблюденій, или непосредственного подражанія, воспроизводить съ возможною точностью. Произведенія реалистической пластики весьма многочисленны и разнообразны, равно какъ разнообразны и процессы самого творчества у художниковъ—реалистовъ.—Не имѣя возможности и необходимости представлять здѣсь всю исторію реалистической пластики за весь періодъ ея существованія и во всѣхъ разнообразныхъ ея проявленіяхъ, я укажу здѣсь только нѣкоторые важнѣйшіе и наиболѣе существенные моменты въ этой исторіи.—При этомъ я остановлюсь прежде всего на тѣхъ наилучшихъ въ художественномъ отношеніи образцахъ пластики реального направленія, составляющихъ какъ бы переходную ступень отъ пластики идеальной къ реальной, которые по своимъ достоинствамъ превосходятъ всѣ осталь-

ныя и на которыхъ легче всего возможно прослѣдить послѣдовательную работу художниковъ—реалистовъ. Я говорю о, такъ называемыхъ, каноническихъ статуяхъ, обязанныхъ своимъ происхожденiemъ такимъ высоко-талантливъмъ скульпторамъ, какъ Поликлетъ, Эвфраноръ, Силаніонъ и Лизиппъ,—статуи, въ которыхъ художники хотѣли показать нормальное человѣческое тѣло съ совершенными пропорціями его. Извѣстенъ тотъ путь, по которому впервые Поликлетъ пришелъ къ созданію своихъ каноническихъ статуй. Онъ долженъ былъ *произвести наблюденія надъ длиннымъ рядомъ людей разнообразныхъ тѣлосложеній и возрастовъ*; долженъ былъ *изучить громадное число индивидуумовъ съ ихъ различными физическими особенностями и на основаніи уже этихъ многочисленныхъ данныхъ сдѣлать заключеніе о нормальномъ человѣческомъ тѣлѣ съ его нормальнymi, средними пропорціями*. Дѣйствительно, только послѣ такого тщательного изученія Поликлетъ пришелъ къ двоякаго рода результатамъ: во 1-хъ, онъ *создаетъ теоретическое сочиненіе о симметріи и о нормальныхъ пропорціяхъ человѣческаго тѣла*, на которыхъ покоится его истинная красота; въ этомъ сочиненіи имъ представлены были тѣ вычисленные имъ на основаніи множества измѣненій, разнообразнѣйшія отношенія всѣхъ частей тѣла другъ къ другу и къ цѣлому, въ какихъ должно принимать ихъ при изображеніи въ статуѣ нормального человѣка. Съ другой стороны, онъ *создаетъ впервые великие пластические образцы такого нормального человѣка*, который, согласно съ его же теоретическими указаніями, не долженъ быть ни слишкомъ низкимъ или высокимъ, ни слишкомъ толстымъ или худымъ, ни слишкомъ старымъ или юнымъ,—словомъ, долженъ быть тѣмъ среднимъ нормальнымъ человѣкомъ, который стоитъ въ всякихъ крайностей, котораго весь внѣшній обликъ полученъ художникомъ изъ наблюденій надъ многочисленными прекрасными индивидуумами человѣческаго рода, и въ которомъ соединяются типичныя черты всѣхъ этихъ многочисленныхъ прекрасныхъ человѣческихъ тѣлъ. Дабы яснѣе представить настоящій характеръ этихъ каноническихъ статуй Поликлета, мы разсмотримъ здѣсь двѣ

важнѣйшихъ изъ нихъ, которые сохранились для насть въ превосходно исполненныхъ копіяхъ, и прежде всего статую такъ наз. „копьеносца“ „дорифора“¹⁾. Еще Плиній въ своей „Естественной Исторіи“ (34, 55) писалъ по поводу этой статуи слѣдующія немногія, но выразительныя стро-ки:— „этотъ художникъ, Поликлетъ, создалъ дорифора,— юношу—копьеносца почти уже въ пору мужественной зрѣлости; и эту то статую художники называютъ „канономъ“,— художественнымъ закономъ,—потому что они извлекаютъ изъ нея, какъ будто изъ книги законовъ твердыя художественныя правила. Такимъ образомъ, прибавляетъ Плиній, Поликлетъ въ одномъ произведеніи своего искусства оставилъ послѣдующимъ художникамъ какъ бы учебникъ самаго искусства“....— Таковы знаменательныя слова этого древняго автора,— и его высокое мнѣніе объ этомъ художественномъ произведеніи находитъ себѣ подтвержденіе и у такихъ эстетически развитыхъ писателей древности, какъ Квинтиліанъ и Цицеронъ, которые всѣмъ художникамъ рекомендовали самое тщательное изученіе этой статуи... Дѣйствительно, сколько мы можемъ судить по мраморной копіи этого оригинала (Неапол. музея), статуя Поликлетьтова копьеносца заслуживала самого глубокаго изученія... Передъ нами сильная, здоровая, прекрасно сложенная фигура юноши, уже вошедшаго въ тотъ періодъ жизни, когда начинается эпоха болѣе зрѣлаго мужества: слегка отставивши назадъ свою лѣвую ногу и твердо опираясь на правую, этотъ юноша стоитъ въ спокойной позѣ отдыхающаго: повидимому, онъ только что окончилъ свое упражненіе, состоявшее въ метаніи копья, и теперь отдыхаетъ, опустивши утомленную правую руку вдоль бедеръ, а лѣвой свободно удерживая на плечѣ свое копье. Его гладко лежащіе, короткіе волосы; широкій и невысокій лобъ, строгое и холодное лицо, лишенное аттическаго одушевленія, ясно указываютъ его принадлежность къ дорическому племени, чуждому высшихъ духовныхъ интересовъ. Но все

¹⁾ Статуя воспроизведена въ атласѣ Штейдника, памятники античнаго искусства, табл. 29, фиг. 2.

остальное прекрасное тѣло его заставляетъ насть забывать объ этомъ недостаткѣ чисто духовной выразительности его лица, тѣмъ болѣе, что художникъ и не долженъ былъ воспроизводить ее въ этихъ лицахъ, если хотѣлъ слѣдователь тѣмъ типамъ, какіе давала ему самая характерная живая дѣйствительность... Все въ этомъ сильномъ, здоровомъ тѣлѣ показываетъ, что воспиталось оно не въ изнѣживающей, болѣзненной, комнатной атмосферѣ, а развилось въ теченіе цѣлаго ряда годовъ въ здоровой и чистой атмосферѣ дорицкой палестры съ ея постоянными гимнастическими упражненіями, холодными укрѣпляющими купаньями, оживленными играми, съ ея здоровымъ умѣреннымъ образомъ жизни. Только такой образъ жизни могъ давать въ своемъ результатахъ тѣла, которые приближаются своимъ построениемъ къ тѣлу дорифора: такую мощную, пластически выпуклую грудь какъ у него; такой устойчивый и вмѣстѣ гибкій и упругій торсъ съ проходящими по немъ волнистыми мускулами; такія упругія, сильныя ноги, всегда готовыя къ далекому прыжку или бѣгу, и такія руки, полныя силы и ловкости, способныя въ одинаковой степени и къ воинскимъ упражненіямъ, и къ легкимъ гимнастическимъ играмъ. Въ своемъ цѣломъ это—здоровое, крѣпкое, до совершенства развитое человѣческое тѣло, какое только могло быть создано въ произведеніи художника при помощи наблюденій надъ цѣлымъ рядомъ лучшихъ представителей здороваго дорического племени.

Другая изъ этихъ статуй (копія Британ. муз.),—статуя такъ наз. „Діадумена“,—юноши, повязывающаго вокругъ головы побѣдную повязку,—въ общемъ подходитъ по типу къ первой изъ нихъ.¹⁾ Мы видимъ опять стройное тѣло юноши, только нѣсколько болѣе мягкихъ и округленныхъ очертаній, на которыя указывалъ еще Павланій, сравнивая ихъ съ болѣе мужественными чертами дирифора. Этотъ юноша, побѣдитель на какомъ-то гимнастическомъ состязаніи, представленъ художникомъ въ тотъ самый моментъ, когда

¹⁾ См. въ атласѣ Штейднинга табл. 2, фиг. 1.

онъ занятъ всецѣло тѣмъ, чтобы повязать особеннымъ образомъ побѣдную повязку вокругъ головы: стоя, подобно дорифору, на правой ногѣ и такъ же отставивши лѣвую, онъ весь погруженъ въ свое мирное занятіе, которое онъ, видимо, старается исполнить съ чрезвычайною тщательностью. При этомъ, значительное поднятіе кверху обѣихъ рукъ его представляеть намъ еще съ большею ясностью всю красоту и силу этого юношескаго тѣла съ его могучимъ, свободно изогнутымъ станомъ и крѣпкими мускулами, которые приняли здѣсь уже иная очертанія, чѣмъ у дорифора. Во всемъ остальномъ оба эти произведенія обнаруживаютъ необыкновенную близость: та же дорическая голова съ ея типичною строгостью, та же постановка фигуры, тѣ же строго нормальная, правильная пропорціи всѣхъ частей тѣла по отношенію другъ къ другу и ко всему своему цѣлому...

Приблизительно такимъ же построеніемъ отличались,— согласно свидѣтельствамъ древнихъ писателей,—и остальные статуи атлетовъ у этого художника, создаваемыя имъ по однимъ и тѣмъ же, прочно установленнымъ художественнымъ правиламъ. Такова эта первая ступень въ развитіи скульптурныхъ каноновъ. Весьма интересенъ дальнѣйший прогрессъ въ развитіи каноническихъ статуй. Послѣдующее еще болѣе внимательное изученіе формъ отдѣльныхъ живыхъ человѣческихъ тѣлъ сравнительно съ тѣми, которыя созданы были по канону Поликлета, показало, что въ сравненіи съ живыми людьми каноническія статуи Поликлета оказываются, какъ тогда говорили о нихъ приземистыми, слишкомъ массивными и тяжеловѣсными, и что необходимо нѣсколько отступить отъ этихъ среднихъ ариѳметическихъ пропорцій въ интересахъ красоты, исправивши эти среднія нормы въ ту или другую сторону по отдѣльнымъ живымъ прекраснымъ индивидуумамъ. Попытку подобнаго исправленія дѣйствительно сдѣлали Эвфраноръ и Силаніонъ, но попытку не вполнѣ законченную, потому что видоизмѣнили они въ такомъ направленіи только туловище и плечи, представляя ихъ въ своихъ канонахъ болѣе узкими, тогда какъ всѣ остальные пропорціи сохранили вполнѣ неизмѣнными;

вслѣдствіе этого самыя конечности тѣла стали казаться еще болѣе тяжеловѣсными. Только впослѣдствіи Лизиппу удалось довести реформу канона въ пластикѣ до конца: какъ это мы видимъ въ его статуѣ „Апоксіомена“, онъ сталъ изображать голову въ гораздо меньшемъ размѣрѣ, сравнительно съ прежними, туловище—болѣе узкимъ и короткимъ, а конечности (руки и ноги) болѣе длинными, и такимъ образомъ умѣлъ создать новый канонъ, который былъ и гармоничнѣе, изящнѣе первыхъ, и ближе подходилъ къ дѣйствительнымъ формамъ греческихъ красавцевъ, попадавшимъ въ то время въ дѣйствительной жизни.—Таковъ именно знаменитый „апоксіоменосъ“ Лизиппа, представляющій юношу атлета, который очищаетъ свое тѣло отъ масла и пыли послѣ гимнастическихъ упражненій,—канонъ съ его новыми пропорціями.¹⁾ На этомъ пунктѣ однако прогрессъ въ изученіи природы художниками еще не останавливается; они успѣваютъ пойти въ этомъ отношеніи еще дальше. Съ теченіемъ времени это изученіе природы, веденное съ большимъ стараніемъ и умѣньемъ, раскрываетъ художникамъ уже болѣе, чѣмъ простыя внѣшнія формы явлений и тѣль: послѣ извѣстныхъ усилій, они успѣваютъ подмѣтить, что однѣ черты физіономіи, представляющія вполнѣ опредѣленные особенности, закономѣрно соотвѣтствуютъ опредѣленнымъ особенностямъ самого характера человѣка, что между внѣшностью человѣка и духомъ,—между чертами лица и тѣла, что называютъ характеромъ (ethos), существуетъ строгое соотвѣтствіе, и что достаточно бываетъ удачно подмѣтить и наглядно воспроизвести эти внѣшнія особенности лица, чтобы для зрителя сдѣлать совершенно яснымъ и самый внутренний характеръ изображаемой личности (его ethos). Слѣдуя какъ разъ по этому пути, великий Лизиппъ и Аристодемъ пришли къ созданію любопытныхъ портретныхъ изваяній Гомера, баснописца Эзопа и семи древнѣйшихъ греческихъ мудрецовъ по тѣмъ изреченіямъ ихъ, по ихъ сочиненіямъ и инымъ историческимъ даннымъ, какія въ то время

¹⁾ Эта статуя апоксіомена воспроизведена въ атласѣ Штейдинга табл. 41, фиг. 3.

были известны о нихъ. Процессъ художественного творчества здѣсь былъ весьма сложенъ: эти историческія данныя и философскія ихъ изреченія и сочиненія представляли собою весь тотъ матеріялъ, по которому художники имѣли возможность составить себѣ представленіе о дѣйствительномъ внутреннемъ характерѣ этихъ давно умершихъ уже лицъ которыхъ художники никогда не видали. Только уже послѣ этого, только вполнѣ изучивши по ихъ сочиненіямъ самый ихъ внутренній характеръ, художники разыскивали затѣмъ въ окружающихъ ихъ дѣйствительныхъ лицахъ черты, наиболѣе отвѣчающія такимъ же характерамъ, и изъ совмѣстнаго сопоставленія ихъ въ одно цѣлое получали, наконецъ, тотъ художественный образъ, который соотвѣтствуетъ вполнѣ тому или другому, строго опредѣленному характеру. Такимъ то путемъ къ созданію подобныхъ портретныхъ изображеній шли художники—реалисты этого времени ¹⁾.

Такой же глубокій и послѣдовательный реализмъ, имѣвшій мѣсто въ этихъ портретныхъ изображеніяхъ, сохраняется и въ тѣхъ многочисленныхъ портретахъ великихъ дѣятелей античнаго міра, современниковъ изображавшихъ ихъ скульпторовъ, въ которыхъ мы видимъ стремленіе художниковъ создавать уже съ живой натуры по живымъ оригиналамъ чисто индивидуальная портретная изображенія. При этомъ въ произведеніяхъ такого рода постепенно совершаются переходъ отъ болѣе простыхъ и несовершенныхъ портретовъ, представляющихъ только внѣшнее сходство съ изображаемыми лицами, къ портретамъ болѣе совершеннымъ и глубокимъ по содержанію, въ которыхъ ярко и полно жизненно воспроизводятся не только внѣшнія черты, но и внутренній характеръ, душевный складъ данной личности, какъ это мы видимъ особенно въ портретныхъ статуяхъ у Лизиппа и художниковъ его школы ¹⁾.

¹⁾ Изображеніе Гомера (бюстъ его) см. въ атласѣ Штейдинга табл. 55, фиг. 1.

¹⁾ См. особенно портретные изображенія Александра Македонскаго въ атласѣ Штейдинга, табл. 38, фиг. 3; табл. 43, фиг. 3; табл. 46, фиг. 1; ср.

Наконецъ и въ жанровой пластикѣ и живописи, къ которой присоединяется еще и пейзажъ, художники этого времени проводятъ ясно тѣ же принципы послѣдовательнаго реализма, которые провозглашаются и философами—теоретиками. Отдельные моменты изъ мирной окружающей ихъ жизни, такъ или иначе заинтересовывающіе художниковъ, находятъ для себя особенно со времени Лизиппа, современника Александра Македонскаго, многообразное выраженіе въ скульптурѣ и живописи и такимъ образомъ *природа начинаетъ какъ бы снова вторично существовать въ этихъ произведеніяхъ реального искусства*¹⁾). А на ряду съ жанромъ и пейзажемъ въ эту эпоху получаетъ жизнь и развитіе также и историческая скульптура: здѣсь, въ ея произведеніяхъ художники стараются, при помощи тщательнаго изученія извѣстнаго историческаго событія во всѣхъ его подробностяхъ и со всѣми его дѣйствующими лицами, воспроизвести каждое такое событіе съ возможною точностью, придерживаясь не только историческаго характера событія, но и портретной вѣрности, гдѣ историческіе участники были извѣстны, въ передачѣ лицъ, участвующихъ въ событіи²⁾.

Таковы тѣ важнѣйшіе виды античной скульптуры, которые нашли себѣ мѣсто въ эпоху, современную Аристотелю и послѣдующія за нею и которые послужили фактическимъ оправданіемъ тѣхъ теоретическихъ воззрѣній на задачи и сущность искусства, какія являлись господствующими въ философскихъ ученіяхъ этого времени.

также портреты Перикла, табл. 26, фиг. 4; Платона табл. 37, фиг. 6; Сократа, Софокла, Демосеена, Эврипида, Геродота, Фукидида, тамъ же табл. 40, фиг. 1—6.

¹⁾ Особенно многочисленны были жанры въ связи съ пейзажемъ на рельефахъ Александрійской школы (примѣръ въ атласѣ Штейдинга, табл. 51, фиг. 3), а бытовая жизнь въ статуяхъ тѣхъ же александрийскихъ художниковъ, воспроизводившихъ типичныя бытовыя сценки изъ современной имъ дѣйствительности.

²⁾ Образцами могутъ служить: сцена, изображеніе на сидонскомъ саркофагѣ, въ атласѣ Штейдинга табл. 43, фиг. рис. 1 (битва Александра Македонскаго съ персами), а также изображеніе галльскихъ воиновъ, потерпѣвшихъ пораженіе отъ пергамскаго царя Аттала—въ воспроизведеніи пергамскихъ художниковъ (см. у Штейдинга табл. 45, фиг. 3 и 4, и др.).

Горацій.

Всякому, кто желалъ бы непосредственно ознакомиться съ положенiemъ *теоріи поэзії на римской почвѣ* въ эпоху Августа, необходимо приходится останавливаться на болѣе или менѣе подробномъ и внимательномъ изученіи того небольшого, но въ высшей степени важнаго въ этомъ отношеніи произведенія Горація, о которомъ справедливо замѣчено, что на ряду съ поэтикой Аристотеля ни одно твореніе древности не имѣло для себя столь многихъ истолкователей и критиковъ, несогласныхъ между собою: по крайней мѣрѣ ни одно столь незначительного объема, какъ это стихотвореніе Горація, издаваемое то подъ скромнымъ заглавиемъ: „Epistola ad Pisones“, то подъ громкимъ и многозначительнымъ именемъ: „liber de arte poëtica“. Несмотря однако на огромное количество разнообразныхъ изслѣдованій, написанныхъ различными авторами относительно этого произведенія Горація, или вѣрнѣе благодаря именно слишкомъ большому разнообразію и несходству мнѣній о немъ у различныхъ авторовъ,—сдѣлать правильную оценку значенія „Поэтики“ Горація, установить истинныя представленія о задачахъ, которые преслѣдовалъ поэтъ, создавая это посланіе къ именитымъ Пизонамъ, и раскрыть какъ самый планъ произведенія въ его цѣломъ, такъ и достоинства каждой его части въ отдѣльности—оказывается дѣломъ достаточно труднымъ. Можно было бы сказать о немъ то же, что говорилъ нѣкогда Гете о своемъ изученіи этой самой Гораціевой „Поэтики“ въ Лейпцигѣ: „мы восхищались,—говорилъ онъ,—отдѣльными золотыми изреченіями этого драгоценнаго произведенія; мы благоговѣли передъ ними; но мы никакъ не могли понять, что можно дѣлать изъ цѣлаго и какъ употребить его въ свою пользу“... И действительно, какъ содержаніе, такъ и форма этого произведенія Горація таковы, что при всемъ богатствѣ и разнообразіи мнѣній, высказанныхъ о немъ болѣе или менѣе остроумными критиками, нельзя указать ни одного изъ нихъ, которое было бы болѣе, чѣмъ простою гипотезой, и которое давало бы какому-либо изъ поставленныхъ ими вопросовъ

окончательное рѣшеніе. Намъ представляется въ виду этого необходимымъ и важнымъ—изложить тутъ вкратцѣ результаты этихъ предшествующихъ изслѣдованій, въ которыхъ освѣщены различныя стороны сложныхъ вопросовъ, возбуждавшихся въ разное время по отношенію къ Горациевої поэтикѣ.—Итакъ, прежде всего относительно тѣхъ задачъ, которыя преслѣдовалъ Гораций, создавая свое сочиненіе о поэтическомъ искусствѣ.

Можно указать три основныя теченія въ пониманіи этихъ задачъ различными критиками. Одни изъ толкователей, (Виландъ, Кольманъ и нѣк. др.), заключая задачи поэта въ данномъ случаѣ въ наиболѣе тѣсныя рамки, приписывали этому произведенію Горация совершенно частное назначеніе. Ссылаясь будто-бы на указанія самого поэта, они утверждали, что стихотвореніе это написано было исключительно по настоянію друга Горация, Пизона—отца, въ наставленіе и поученіе молодому Пизону—сыну, который самъ писалъ стихотворенія, но стихотворенія очень плохія, и котораго Гораций, по просьбѣ его отца, желалъ отучить отъ этого непосильнаго для него занятія, показавши ему всѣ трудности поэтическаго искусства.

Другіе, приписывая поэту самые широкіе замыслы, утверждали, (Энгель, Санадонъ и др..), что рассматриваемое стихотвореніе Горация, будучи вызвано негодованіемъ его противъ всѣхъ тѣхъ его современниковъ, которые дерзко выдавали свои безсмысленные стихи за произведенія поэзіи, заключало въ себѣ какъ осмѣяніе всѣхъ такихъ лжепоэтовъ, такъ и наставленіе римскимъ критикамъ и тѣмъ изъ поэтовъ, которые отличаются отъ первыхъ большими дарованіями. Самое же облеченіе такого содерянія въ форму посланія къ Пизонамъ служило будто-бы только прикрытиемъ для настоящихъ намѣреній автора.

Трети, наконецъ, стараются примирить одно съ другимъ оба предшествующія крайнія направленія. Искусно соединяя другъ съ другомъ оба вышеуказанныя истолкованія, они опредѣляютъ значеніе Горациевої „поэтики“ слѣдующимъ образомъ: книга Горация „de arte poëtica“ есть не что иное, какъ дидактико-сатирическое сочиненіе про-

тивъ всѣхъ вообще плохихъ стихотворцевъ тогдашняго Рима, и желаніе поэта—осмѣять однихъ изъ нихъ и подать полезные совѣты другимъ является истинною причиной написанія этого стихотворенія; съ другой стороны, частныя отношенія поэта къ Пизонамъ и просьба ихъ къ поэту были въ дѣйствительности не болѣе, какъ *внѣшнимъ* только побудительнымъ поводомъ, обусловившимъ появленіе стихотворенія въ формѣ эпистолы.—„Истинный поэтъ,—говорилъ одинъ изъ лучшихъ представителей этого примирительного направлениія (Габерфельдъ),—не могъ смотрѣть равнодушнымъ взглѣдомъ или съ одною улыбкою сожалѣнія, на то, что искусство и истинный вкусъ находились въ опасности, и истинныя дарованія оцѣнивались наравнѣ съ недостойною бездарностью. Оттого еще и прежде Горацій случайно задѣвалъ этихъ бездарныхъ стихотворцевъ бичемъ своей сатиры; но это больше раздражало, нежели убѣждало этихъ людей, воображавшихъ себя поэтами, и ничуть не исцѣляло ихъ отъ безумія. Теперь, побуждаемый и ободряемый Пизонами, онъ является съ рѣшительнымъ намѣреніемъ — поразить эту бездарную толпу, показать всѣмъ єя ничтожество и, если можно, даже ее самое привести къ этому убѣженію, что она избрала ложную дорогу, не имѣя достаточно силъ, чтобы достигнуть высоты искусства. Онъ показываетъ этимъ людямъ, какъ должно понимать искусство поэзіи и научаетъ ихъ, что поэзія дѣйствительно есть искусство. Онъ излагаетъ главнѣйшія правила и показываетъ возможныя ошибки; онъ откровенно объясняетъ имъ причины, почему они вопреки воображаемому ими призванію быть поэтами, останутся навсегда только стихокропателями; наконецъ, поставляетъ имъ въ образецъ поэтовъ греческихъ, превосходство которыхъ должно устыдить и привести къ самочувствію всѣхъ, кто еще не вполнѣ ослѣпленъ самомнѣніемъ“...

И дѣйствительно, если взглянемся внимательно въ самое содержаніе Гораціевой „поэтики“, то мы отыщемъ въ самомъ текстѣ ея слова поэта, ясно и недвусмысленно показывающія читателю истинныя его намѣренія. „Я буду исполнять роль оселка,—говорить здѣсь поэтъ (v. 304—

308). Какъ онъ самъ не рѣжетъ, но зато дѣлаетъ острымъ желѣзо (желѣзный мечъ или ножъ),—такъ и я: самъ писать не буду, но открою другимъ, откуда являются силы, что создаетъ и питаетъ поэта; что прилично ему и что неприлично; въ чемъ искусство поэта и въ чемъ заблужденіе..—Въ этихъ словахъ самого поэта мысль о томъ, что рассматриваемое стихотвореніе Гораций было дѣйствительно дидактико-сатирическимъ сочиненіемъ, имѣющимъ отношеніе ко всѣмъ вообще современнымъ ему поэтамъ, находить себѣ прямое и ясное подтвержденіе.—Соответственно различію въ пониманіи основныхъ задачъ, преслѣдуемыхъ поэтомъ въ рассматриваемомъ стихотвореніи, различается у отдельныхъ авторовъ и пониманіе самого плана всего этого сочиненія, расположія всѣхъ его отдельныхъ частей и ихъ отношенія къ цѣлому. Одни толкователи, видѣвшіе въ этомъ стихотвореніи не болѣе, какъ чисто личное посланіе къ Пизону, признавали его лишь случайнымъ сводомъ тѣхъ отрывочныхъ, не имѣющихъ связи другъ съ другомъ, замѣчаній, которые приходили поэту на мысль во время процесса писанія; иными словами, они не видѣли въ немъ ни строгаго плана, ни связи частей.—Другіе, впадая въ противоположную крайность, провозглашали это небольшое стихотвореніе (v. 1—476) цѣлою наукой поэзіи, указывали въ немъ стройный планъ, а вмѣстѣ съ нимъ и систематическое расположение и единство частей. Нѣкоторые, наконецъ, отыскивая средній, примиряющій крайности, путь, высказываютъ наиболѣе правдоподобное мнѣніе, утверждая, что хотя единство цѣли и обусловливаетъ въ извѣстной степени единство содержанія въ этомъ стихотвореніи Гораций, однако принятая для него форма эпистолы даетъ поэту возможность не строго держаться той системы и той связной послѣдовательности всѣхъ высказываемыхъ имъ положеній, которая была бы для него обязательна при всякой другой формѣ изложенія. Эта мысль о невыдержанности строгаго плана сочиненія Гораций „о поэтическомъ искусстве“, которая прикрывается здѣсь и какъ бы оправдывается самою формой его, не позволяющей строгой систематизации содержанія,—эта мысль, при ближайшемъ знаком-

ствѣ съ сочиненіемъ оказывается болѣе всѣхъ остальныхъ соотвѣтствующею самой истинѣ... Мы обращаемся теперь къ изложению самого содержанія Гораціевої „Поэтики“ для того, чтобы показать, если возможно, въ какой мѣрѣ и въ какомъ направлениі измѣнились въ классическомъ мірѣ возрѣнія на поэзію, какъ искусство, сравнительно съ возрѣніями той великой эпохи, для которой лучшимъ выразителемъ являлся Аристотель со своею „Поэтикой“¹⁾.

Въ чёмъ состоитъ цѣль поэзіи, какъ искусства? Въ чёмъ заключается ея назначение?...—Одни изъ поэтовъ,—замѣчаетъ Горацій (v. 333 sqq.),—стремятся къ тому чтобы приносить пользу; другіе—чтобы забавлять читателя. Въ соотвѣтствіи съ этимъ и изъ читателей поэтическихъ произведеній одни, а именно, почти всѣ центури старѣйшихъ всегда оказываются противъ того, что не приносить пользы; напротивъ, младшіе, гордые всадники отвергаютъ всѣ слишкомъ серьезныя, хотя бы и очень полезныя, произведенія. Успѣхомъ у всѣхъ безъ исключенія читателей можетъ, стало быть, пользоваться тотъ лишь поэтъ, который въ произведеніяхъ своихъ умѣетъ соединить полезное съ пріятнымъ, поучительное съ забавнымъ. „Тотъ поэтъ голоса всѣхъ собралъ, кто мѣшаетъ пріятное съ пользой, увеселяя читателя умъ и его жъ поучая“,—говоритъ намъ Горацій (v. 343—344) объ истинной цѣли поэзіи. Указывая здѣсь элементъ полезнаго, какъ необходимый и важный въ каждомъ произведеніи поэтическаго творчества, онъ развиваетъ въ другомъ мѣстѣ эту же мысль о пользѣ искусства и поэзіи въ частности уже съ большими подробностями, ссылаясь для подтвержденія ея на далекое, прошлое въ судьбахъ поэтовъ и другихъ художниковъ и ихъ полезной для всего человѣчества культурной дѣятельности. Вотъ какъ описываетъ онъ содержаніе и значеніе полезной дѣятель-

¹⁾ При этомъ мы не послѣдуемъ однако тому безсистемному способу изложенія, который имѣетъ мѣсто въ подлинной авторской редакціи этого стихотворенія, но расположимъ его содержаніе согласно опредѣленнымъ задачамъ нашего изслѣдованія въ соотвѣтствіи съ предъявляемыми нами ко всякой теоріи поэзіи вопросными пунктами.

ности поэтовъ и художниковъ различныхъ родовъ въ этотъ далекій доисторическій періодъ (в. 391—407). (Переводъ М. Дмитріева. Москва. 1853 г.).—„Нѣкогда древній Орфей, жрецъ боговъ, провозвѣстникъ ихъ воли, дикихъ людей отучилъ отъ убийствъ и отъ гнусной ихъ пищи. Вотъ отчего говорятъ, что и львовъ укрощалъ онъ, и тигровъ. Фивскія стѣны воздвигъ Амфіонъ: оттого намъ преданье повѣстуетъ о немъ, что онъ лирными звуками камни двигалъ съ ихъ мѣста, куда лишь хотѣлъ, сладкогласiemъ лиры. Древняя мудрость въ томъ вся была, чтобы народное съ частнымъ, чтобы святыню съ мирскимъ различить, дать браку уставы, грады строить, на древѣ вырѣзывать людямъ законы. Оттого то божественнымъ именемъ чтили поэтовъ, и пророчествомъ звали ихъ пѣсни...—Всльдъ за ними позднѣе славный Гомеръ и Тиртей вспламеняли своими стихами храбрыя души... Оракулы также въ стихахъ возвѣщали Голосъ Піеридъ и жизни указывалъ путь, и поэтамъ снискивалъ милость царей; и работъ годовыхъ окончанье пѣснию веселой народъ услаждалъ...—Не стыдитесь отныне лиры искусствной и голоса Музъ, и пѣвца Аполлона“... Мы видимъ здѣсь, такимъ образомъ, перечисленіе тѣхъ великихъ культурныхъ пріобрѣтеній человѣчества, которыя оно сдѣлало при посредствѣ искусства,—тѣхъ пріобрѣтеній, которыя ясно показываютъ,—по мнѣнію поэта,—что истинное назначеніе художественныхъ произведеній заключается не въ одной только уладѣ человѣческаго слуха, зриенія или чувства, но еще болѣе въ принесеніи пользы человѣчеству въ самыхъ разнообразныхъ областяхъ его жизни и дѣятельности. И въ этомъ пунктѣ римскій авторъ „поэтики“ существенно отличается по своему взгляду отъ автора „поэтики“ Эллинской. У Аристотеля решеніе вопроса о цѣли поэзіи стоитъ въ непосредственной зависимости отъ решенія вопроса о самомъ происхожденіи ея, какъ и всѣхъ вообще искусствъ, и разрѣшается въ томъ смыслѣ, что если всякое искусство (въ томъ числѣ и поэзія) рождается изъ естественного стремленія человѣка къ подражанію, то и самая цѣль его поставляется тою-же природой и состоитъ въ удовлетвореніи указанному естественному стремленію

человѣка и въ удовольствіи, связаннымъ съ такимъ удовлетворенiemъ; для трагедіи выставлялась у Аристотеля сверхъ этой еще и иная цѣль: очищеніе страстей человѣческихъ. У Гораций, какъ представителя римского народа съ его узко практическими интересами и возрѣніями, взглядъ на назначеніе поэзіи долженъ быть совершенно инымъ,—соответствующимъ народному римскому духу, если авторъ хотѣлъ, чтобы наставленія его были понятны и усвоены римскимъ народомъ. И мы видимъ дѣйствительно, что приспособляясь, именно, къ практическимъ тенденціямъ своихъ соотечественниковъ, Гораций такъ усиленно старается, какъ можно, съ большею яркостью, выставить на видъ полезность искусства вообще, и въ частности поэзии, по отношенію къ прогрессу человѣчества, причемъ опредѣленно раскрываетъ намъ и самый мотивъ, побуждающій его къ этому, въ слѣдующихъ характерныхъ стихахъ (v. 323—332).

Грекамъ муга дала полновучное слово и геній,—
Имъ, ни къ чему независтливымъ, кромъ величія славы.
Дѣти же римлянъ учатся долго, съ трудомъ; но чему же...

На сто частей монеты дѣлить безъ ошибки. Вотъ одинъ изъ примѣровъ наиболѣе частыхъ уроковъ у римлянъ. „Сынъ Альбина. Скажи мнѣ: если мы, взявши 5 унцій, вычтемъ одну; что останется?“—„Третья часть асса.“—„Прекрасно. Ну, ты имѣнье свое не растратишь...—А если прибавимъ къ прежнимъ пяти мы одну; что будетъ всего?“—„Половина“... Если, какъ ржавчина, въ умѣ заберется корысть, то возможно-ль съ нею стиховъ ожидать, въ кипарисѣ храниться достойныхъ“.: Эта корысть, это стремленіе римского народа—повсюду отыскать прежде всего и больше всего полезное, понимая его болѣе всего въ смыслѣ матеріальномъ, именно, и является опредѣляющимъ моментомъ въ возрѣніи, высказанномъ Горациемъ на задачи поэзіи. И у него такое возрѣніе является не только теоретическимъ, но и проводится цѣликомъ въ его творческую практику. *Его сатиры, его оды и эпистолы всѣ имѣютъ практическое назначеніе:* въ однѣхъ онъ осмѣиваетъ, въ другихъ прославляетъ, въ третьихъ поучаетъ, но никогда не представ-

ляется въ нихъ, какъ „пѣвецъ красоты“, какъ служитель „искусства ради искусства“, безъ эгоистическихъ цѣлей.

Разрѣшивши въ указанномъ смыслѣ вопросъ о задачахъ поэзіи, Гораций рѣшаетъ далѣе интересный вопросъ о томъ, какую роль играетъ въ созданіи поэтическихъ произведеній сама природа, съ одной стороны, и искусство и труды самого поэта, съ другой?...—Для созданія превосходнѣйшихъ образцовъ поэзіи,—думаетъ авторъ римской „Поэтики“,—искусство, умѣніе добываемое продолжительнымъ обученіемъ, должно приходить на помощь природному генію, природнымъ поэтическимъ дарованіямъ, какъ бы велики они ни были.—„Спрашиваютъ обыкновенно,—говоритъ онъ (v. 408. sqq.),—что болѣе способствуетъ совершенству поэтическаго произведенія: природа-ли, или искусство и трудъ самихъ поэтовъ. Я лично не вижу, къ чему послужило бы наше даже долговременное обученіе въ этой области, еслибы мы не имѣли таланта; или наоборотъ къ чему послужили бы наши дарованія безъ соответствующей науки и труда. То и другое,—природныя дарованія и искусство, выработанное трудомъ, должны неизменно поддерживать другъ друга“. Вотъ почему обращается онъ къ молодому Пизону (ст. 379 и сл.) съ такимъ настойчивымъ увѣщаніемъ—не писать ничего безъ согласія музъ и Минервы,—другими словами,—безъ искренняго поэтическаго вдохновенія; а написавши—не выпускать написанного въ свѣтъ до тѣхъ поръ, пока, многократно исправивши все это согласно указаніямъ строгой науки, онъ не сумѣетъ достигнуть освобожденія написанного отъ всѣхъ его недостатковъ. Оттого требование:—*Saepius stylum verte-*
te”—сдѣлалось у Горация основнымъ требованіемъ по отношенію къ виѣшней формѣ произведеній поэзіи. Самое разсмотрѣніе и рѣшеніе этого вопроса о сравнительномъ значеніи для поэзіи искусства и природныхъ способностей,—вопроса, самое возникновеніе котораго, повидимому, представлялось ненужнымъ автору древнѣйшей греческой „Поэтики“, Аристотелю, излишнимъ въ виду ясности отвѣта на него изъ устъ каждого эллинскаго поэта,—это разсмотрѣніе должно было казаться необходимымъ въ глазахъ всякаго, кто, какъ Гораций, обращалъ свою рѣчь о поэзіи къ наро-

ду римскому. Необходимо было настойчиво указать и разъяснить что ни одни только природныя дарованія сами по себѣ, безъ соотвѣтствующей науки, ни одни старанія безъ природныхъ дарованій не создаютъ поэта въ истинномъ смыслѣ,—необходимо было потому, что въ этомъ самомъ Римѣ, къ которому обращался Горацій, жили и дѣйствовали безчисленные *стихокропатели*, считавшіе,—какъ говорить Горацій (ст. 383 и сл.),—свободное и знатное происхожденіе и свой всадническій капиталъ совершенно достаточнымъ основаніемъ для того, чтобы получить право—сочинять ни начто негодные, безсмысленные и по самой формѣ своей уродливые стихи. Противъ этихъ то безчисленныхъ стихотворцевъ, окружавшихъ себя толпами прихлебателей и прочитывавшихъ этимъ послѣднимъ за роскошнымъ обѣдомъ, подъ громъ рукоплесканій, результаты нелѣпыхъ своихъ измышеній,—и было выставлено съ такою определенностью это положеніе Горація объ образованіи истиннаго поэта и необходимыхъ для этого условіяхъ. Противъ нихъ же направленъ и бичъ той жестокой сатиры, какою авторъ „науки поэзіи“ съ такою беспощадностью поражаетъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ своего произведенія, всякую бездарность, имѣющую дерзость заявлять о своемъ существованіи на поприщѣ поэтической дѣятельности.

Мы обратимся теперь къ той части „Поэтики“ Горація, (въ порядкѣ расположенія въ оригиналѣ—первой), въ которой рассматриваются уже самые *результаты поэтическаго творчества,—различные виды поэзіи*, (по преимуществу драмы), со стороны какъ содержанія ихъ, такъ и формы.

Уже издавна,—какъ известно,—различные толкователи Горація указывали на то обстоятельство, что многочисленныя отдельныя положенія, высказываемыя поэтомъ въ этой части его сочиненія о поэзіи, оказываются въ большинствѣ случаевъ не самостоятельными, а заимствованными имъ изъ разнообразныхъ источниковъ. Въ числѣ этихъ источниковъ они, (Дасье, Грифоли, Регельсбергеръ и др.)—ссылаясь отчасти на слова древняго сколіаста Порfirія, указывали нѣкоего Неоптолема Паросскаго, какъ *важнейший источникъ* Гораціевой „Поэтики“,—а за тѣмъ называли Зенона,

Критона, Демокрита, и въ особенности *Аристотеля*. Многіе даже видѣли во всемъ этомъ сочиненіи *Горація* не болѣе, какъ простую передѣлку *Аристотелевої „Поэтики“* примѣнительно къ римской литературу и римскимъ обычаямъ. Мы не имѣемъ возможности провѣрить показаніе схоліаста Порfirія относительно заимствованій *Горація* у Неоптолема Паросскаго, ибо сочиненія этого послѣдняго по вопросамъ поэзіи не дошли до нашего времени, равно какъ и сочиненія по тому же предмету Зенона, Критона и Демокрита. Но мы имѣемъ возможность сравнить *Гораціеву „Поэтику“* съ „*Поэтикой*“ его великаго предшественника въ этой области, *Аристотеля*, и это сравненіе оказывается особенно поучительнымъ, показывая намъ съ полной определенностью, что общераспространенное мнѣніе о многочисленныхъ позаимствованіяхъ римскаго поэта у греческаго философа имѣетъ для себя серьезныя основанія и во многихъ отношеніяхъ находитъ себѣ подтвержденіе въ самой дѣйствительности¹⁾.

Уже одинъ тотъ фактъ, что у *Горація* въ его „*Поэтике*“ трактуется, какъ и въ „*Поэтике*“ *Аристотеля*, среди разнообразныхъ родовъ поэтическихъ произведеній болѣе всего о произведеніяхъ *драматическихъ*, — этотъ фактъ обнаруживаетъ, — (по мнѣн. проф. С. Шевырева „Теорія поэзіи“ стр. 89), — явное вліяніе греческаго составителя „*Поэтики*“ на римскаго. Если у грековъ драма, особенно въ эпоху *Аристотеля*, была тѣмъ родомъ поэзіи, который достигъ наивысшаго процвѣтанія и наибольшаго распространенія, то у римлянъ, именно, драма (и преимущественно трагедія) напротивъ, никогда не пользовались ни большимъ успѣхомъ, ни распространеніемъ, уступая первенствующее мѣсто не только другимъ родамъ поэзіи, но даже и кровавымъ гладіаторскимъ зрѣлищамъ въ циркахъ. Стало быть, разсматривая теорію поэзіи все таки преимущественно въ примененіи къ драматическимъ произведеніямъ, *Горацій* слѣдо-

¹⁾ Изъ русскихъ исследованій особенно интересныя страницы посвящены этому вопросу о вліяніи *Аристотеля* на *Горація* С. Шевыревымъ въ его «Теоріи поэзіи», стр. 88 и сл.

валъ въ этомъ случаѣ не потребностямъ своего времени и не самымъ обстоятельствамъ, а лишь по тому образцу, который данъ былъ нѣкогда въ „Поэтикѣ“ Аристотеля и отъ которого онъ не желалъ или не умѣлъ отдалиться.

Если мы перейдемъ затѣмъ къ разсмотрѣнію тѣхъ основныхъ требованій, которыя предъявляются Гораціемъ, какъ необходимыя условія для каждого произведенія поэзіи (и драмы въ особенности),—то увидимъ, что во многихъ отношеніяхъ здѣсь могутъ быть замѣчены прямые заимствованія изъ теоріи поэзіи Аристотеля. Нѣсколько примѣровъ могутъ наглядно уяснить эти заимствованія и прежде всего по отношенію къ воззрѣнію обоихъ авторовъ на *поэтическое произведеніе, какъ воплощеніе единаго по своему существу содержанія*. Вы помните, что говоря о существѣ трагедіи (гл. VI) и эпоса (гл. XXIII), Аристотель указываетъ, какъ непремѣнное условіе для каждого произведенія того и другого рода поэзіи, чтобы по содержанію своему оно было воспроизведеніемъ *события единаго, цѣльного и полнаго, которое имѣло бы и достаточную продолжительность, обусловливаемую естественно самимъ сюжетомъ, и начало, и средину, и конецъ въ развитіи дѣйствія, при полномъ подчиненіи всѣхъ частей своему цѣлому.* — Горацій предъявляетъ къ произведеніямъ поэзіи по существу такія же требованія. Поэтическое произведеніе, лишенное единства и внутренней связи и подчиненія частей цѣлому, онъ сравниваетъ съ фантастическою, уродливою, картиной, достойною осмѣянія. Онъ говоритъ въ самыхъ первыхъ строкахъ своей „поэтики“: (ст. 1—13).

«Еслибы женскую голову къ шеѣ коня живописецъ
Вадумалъ приставить и, разные члены собравши отвсюду,
Перьями ихъ распестрилъ, чтобы прекрасная женщина сверху
Снизу кончалась уродливой рыбой; смотря на такую
Картину, о други, могли ли бы вы удержаться отъ смѣха..
Вѣрьте же маѣ, на эту картину должна быть похожа
Книга, въ которой всѣ мысли, какъ бредъ у больного горячкой:
Гдѣ голова, гдѣ ноги,—все безъ согласія съ цѣлымъ составомъ.
Знаю: поэтъ съ живописцемъ все смѣютъ и все имъ возможно,
Чего захотятъ. Мы и сами не прочь отъ подобной свободы,
И другому готовы дозволить ее, но съ условьемъ,

Чтобы дикие звѣри не были вмѣстѣ съ ручными,
Змѣи въ сообществѣ птицъ, и съ ягнятами лютыс тигры»...

Затѣмъ переходя отъ этихъ отрицательныхъ описаній къ положительному опредѣленію качествъ необходимыхъ каждому поэтическому произведенію, онъ даетъ это определеніе въ слѣдующихъ словахъ (v. 23):

„Какъ бы то ни было, знай, о художникъ, что *нужны во всемъ простота и единство*“.

Причемъ въ дальнѣйшихъ стихахъ поэтъ поясняетъ, что та простота, которой онъ требуетъ, заключается въ избѣжаніи всѣхъ тѣхъ излишествъ, въ какія такъ часто впадаетъ большинство поэтовъ въ погонѣ за наружнымъ блескомъ; а то единство, о которомъ онъ говоритъ, заключается въ умѣніи—согласовать всѣ части произведенія съ его цѣльнымъ столько же въ отношеніи самого содержанія, сколько и по ихъ внѣшней отдаликѣ, дабы не уподобиться тому художнику, который умѣлъ превосходно выдѣлывать въ бронзѣ ногти и волосы, а во всемъ остальномъ былъ совсѣмъ неудаченъ.

Сходны между собою и тѣ требования, которые выставляютъ и Аристотель, и Горацій по отношенію къ выводимымъ въ поэтическихъ произведеніяхъ типамъ. Составитель древне-греческой „Поэтики“ какъ известно, настойчиво указывалъ (гл. XV) на то, что всѣ, выводимые въ поэтическомъ произведеніи типы должны быть въ отношеніи нравовъ и мыслей, изображаемы со всѣмъ возможнымъ правдоподобіемъ, соответственно законамъ вѣроятія или самой исторіи (если дѣло идетъ объ исторической личности), а самые ихъ характеры должны быть отъ начала до конца строго выдержанными. Составитель „Поэтики“ римской, Горацій, повторяетъ въ своемъ стихотвореніи всѣ эти требования своего великаго предшественника, не внося въ нихъ никакихъ существенныхъ перемѣнъ, и только поясняетъ ихъ соответствующими примѣрами. Слѣдуя непосредственно за Аристотелемъ, онъ получаетъ современныхъ ему поэтовъ слѣдующимъ образомъ (ст. 119—128).

«Слѣдуй преданью, поэтъ, или выдумывай съ истиной сходно
Если герой твой—Ахиллъ, столь прославленный въ пѣсняхъ: да будетъ

Пылокъ онъ, быстръ и во гнѣвѣ своемъ непреклоненъ,
Кромѣ меча своего признавать не хотящій закона.
Медея должна быть гордой и злой; Ино—плачевна,
Ю—скиталица; мраченъ—Орестъ; Иксіонъ—вѣроломенъ.
Если вѣряешь ты сценѣ что новое; если ты смѣешь
Творческой силой лицо создавать, неизвѣстное прежде:
Долженъ стараться его до конца поддержать таковыи же,
Какимъ ты въ началѣ его показалъ,—съ самимъ собою соглас-
нымъ»...—

(v. 156 sq.)—«Долженъ стараться всѣхъ возрастовъ нравы представить
прилично,
Сходно съ натурою, (см. 177 и сл.) какъ измѣняются люди съ го-
дами»...—

«Юношѣ роль не давай старика, а мальчику—мужа
Каждаго возраста нравы черты означаютъ иные»...—

Сходство между эстетическими положеніями, высказы-
ваемыми въ обѣихъ „Поэтикахъ“, можно легко прослѣдить
далѣе и въ раздѣленіи способовъ воспроизведенія въ поэзіи
на воспроизведеніе событий въ дѣйствіи (драма) и передачу
его въ разсказѣ (эпосъ или лирика), причемъ какъ гречес-
кій авторъ, такъ и слѣдующій за нимъ авторъ „поэтики“
римской отдаетъ рѣшительное и явное предпочтеніе именно,
драмѣ.¹⁾ Сходны затѣмъ у обоихъ и требованія для драмы
развязки естественной, а не совершающей благодаря только
вмѣшательству сверхъ-естественныхъ силъ,—боговъ и ге-
роевъ;²⁾ сходно и требованіе отъ поэта, чтобы онъ самъ
проникался настроениемъ изображаемыхъ имъ персонажей,
дѣлая черезъ это рѣчи ихъ и поступки болѣе ярко проник-
нутыми страстью, болѣе искренними, и увлекая за собою
слушателей не только красотою стиха, но и проникающимъ
его чувствомъ. Ибо, какъ говоритъ Горацій (v. 99—102)³⁾:

«Не довольно стихамъ одной красоты; но чтобы духъ услаждая,
Всюду они увлекали его за собою по волѣ поэта.
Люди охотно смѣются только съ смѣющимися; съ плачущимъ плачутъ:
Если ты хочешь, чтобъ плацалъ и я, то самъ будь растроганъ».

¹⁾ Ср. Аристотеля «Поэтика», гл. III и XXVII, и Horat: lib. de arte poëtica, v. 179 sqq.

²⁾ Ср. «Поэтику» Аристот., гл. XV, и «Поэтику» Горація ст. 191 и сл.

³⁾ Ср. «Поэтику» Аристотеля, гл. XVII.

Таковы эти и другие многочисленные пункты сходства въ эстетическихъ положеніяхъ, выставленныхъ какъ Аристотелемъ, такъ и Гораціемъ въ ихъ руководствахъ „Поэтики“. И едва ли найдется изслѣдователь, который сталъ бы серьезно отрицать въ этомъ явленіи фактъ непосредственного заимствованія этихъ положеній римскимъ авторомъ у его великаго предшественника.

Что касается, наконецъ, достоинствъ самой виньиней формы, въ которую Горацій облекъ содержаніе „поэтики“, то высокія похвалы, расточаемыя въ этомъ отношеніи по адресу составителя „Поэтики“, оправдываются самою дѣйствительностью, и характеристика этихъ выдающихся качествъ блестящаго исполненія, сдѣланная Габерфельдомъ, не кажется намъ преувеличенной.—„Свободный и легкій ходъ идей; остроумный способъ сужденій; чисто сократовская веселость, соединенная съ римскою образованностью; простой, но поэтическій языкъ и легкость стихосложенія; наконецъ, аттическая тонкость мысли и выраженій,—во всемъ этомъ нельзя не узнать Горація, творца сатиръ и другихъ эпистолъ... Какъ умѣеть этотъ римскій поэтъ оживить и возвысить предметъ, самъ по себѣ столь сухой. Какъ благоразумно проводить онъ черезъ все свое произведеніе главныя идеи, не докучая читателю длинными рѣчами и не возбуждая его отвращенія длинною сатирою.—То предписываетъ онъ правила и мимоходомъ напоминаетъ ошибки; то вводитъ дѣйствующими и говорящими лицами самихъ стихотворцевъ; то обращается къ Пизонамъ: то себя самого включаетъ въ бесѣду; то вставляетъ эпизоды, какъ пункты отдохновенія; то шутитъ, то становится важнымъ; и для того, чтобы дать своему произведенію полноту и окружность цѣлаго, онъ заключаетъ его тономъ высочайшаго сатирическаго порыва.—Исторія, живопись, музыка, древняя и новая драма, греческіе и римскіе писатели, анекдоты, пословицы,—все послужило ему для оживленія цѣлага; все отъ начала и до конца искусно поддерживаетъ напряженное вниманіе читателя“.—Такова эта „Поэтика“ Го-

Плотинъ¹⁾.

Эпоха философской дѣятельности Плотина можетъ быть названа въ исторіи эстетики эпохой второго расцвѣта того самаго идеализма, котораго первое процвѣтаніе связывается, (какъ было показано), съ именемъ великаго Платона. Сходство между представителями той и другой эпохи,—между Платономъ и Плотиномъ, не ограничивается, какъ увидимъ, какими-либо незначительными частностями, которые устанавливали бы сродство между тѣмъ и другимъ чисто случайнымъ образомъ и съ устраниемъ которыхъ исчезала бы самая внутренняя родственная связь между обоими. Захватывая въ дѣйствительности гораздо болѣе широкій кругъ соотношеній, это сродство между обоими высокими представителями идеализма является особенно явственнымъ по отношенію къ основнымъ принципамъ, положеннымъ въ основу эстетическихъ учений того и другого. Я не буду здѣсь останавливаться на неважныхъ для насъ сторонахъ чисто вѣшнихъ, формальныхъ соотношеній между философской системой Плотина и системой Платона.—Что касается самыхъ основныхъ принциповъ, на которыхъ зиждется та и другая система, то внутреннее родство, существующее между ними, не подлежитъ никакому сомнѣнію; причемъ, какъ увидимъ, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ ученикъ уходитъ однако далѣе своего учителя, исправляя замѣчаемыя у послѣдняго погрѣшности и оставаясь вообще болѣе него послѣдовательнымъ въ проведеніи до конца основныхъ своихъ принциповъ. Мы обращаемся теперь въ подтвержденіе сказанного къ изложенію самыхъ воззрѣній Плотина въ тѣхъ ихъ частяхъ, въ которыхъ они имѣютъ непосредственное отношеніе къ нашей наукѣ:

¹⁾ Сочиненія Плотина (род. 204 г. по Р. Хр., ум. 270 г.) изданы Порфиремъ въ шести анналахъ. Новые изданія ихъ принадлежать Creuzer (Oxford, 1855), A. Kirchhoff (Lips., 1856), H. F. Müller (1878) и Dübner (Paris, 1855). О его системѣ см. Artur Richter. nein—Platonische Studien. Halle, 1864—67, также Max. Schieler: kritische Geschichte d. Aesthetik, I, S. 233—248; I. Walter: d. Geschichte der Aesthetik im Altertum, S. 736—786 и др.

Исходнымъ пунктомъ въ системѣ Плотина является идея „единаго“ или „доброго“, подъ которыми онѣ разумѣютъ Первосущество или Первосилу,—то Божество, изъ котораго произошло все существующее, но которое само не можетъ быть описано, ибо не имѣетъ ни вида, ни границъ, будучи безконечнымъ и безвиднымъ; оно не можетъ быть и объяснено, ибо не имѣетъ ни одного изъ всѣхъ тѣхъ свойствъ, какія только способенъ представить себѣ человѣкъ. Это Первосущество является единой и истинной причиной всего существующаго, производнаго; причемъ вся эта безконечная совокупность существъ, происшедшихъ изъ Первосилы, представляетъ собою безконечный міръ постепенно убывающаго совершенства, такъ что совершенство уменьшается съ каждымъ разомъ по мѣрѣ того, какъ отъ предшествующаго, болѣе близкаго къ Первосуществу и потому болѣе совершенаго, рождается послѣдующее, являющееся лишь отраженiemъ предшествующаго и потому болѣе удаляющееся отъ первоисточника всего, слѣдовательно, менѣе совершенное... Первымъ изъ такихъ порожденій Первосилы является *мировой Разумъ* (*Noūs*), который представляетъ собою высшее бытіе имѣющее и движение, и устойчивость, и тожество и различіе,—что въ совокупности составляетъ 5 категорій бытія умопостигаемаго. Самый мировой Разумъ (*Noūs*) въ свою очередь разлагается на сверхчувственные числа или идеи, и притомъ такъ, что не только каждый родъ и видъ, но и всякое отдельное существо имѣетъ среди нихъ соответствующую себѣ идею въ качествѣ первообраза своей индивидуальной особенности. И эти идеи являются не инертными, но дѣйствующими силами (*νοεραὶ δυνάμεις*), которые, пребывая другъ въ другѣ и въ то же время однако не поглащаясь одинъ другими, образуютъ всею своею совокупностью то единство умопостигаемаго міра, то царство идей, которое оказывается въ то же время и царствомъ красоты,—тѣмъ самымъ первопрекраснымъ, подражаніе которому служитъ источникомъ вообще всякой красоши¹⁾.

¹⁾ Ср. Целлеръ очеркъ исторіи греческой философіи, стр. 278 и сл.

Таковъ переходъ отъ общихъ основоположеній философской системы Плотина къ основнымъ принципамъ его эстетической теоріи, отличающейся отъ большей части предыдущихъ теорій своею послѣдовательностью и полнотою.

Обращаясь затѣмъ къ разсмотрѣнію самаго *мира красоты*, какъ объекта эстетического изслѣдованія, философъ избираетъ исходною для него точкою *различие*, съ одной стороны, между *красотою тѣлесной*, наружною, формальною, ощущаемою при помощи вѣщнихъ чувствъ, и *красотою духовной*; а съ другой, между *прекраснымъ, существующимъ въ природѣ*, и тѣмъ *прекраснымъ, которое воспроизводится въ искусстве*. Этюю исходною точкою опредѣляется характеръ всего эстетического изслѣдованія Плотина. Прекрасное,— замѣчаетъ онъ,— не ограничивается однимъ только міромъ явлений, познаваемыхъ нашими вѣшними чувствами, но захватываетъ сверхъ того и область явлений иного, вышшаго порядка,—явлений интеллектуальныхъ и нравственныхъ. Другими словами, не только прекрасное, воспринимаемое человѣкомъ черезъ посредство зреянія и слуха, (каковы: краски, формы, звуки и т. д.), но и прекрасное, познаваемое нашимъ разумомъ, (каковы: прекрасныя свойства ума и сердца, добродѣтели, прекрасныя дѣянія человѣка; прекрасное содержаніе рѣчей, литературныхъ произведеній, и т. д.), представляетъ собою тотъ, почти безконечный по своему содержанію объектъ разсмотрѣнія, которому должно быть посвящено эстетическое изслѣдованіе. Итакъ въ порядке слѣдованія, явленія красоты тѣлесной, ощущаемой, познаваемой нашими вѣшними чувствами, должны быть разсмотрѣны прежде всего остального.

Въ чёмъ же заключается эта красота вещей, познаваемыхъ вѣшними чувствами; иначе говоря, въ чёмъ заключается то общее всѣмъ имъ *свойство*,—въ силу котораго вещи эти, въ отличіе отъ остальныхъ, дѣлаются прекрасными... Принято думать обыкновенно, что свойство это состоитъ въ пропорциональности, т. е. въ соразмѣрности всѣхъ частей предмета по отношенію другъ къ другу и ко всему своему цѣлому, и мнѣніе это оказывается настолько распро-

страненнымъ въ классической древности, что пропорциональное, „согласимъное“ являлось въ представлениі большинства однозначущимъ съ „прекраснымъ“. — Плотинъ выставляетъ на видъ недостаточность такого определенія прекраснаго, ибо оно способно выяснить лишь *прекрасное сложное*, да и то далеко не во всѣхъ случаяхъ и не во всей его полнотѣ, тогда какъ *прекрасное простое* остается совершенно необъясненнымъ. А между тѣмъ, именно, съ объясненія этого послѣдняго и нужно было бы начать, такъ какъ сложное состоитъ всегда изъ соединенія другъ съ другомъ простѣйшихъ частей, а следовательно, и тѣ элементы прекраснаго, которые входятъ въ простое, необходимо должны входить и въ составъ сложнаго. Но если не вышеуказанное, то какое же иное свойство можно указать, какъ таковое, которое служило бы для объясненія красоты во всѣхъ безъ исключенія какъ простыхъ, такъ и сложныхъ вещахъ и явленіяхъ... — Плотинъ находитъ его въ особомъ *идеальномъ моментѣ*, присущемъ всему прекрасному. Матерія сама по себѣ,—разсуждаетъ онъ,—есть нѣчто безформенное и потому безобразное; для того, чтобы изъ этой безформенной матеріи произошла вещь, имѣющая определенный видъ и определенные качества, необходимо *действие на матерію особенной силы*,—особаго *формообразующаго начала*; и такимъ началомъ являются, именно, тѣ бесконечныя въ своемъ разнообразіи идеи или образы всіхъ вещей, о происхожденіи которыхъ было сказано уже выше. Проникая собою безформенную матерію, эти образы или идеи составляютъ изъ многихъ частей единое цѣлое, каждую отдельную—вещь, и чѣмъ яснѣе выражается идея каждой вещи въ ея цѣломъ или въ отдельныхъ частяхъ, тѣмъ болѣе прекрасною становится самая эта вещь, или отдельная ея части; и напротивъ, чѣмъ темнѣе и неопределеннѣе въ ней выраженіе таковой идеи, тѣмъ болѣе безобразною она представляется. Таковъ источникъ прекраснаго въ реально существующихъ вещахъ: внутреннее, усно выраженное общеніе ихъ съ самыми ихъ прообразами или идеями,—болѣе или менне полное проникновеніе матеріи формообразующимъ началомъ, изъ котораго рождается красота какъ простого, такъ и сложнаго,

ибо и самыи эти идеи бывають и простыми, и сложными до безконечности. Плотинъ считаетъ такое объясненіе вполнѣ достаточнымъ для истолкованія явлений прекраснаго видимаго не только, поскольку это касается самыхъ формъ предметовъ, но и поскольку оно относится къ вѣщней окраскѣ ихъ, такъ какъ именно изъ этихъ двухъ элементовъ: *изъ формъ и красокъ составляется прекрасное въ вѣщахъ*. Считаетъ онъ достаточнымъ потому, что не только *формы всицей*, по его мнѣнію, имѣютъ непосредственное общеніе съ идеями, но и *краски*, присущія каждому предмету, ибо и для красокъ вообще существуютъ *особыя идеи*, которыхъ высшимъ проявленіемъ служитъ *свѣтъ и огонь*, участвующія въ большей или меньшей степени во всякой окраскѣ.

Что касается прекраснаго, воспринимаемаго черезъ посредство слуха, то и оно объясняется подобно прекрасному видимому: *красота звуковъ* зависитъ отъ болѣе или менѣе близкаго и полнаго общенія ихъ съ самыми ихъ идеями, давая въ результатѣ прекрасное простое въ области звуковъ; тогда какъ сложная красота звуковъ, красота мелодій и гармоніи, является выраженіемъ не только сложныхъ идей, соответствующихъ имъ, но и гармонического настроения самой души человѣческой, создающей эти мелодіи и гармонію звуковъ.

Наконецъ, въ живыхъ существахъ *красота*, сверхъ указанныхъ причинъ, находится въ зависимости еще отъ степени *выраженія* въ нихъ (у человѣка особенно въ *его лицѣ*) *внутренняго характера*, каковымъ выраженіемъ сила краски значительно увеличивается. А что это действительно такъ, особенно ясно видно изъ простого сравненія красоты одного и того же существа, рассматриваемаго при *жизни его и по смерти*: будучи мертвымъ, оно даже въ тѣ моменты, когда тѣло еще не получило никакихъ измѣненій въ своихъ вѣшнихъ формахъ, уже далеко уступаетъ по красотѣ этому же самому тѣлу, одушевленному жизнью и выраженіемъ... Таково въ существенныхъ чертахъ изслѣдованіе Плотина, поскольку оно касается *красоты формальной*, познаваемой нашими вѣшними чувствами.

Далѣе должна быть разсмотрѣна *красота духовная въ ея существѣ и проявленіяхъ*. Въ чемъ заключается самая

сущность духовной красоты; гдѣ лежитъ источникъ ея и каковы постоянныя и общія для всѣхъ ея проявленій характерныя особенности... — *Душа человѣческая*, — утверждаетъ Плотинъ, — состоитъ изъ двухъ различныхъ частей: одна изъ нихъ представляетъ собою нѣчто, подобное тому, чѣмъ является въ чувственномъ мірѣ безформенная матерія; другая подобна идеальному формообразующему началу и представляетъ собою ту высшую часть души, которая можетъ быть названа въ тѣсномъ смыслѣ слова „духомъ“. Такимъ образомъ для того, чтобы могла получить начало красота духовная, душа человѣческая не нуждается въ проникновеніи ея особеною, внѣ ея находящеюся силою, особеною формообразующею идеей, (какъ это необходимо бываетъ для зарожденія красоты тѣлесной изъ безформенной матеріи); ибо въ самой душѣ человѣческой заключаются оба тѣ элемента, которые необходимы для образованія духовной красоты Въ ней находится и матеріалъ, соответствующій безформенной матеріи, и высшее идеальное начало, которое не есть литье простое отраженіе идеи, но самая уже идея, и которое поэтому, проникая собою, подобно идеѣ, нисшее безформенное начало, поражаетъ въ своемъ соединеніи духовную красоту. Эта духовная красота имѣетъ различные степени высоты, — и первую, нисшею изъ нихъ является красота той дѣятельности человѣка, которая направлена на внешній, чувственный міръ явлений, которая проявляется въ сферѣ практической дѣятельности человѣка; тогда какъ высшую ея степенью служить *красота*, направленная на самый разумъ, какъ источникъ всѣхъ существующихъ идей, — *красота интеллекта*, оперирующая съ высочайшими истинами разума и приобрѣтающая отъ общенія съ міровымъ Разумомъ (*Noûs*) то прекраснѣйшее изъ свойствъ души человѣческой, которое называется *мудростью*. Таковы тѣ общіе основные принципы, на которыхъ покоятся эстетическія воззрѣнія Плотина, и такова сущность его ученія о красотѣ тѣлесной, ощущаемой, и красотѣ духовной.

Если мы обратимся теперь къ изслѣдованію всего вышезложеннаго съ цѣлью опредѣлить, *въ какомъ отношеніи находится эстетическое ученіе Плотина къ соотвѣтствую-*

ициль частямъ философской системы Платона, то увидимъ слѣдующее. Прежде всего по отношенію къ истолкованію обоими философами самаго происхожденія красоты во всѣхъ ея подраздѣленіяхъ. Утверждаютъ обыкновенно, что ученіе по этому вопросу Плотина есть не что иное, какъ нѣсколько видоизмѣненное ученіе самого Платона. Такое утвержденіе оказывается въ дѣйствительности справедливымъ въ значительной степени. Какъ было показано выше, *Плотинъ дѣйствительно сходился съ Платономъ въ томъ существенномъ и важнѣйшемъ пункте, что красота всего существующаго имѣетъ своимъ источникомъ общеніе безформенной матеріи съ тѣми формообразующими идеями, отъ большей или меньшей яркости проявленія которыхъ зависитъ и болѣе или менѣе высокая степень красоты*

Сходны далѣе и возрѣнія обоихъ философовъ на сравнительную цѣнность явленій красоты тѣлесной и красоты духовной, причемъ и тотъ, и другой отдаютъ рѣши-
тельное преимущество, именно, явленіямъ послѣдней изъ нихъ, усматривая въ разумѣ наивысшую ступень сущес-
твующаго прекраснаго.

Но за предѣлами только что указанныхъ существен-
ныхъ пунктовъ сходства между возрѣніями обоихъ фило-
софовъ начинается между ними явственное различіе. Такъ,
напр., у *Плотина есть признанія существованія отдельной*
идеи красоты, о которой говоритъ Платонъ въ „Федре“ и
общеніе съ которой или отблескъ которой представляется
Платону необходимымъ сверхъ общенія предмета съ его
идеей для того, чтобы предметъ сдѣлался прекраснымъ.
Взамѣнъ этого у Плотина находитъ себѣ мѣсто *признаніе*
красоты всѣхъ вообще идей, такъ что *царство идей* является
вмѣстѣ съ тѣмъ и царствомъ красоты. Такимъ образомъ
у него оказывается потерянной мысль о необходимости вы-
дѣленія для прекраснаго особаго, совершенно самостоятель-
наго положенія и значенія среди другихъ категорій сущес-
твующаго. Несходны затѣмъ и возрѣнія обоихъ филосо-
фовъ на духовную красоту въ томъ отношеніи, что въ то
время какъ у Платона она объясняется, общеніемъ души
человѣческой съ тою или иною нравственною идеей,—у Пло-

тина мъсто такой посторонней идеи заступасть самая душа, которая, по его ученію, являясь порожденіемъ верховнаго мірового разума, оказывается по существу своему тождественною съ самой идеей и, слѣдовательно, не нуждается для образованія красоты ни въ чемъ постороннемъ...

Ограничиваюсь тутъ указаніемъ вышеприведенныхъ моментовъ соотношенія между эстетическими воззрѣніями обоихъ философовъ, мы переходимъ теперь къ ученію Плотина о прекрасномъ въ искусствѣ и объ отношеніи его къ прекрасному, пребывающему въ природѣ.

Сравнивая одни съ другими проявленія красоты, существующей въ самой природѣ, съ одной стороны, и красоты, воспроизведенной въ искусствѣ, съ другой,—Плотинъ отдаетъ первымъ изъ нихъ явное предпочтеніе передъ вторыми въ однихъ отношеніяхъ, тогда какъ въ другихъ отношеніяхъ, напротивъ, признаетъ существенные преимущества за прекраснымъ въ искусствѣ.

Весь существующій міръ, вся вселенная въ ся цѣломъ,—учитъ философъ,—представляетъ собою картину вѣчной и бѣзконечной красоты, гдѣ всякая самая ничтожная мелочь, входя какъ необходимая составная часть въ свое цѣлое, содѣйствуетъ совершенству всего этого цѣлага. Та же бѣзконечная мудрость, красота и совершенство явственно раскрываются созерцанію и при разсмотрѣніи устройства каждого отдельнаго существа, входящаго въ составъ вселенной: каждого растенія, каждого животнаго; минералла, металла и т. д. до бѣзконечности. Повсюду—та высочайшая гармонія и совершенство, которые ясно свидѣтельствуютъ о бѣзконечномъ совершенствѣ и красотѣ создавшаго всю вселенную разума. Даже самые, такъ называемые, ужасы и безобразія, находящія себѣ нерѣдко мѣсто въ природѣ, нисколько не уменьшаютъ красоты цѣлага: подобно тому, какъ въ произведеніяхъ живописи тѣни служатъ для того, чтобы тѣмъ ярче выдѣлить въ картинѣ свѣтовые эффекты; подобно тому какъ въ музыкальныхъ пьесахъ послѣ нѣсколькихъ, предумышленно созданныхъ диссонансовъ, тѣмъ глубже чувствуется вся прелесть возникшей гармоніи, а въ драмѣ рѣчи и подвиги какого-либо героя кажутся еще болѣе возвышен-

ными, будучи представлены зрителю рядомъ съ пошлыми и низкими рѣчами и поступками какого-либо раба или недостойнаго человѣка;—такъ и *кажущіеся недостатки*, встречающіеся въ нѣкоторыхъ изъ существующихъ вещей, служатъ лишь къ вящему блеску цѣлаго, неувидаемая красота котораго не претерпѣваетъ отъ этихъ кажущихся недостатковъ никакого ущерба. Такова красота существующаго реальнаго міра самой природы. *Красота, находящая себѣ выраженіе въ искусстве, можетъ быть и ниже, и выше красоты, пребывающей въ природѣ*, смотря по тому, въ какомъ отношеніи она стоитъ къ этой послѣдней. *Искусство можетъ ограничиваться, и во многихъ случаяхъ действительно ограничивается, только простымъ подражаніемъ вещамъ и явленіямъ, существующимъ въ природѣ.* Очевидно, что красота, заключающаяся въ произведеніяхъ такого искусства, не можетъ по высотѣ своей стоять наравнѣ съ тою красотой, которая служила для нея оригиналомъ, первообразомъ.—И это тѣмъ болѣе, что воспроизведенная въ подражаніи чисто вѣшнимъ образомъ *красота, будучи перенесена изъ природы въ искусство, теряетъ* при этомъ именно то, что даетъ ей въ природѣ особенную цѣнность,—*теряетъ ту жизненность*, которая ставитъ даже посредственное прекрасное въ живой природѣ выше всякой красоты въ безжизненныхъ произведеніяхъ искусства.

Но не всегда однако искусство ограничивается простымъ подражаніемъ тому, что уже ранѣе существовало въ природѣ. Во многихъ случаяхъ художникъ поднимается въ своемъ творческомъ одушевлѣніи далеко выше всего того, что становится доступнымъ сознанію человѣка при помощи вѣнчанихъ его чувствъ. Онъ уже не подражаетъ тогда ничему изъ всего того, что можетъ быть видимо или слышимо, но обращается уже *прямо и непосредственно* къ тому безконечному міру красоты въ ея первоисточнике,—къ тому самому міру идей, изъ котораго и самая природа получаетъ всю свою красоту.

Тогда и прекрасное, находящее себѣ воплощеніе въ произведеніяхъ этого художника, будетъ уже много выше прекраснаго, существующаго въ природѣ, поскольку тако-

вымъ бываетъ все вообще разумное и совершающее съ определеною цѣлью,—выше потому, что въ то время какъ въ природѣ воплощеніе идей въ отдельныхъ предметахъ совершается безсознательно и потому случайно, въ идеальныхъ произведеніяхъ искусства оно является напротивъ совершенно сознательнымъ, преднамѣреннымъ, совершающимъ съ определенными цѣлями. Отсюда, какъ слѣдствіе, что сама природа оказывается бессильна— поправить дѣло въ тѣхъ случаяхъ, когда проявленіе идей въ той или другой вещи осуществилось въ недостаточно сильной степени и, слѣдовательно, вещь оказалась недостаточно прекрасною; въ произведеніяхъ искусства, напротивъ, наиболѣе важная роль достается на долю самого художника, который, имѣя передъ собою въ созерцаніи первообразъ создаваемаго, получаетъ возможность избирать для воплощенія такового въ искусствѣ и наиболѣе соотвѣтствующія формы, отбрасывая все случайное и непригодное. Поэтому, если бы только не сопротивленіе, которое встрѣчаетъ художникъ со стороны безформенной и косной матеріи, и которое не даетъ возможности передать въ своемъ произведеніи цѣликомъ все представляющееся ему въ созерцаніи,—то красота создаваемыхъ имъ произведеній могли бы равняться красотѣ самыхъ ихъ первообразовъ, красотѣ самыхъ идей...

Таково,—согласно Плотину,—отношеніе прекраснаго въ искусствѣ къ прекрасному природы. Различая по существу результаты дѣятельности художника, занимающагося простымъ копированиемъ дѣйствительности, отъ результата творческой дѣятельности художника идеалиста, (въ указанномъ выше смыслѣ), и давая тѣмъ и другимъ совершенно различную оценку, онъ возвышается такимъ образомъ до пониманія всего многоразличного содѣржанія искусства во всемъ его разнообразіи. И въ этомъ отношеніи Плотинъ, несомнѣнно, долженъ быть поставленъ значительно выше своего аттическаго учителя,—выше Платона, у котораго смутное, неясное пониманіе различія между идеалистическимъ и реалистическимъ направленіями въ искусствѣ при неумѣніи ввести объясненіе послѣдняго изъ нихъ въ свою идеалистическую по существу эстетическую теорію, поро-

дило, какъ мы видѣли, только цѣлую массу непримиримыхъ противорѣчій, въ истолкованіяхъ различныхъ явлений искусства, главнымъ образомъ, въ отношеніи самыхъ процессовъ творчества у художниковъ, ихъ создающихъ.

Въ то же самое время однако по *внѣшнему изложению* своихъ эстетическихъ взглядовъ *Плотинъ* далеко уступаетъ *Платону*, этому поэту философу, рѣчи которого о прекрасномъ чаще всего были проникнуты, какъ мы слышали, глубокимъ и искреннимъ вдохновеніемъ, въ противоположность сухому, безжизненному, хотя и строго послѣдовательному философскому изложению *Плотина*.

Квинтиліанъ.

Въ послядующихъ лекціяхъ мы будемъ говорить о теоріи того рода искусства, къ подробному разсмотрѣнію котораго въ предшествующихъ нашихъ чтеніяхъ еще не представлялось случая, а именно, о теоріи *ораторскаго искусства*, или такъ наз. *краснорѣчія*. Богатѣйшимъ и вмѣстѣ съ тѣмъ надежнѣйшимъ источникомъ, изъ котораго мы имѣемъ возможность почерпать интересующія насъ свѣдѣнія по этому предмету, является обширное сочиненіе одного изъ крупнѣйшихъ представителей ораторскаго искусства въ классическомъ Римѣ, по имени Марка Фабія Квинтиліана,— сочиненіе, состоящее изъ 12 большихъ книгъ „риторическихъ наставленій“ и написанное имъ по настоянію многочисленныхъ его друзей въ руководство для всѣхъ, кто желалъ-бы посвятить свои силы ораторской дѣятельности *). Въ нашихъ цѣляхъ мы извлекаемъ изъ этого обширнаго труда только нѣкоторыя важнѣшія его части, а именно тѣ, въ которыхъ авторъ трактуетъ *о краснорѣчіи, какъ обѣ искусства*, опуская здѣсь всѣ тѣ, гораздо болѣе много-

*) *Quintilianis institutionis oratoriae I. XII* rec. Bonnell. Lips. 1882. На русскомъ яз. существуетъ переводъ академика Алекс. Никольского; Спб. 1834 г. I—II т. Cr. Walter: die Geschichte der Aesthetik im Altertum S. 815—819; M. Schasler: krit. Gesch. d. Aesthetik, S. 220—221.

численныя его части, въ которыхъ говорится о *технической* сторонѣ дѣла: о воспитаніи оратора съ самыхъ первыхъ лѣтъ его дѣтства до полной зрѣлости, о выборѣ учителей для обученія этихъ будущихъ ораторовъ, о различныхъ видахъ рѣчей и о раздѣленіи каждой рѣчи на части, о доказательствахъ во всякой изъ нихъ и особенно рѣчахъ судебныхъ и т. д., и т. д., коротко говоря, обо всемъ томъ, что является результатомъ уже не искусства, а болѣе всего науки и фактическаго примѣненія ея въ судебнѣй по преимуществу практикѣ каждого оратора.

Предлагая своимъ читателямъ собраніе правилъ, относящихся къ ораторскому искусству, Квинтилліанъ старается прежде всего установить самую *возможность и необходимость* такихъ правилъ, составляющихъ собою *теорію краснорѣчія*. Многіе,—говорить онъ (кн. 2, гл. 12)—утверждаютъ, что для всякаго, кто желаетъ сдѣлаться ораторомъ, такія правила—излишни и бесполезны, такъ какъ для каждого оратора будто-бы оказывается совершенно достаточно его природныхъ дарованій, да нѣкоторыхъ еще упражнений въ говореніи рѣчей въ судахъ и другихъ публичныхъ мѣстахъ. И такимъ образомъ думаютъ не только люди, непосвященные въ тайны ораторскаго искусства, но нерѣдко и сами ораторы, какъ это видно изъ примѣра того ритора, который, будучи спрошенъ о томъ, что такое есть риторическая фигура и что такое есть сужденіе и т. п. отвѣчалъ: „ничего этого я не знаю, но въ случаѣ надобности вы найдете все это въ моихъ рѣчахъ“.—Трудно забавнѣе признаться въ собственномъ своемъ невѣжествѣ. Говорятъ кромѣ того, что для всѣхъ создаваемыхъ въ учебникахъ правилъ краснорѣчія въ дѣйствительности не можетъ быть сдѣлано никакого примѣненія къ практикѣ, потому будто-бы, что всякий отдельный случай, требующій произнесенія рѣчи, бываетъ обыкновенно не похожъ на всѣ остальные, а значитъ и самыя правила, сочиненные для одного изъ нихъ, окажутся непригодными для другихъ. Но развѣ, спрашивается Квинтилліанъ, заимствуя примѣръ изъ другой области,—оказываются излишними и бесполезными напримѣръ *правила тактики* для полководцевъ въ виду того, что

войско имѣть и безъ этихъ правилъ собственную силу и храбрость и что въ каждомъ отдельномъ сраженіи и условія мѣстности, и численность непріятельскихъ войскъ и т. д. не похожи на условія, при которыхъ даются другія сраженія...—Нѣтъ,—отвѣчаетъ онъ (кн. 2, гл. 14)—и тамъ, какъ и здѣсь—и для полководца, какъ и для оратора, полезны и необходимы такія правила, которыя, не охватывая каждого отдельного случая во всѣхъ его мелочахъ и подробностяхъ тѣмъ не менѣе устанавливали бы нѣчто общее между всѣми отдельными случаями, а это-то общее и есть, именно, наиболѣе важное и существенное для всѣхъ нихъ. Стало быть, правила эти устанавливали бы законы для важнѣйшаго и существеннаго, оставляя свободу оратору въ менѣе важныхъ подробностяхъ.—Разрѣшивши въ такомъ положительному смыслѣ вопросъ о возможности и необходимости какихъ либо правилъ для краснорѣчія, авторъ считаетъ необходимымъ разрѣшить вслѣдъ затѣмъ и другой вопросъ, стоящій съ первымъ въ непосредственной связи, а именно: *самое краснорѣчіе можетъ-ли быть признано искусствомъ*, и если да, то *къ какому виду* его оно можетъ быть отнесено и въ чёмъ его *содержаніе*?

Многіе думаютъ,—говоритъ онъ (кн. 2, гл. 18), что краснорѣчіе является въ дѣйствительности только *даромъ природы* и что человѣкъ, счастливо одаренный самою природой, способенъ и безъ всякой науки оказаться хорошимъ ораторомъ во многихъ случаяхъ,—особенно въ тѣхъ, когда дѣло касается близко его самого. Такого мнѣнія былъ между прочимъ и известный ораторъ Лисій, который указывалъ въ подтвержденіе своего мнѣнія на то, что и люди совсѣмъ неученые и изъ самаго низкаго сословія, когда они *защищаютъ свои жизненные интересы*, обнаруживаютъ естественнымъ образомъ въ своихъ рѣчахъ нѣчто, похожее и на вступленіе, и на повѣствованіе, и на доказательство и опроверженіе, и все это заканчиваютъ просьбою, которая и служитъ естественнымъ заключеніемъ рѣчи.—Другіе приводятъ въ подтвержденіе своего мнѣнія еще и то, что краснорѣчіе существовало еще раньше, чѣмъ появились на свѣтѣ какія бы то ни было собранія правилъ для ора-

торовъ, и каждый тогда самъ защищалъ свои дѣла, не зная никакихъ учебниковъ риторики. На всѣ такіе доводы,—по мнѣнію Квинтиліана,—можно отвѣтить слѣдующимъ образомъ. Нѣтъ сомнѣнія, что *природа даетъ начало и краснорѣчію въ такой же степени, какъ и всѣмъ вообще искусствамъ*: подобно тому, какъ еще ранѣе существованія какихъ-либо правилъ реторики люди говорили, защищая свои интересы,—такъ они же еще ранѣе существованія какихъ бы то ни было правилъ архитектуры строили свои шалаши и рыли пещеры, и ранѣе появленія законовъ гармоніи и мелодій пѣли свои дикія пѣсни. Но какъ отъ этого элементарнаго умѣнья строить себѣ шалаши и пещеры они дошли до высочайшаго умѣнья создавать великолѣпные храмы и другія подобныя зданія, каковое умѣніе единственное и можетъ быть названо искусствомъ; а отъ нестройныхъ криковъ и дикихъ пѣсенъ возвысились до прекраснѣйшихъ произведеній позднѣйшаго музыкального искусства, такъ и въ умѣніи говорить—отъ нескладныхъ и беспорядочныхъ, хотя иногда и проникнутыхъ чувствомъ, рѣчей они сумѣли подняться до построенія такихъ блестящихъ, живыхъ, глубокихъ по содержанію и стройныхъ по формѣ рѣчей, какія столь часто исходили изъ устъ корифеевъ ораторскаго искусства, подобныхъ Демосеену, Исократу и многимъ другимъ. Итакъ, *не всякий, кто говоритъ, есть ораторъ, и не всякая рѣчь есть произведеніе ораторскаго искусства.* Но когда же,—спрашивается,—умѣніе произносить рѣчи становится, наконецъ, искусствомъ, а самыя рѣчи дѣлаются истинными произведеніями такового?..

Искусство начинается вообще тамъ, где одни природные дарованія оказываются уже недостаточными для достижения опредѣленной поставленной цѣли. Это случается обыкновенно въ тѣхъ случаяхъ, когда предметъ, подлежащий созданію, оказывается настолько сложнымъ, а самыя средства для осуществленія его настолько неясными или представляющими столь крупныя затрудненія, что природные дарованія человѣка, какъ бы велики они ни были сами по себѣ, уже недостаточны для того, чтобы разобраться во всей этой сложности матеріяла, ни для того, чтобы справиться

съ многочисленными трудностями, какія представляются въ самыхъ средствахъ для осуществленія намѣченной цѣли. Тогда то, именно, приходятъ на помощь *правила искусства*, которые имѣютъ въ этихъ случаяхъ значеніе учредителей порядка и указателей кратчайшаго и вѣрнѣйшаго пути къ достижению поставленной цѣли среди всѣхъ этихъ многочисленныхъ трудностей. Итакъ, пока человѣкъ пользуется только одними своими *природными дарованіями*, онъ дѣйствуетъ обыкновенно *на удачу*; тогда какъ возвышаясь въ какой-либо сферѣ дѣятельности до *искусства*, онъ слѣдуетъ уже *по точно и ясно обозначеному пути*, указываемому тѣми определенными правилами, которыя выработаны для каждого вида искусства предшествующимъ опытомъ и наблюдениемъ. Все это относится въ такой же степени и къ ораторскому искусству, какъ и ко всѣмъ другимъ родамъ искусства вообще.

Установивши такимъ образомъ для краснорѣчія значеніе искусства, авторъ риторическихъ наставлений рассматриваетъ ближе самое его *содержаніе и задачи*. Что такое представляетъ собою *ораторское искусство по своему содержанію и ближайшимъ задачамъ...*—Чаще всего,—замѣчаетъ Квинтиліанъ (кн. 2, гл. 16),—говорятъ, что *краснорѣчіе заключается въ способности и силѣ убѣждать во всемъ томъ, что желательно доказать оратору*. Мнѣніе это раздѣляли такие крупные ораторы, какъ Исократъ и Горгій, изъ которыхъ первый называлъ риторику прямо созидательницею, „творительницею убѣжденія“

Но вѣдь *убѣждаютъ* во многихъ случаяхъ и деньги (напр. взятки) и *власть говорящаго* (напр. приказанія начальствующаго лица), и одинъ даже *внѣшній видъ*, (какъ это послѣднее видно, напримѣръ, изъ случая съ знаменитою Фриной, для которой достаточно было вмѣсто всякой защиты обнажить передъ судьями свою красоту, чтобы получить оправданіе). Необходимо поэтому въ такое определеніе ораторского искусства ввести тотъ *элементъ*, который присутствиемъ своимъ обыкновенное умѣніе говорить что-либо и *убѣждать въ чемъ либо, дѣлаетъ, именно, краснорѣчіемъ*; а этимъ-то элементомъ и служить *красота рѣчи*.

Отсюда и опредѣленіе краснорѣчія должно быть таково: *оараторское искусство, или краснорѣчіе, состоитъ въ умѣніи хорошо, красиво говоритьъ съ цѣлью убѣдить слушателей въ томъ, что оаратору кажется необходимымъ или желательнымъ.* Но не достижение этой послѣдней цѣли является наиболѣе важной задачею оараторского искусства, а именно *самый процессъ создания прекрасныхъ рѣчей;* поэтому хотя оараторъ, говоря передъ судьями, обыкновенно и старается выиграть защищаемое имъ дѣло, однако если онъ, сказавши прекрасную рѣчь, и не достигъ желаемаго успѣха по дѣлу, онъ все-таки достигъ желаемаго успѣха важнѣйшей цѣли, съ точки зренія искусства, ибо сказалъ *прекрасную рѣчь.*

Мы опускаемъ здѣсь тѣ многочисленныя главы „риторическихъ наставлений“ Квинтиліана, въ которыхъ трактуется о чисто техническихъ частяхъ риторики, (каковы, напр., дѣление подлежащихъ оаратору дѣлъ на виды и выраженіе особенностей каждого изъ нихъ; раздѣленіе каждой рѣчи на составныя ея части и раскрытие значенія и содержанія каждой изъ нихъ; о доказательствахъ и опроверженіяхъ, по преимуществу въ судебныхъ дѣлахъ и т. д.) и обращаемся непосредственно къ разсмотрѣнію тѣхъ средствъ, съ помощью которыхъ можетъ быть достигнуто осуществленіе важнѣйшихъ задачъ краснорѣчія. — Уже въ главѣ о воспитаніи оаратора (кн. I, гл. 10) авторъ риторическихъ наставлений говоритъ о необходимости обращать особенное вниманіе на такія *внѣшнія*, формальныя стороны въ каждой рѣчи оаратора, какъ его *произношеніе и жесты*, сопровождающіе рѣчь. Въ одной изъ послѣдующихъ книгъ (кн. II, гл. 3) онъ уже подробно рассматриваетъ вопросъ о тѣхъ внѣшнихъ условіяхъ, которые оказываются необходимыми для успѣха оараторской рѣчи.

Когда Демосеена спрашивали, *какую часть въ краснорѣчіи онъ считаетъ первою, главнѣйшею*, онъ отвѣчалъ, что считаетъ таковою *произношеніе*; и на послѣдующіе вопросы о томъ, *какую часть онъ признаетъ по важности второю, третьей и т. д.*, онъ отвѣчалъ все то же „*произношеніе*“, до тѣхъ поръ, пока его не перестали спрашивать. Этимъ *оригинальнымъ* отвѣтомъ Демосеенъ старался указать спра-

шивающимъ на необыкновенно важное значеніе произношенія для успѣха каждой рѣчи, какъ бы хороша она ни была по своему содержанію. И дѣйствительно,—замѣчаетъ Квинтиліанъ,—каждый знаетъ по опыту, какъ часто одна и та же рѣчь или вообще какое-либо произведеніе поэзіи или прозы измѣняетъ для слушателей свое значеніе, убѣдительность и красоту, благодаря хорошему или дурному ихъ чтенію, благодаря большему или меньшему умѣнью—произнести ихъ, какъ должно. Можно было бы даже сказать, что никакое доказательство не способно показаться слушателямъ достаточно убѣдительнымъ, если оно не будетъ поддержано соотвѣтствующей интонаціей, какъ, напр., никто не повѣрилъ бы намъ, еслибы мы стали умолять—помочь нашему тяжкому горю равнодушнымъ веселымъ голосомъ и съ улыбкой на устахъ. Вообще сила произношенія такова, что уже съ помощью его одного, помимо даже качествъ самаго содержанія, ораторъ можетъ и возбуждать смѣхъ, и извлекать у слушателей слезы, и вызывать иные аффекты,—и это даже въ тѣхъ случаяхъ, о которыхъ мы подлинно знаемъ, что они выдуманы (какъ, напр., въ сочиненіяхъ поэтовъ); а тѣмъ большее значеніе имѣеть произношеніе въ обстоятельствахъ истинныхъ, дѣйствительно совершающихся.

Каковы же могутъ быть *правила для произношенія...* Одного пользованія только тѣмъ, что даетъ въ этомъ отношеніи сама природа, вѣсма часто оказывается недостаточнымъ. Во многихъ случаяхъ голосъ человѣка, готовящагося въ ораторы, бываетъ то слишкомъ слабъ, то слишкомъ грубъ, то страдаетъ хриплостью и иными недостатками, не говоря уже о томъ, что нерѣдко говорящій не въ состояніи бываетъ выговаривать нѣкоторые буквы алфавита или явственно заикается, что прямо уже должно быть признано органическимъ порокомъ въ произношеніи. Является необходимость—выработать голосъ *твердый, достаточно приятный и всегда послушный нашей собственной воли*,—умѣть заставить и языкъ, и грудь, и гортань повиноваться всегда и во всемъ нашему желанію... И авторъ „риторическихъ наставлений“ даетъ отъ себя длинный рядъ указаній отно-

сительно того, какъ должно воспитывать свой голосъ и какія заботы должно прилагать къ произношенію для того, чтобы достигнуть такой именно цѣли. Важнѣйшимъ изъ всего того, къ чему долженъ стремиться ораторъ въ этомъ отношеніи, служитъ *достиженіе умѣнья*—всегда слѣдовать въ своей интонаціи за тѣмъ внутреннимъ настроениемъ, которымъ проникнута каждая часть ораторской рѣчи. Наилучшимъ результатомъ такого умѣнья является естественность рѣчи, которая многими ораторами признается наивысшимъ ея достоинствомъ. Другими выдающимися достоинствами рѣчи съ вѣшней ея стороны могутъ быть признаки: *ровность рѣчи* и вмѣстѣ съ тѣмъ *разнообразіе интонаціи*, къ достижению которыхъ также долженъ стремиться ораторъ. Для того, чтобы рѣчъ его не казалась какъ бы припрыгивающею или хромающею, она должна быть чужда всякихъ неумѣстныхъ повышеній и пониженій голоса, всякихъ рѣзкихъ выкрикованій, слѣдя за развитиемъ настроения въ самомъ содержаніи лишь постепенно и оставаясь такимъ образомъ всегда ровною, что однако отнюдь не должно смѣшиваться съ рѣчью монотонною, лишенную какихъ-бы то ни было повышеній и пониженій голоса. Что касается разнообразія въ интонаціи, то оно приходитъ естественно вмѣстѣ съ разнообразіемъ самого содержанія рѣчи, и потому, чтобы достигнуть его въ интонаціи, необходимо озабочиться о достижениіи его въ внутреннемъ содержаніи рѣчи. Самый же смыслъ и значеніе этого разнообразія въ рѣчи таково, что съ помощью его возобновляется вниманіе слушателей, устающее отъ однобразнаго чтенія или рѣчи, и въ то же время разлічіе въ степени напряженія голоса облегчаетъ трудъ и для самого оратора. Немалое достоинство составляетъ также умѣніе оратора—во время и незамѣтно для слушателя переводить дыханіе въ моменты тѣхъ краткихъ остановокъ которыхъ могутъ быть сдѣланы между отдѣльными предложениями рѣчи: должно стремиться научиться и своимъ дыханіемъ управлять такъ же свободно, какъ и модуляціями своего голоса для того, чтобы умѣть останавливаться не тамъ, гдѣ

дыханіе уже доведено до истощенія недостаткомъ самого воздуха, а тамъ, гдѣ остановка представляется самому оратору наиболѣе желательной и естественной. Нечего уже и говорить о томъ, что рѣчь каждого оратора должна быть совершенно чужда такихъ органическихъ недостатковъ произношенія, какъ неумѣніе выговаривать тѣ или иные буквы алфавита или явное заиканіе. Какимъ же образомъ возможно прійти къ обладанію всѣми этими достоинствами?...— Лучшимъ и вѣрнѣйшимъ средствомъ для этого,—отвѣчаетъ Квинтиліанъ,—служитъ частое упражненіе въ произнесеніи рѣчей. Упражненіемъ и навыкомъ,—говорить онъ,—преодолываются всякія затрудненія: чтобы достигнуть великаго умѣнія—управлять по своему желанію своимъ голосомъ, и дыханіемъ, заставляя ихъ свободно слѣдовать за мыслю, необходимо не щадить ни времени, ни труда на старательное и частое упражненіе въ произнесеніи рѣчей на самые различные темы, заучивая для этого образцы рѣчей знаменитыхъ ораторовъ разнообразнаго содержанія. Такъ, именно, и поступали многіе изъ извѣстныхъ представителей ораторскаго искусства, и успѣшность такого метода видна между прочимъ изъ примѣра великаго Демосѳена, ибо этотъ славный ораторъ воспиталъ свое дыханіе и голосъ тѣмъ, что, не переводя дыханія, старался прочитывать, и притомъ съ должнымъ выражениемъ, огромное количество стиховъ; а для того, чтобы научиться свободнѣе произносить слова, накладывалъ подъ языкъ маленькихъ камешковъ и такимъ образомъ произносилъ свои рѣчи.

Но достижениемъ вышеуказанныхъ качествъ не должны исчерпываться всѣ заботы оратора по отношенію къ своему искусству: каждому хорошо извѣстно, что живая рѣчь, къ какому бы предмету она ни относилась, всегда сопровождается въ большей или меньшей степени тѣлодвиженіями, т. е. жестами. Значеніе этихъ жестовъ въ рѣчи—огромно. Достаточно вспомнить хотя бы то, что у глухонемыхъ этими жестами совершенно замѣняется употребленіе словъ, изъ чего ясно слѣдуетъ, что одни уже жесты по себѣ оказываются достаточными для передачи любой конкретной мысли. Безъ содѣйствія рукъ,—говоритъ Квинтиліанъ,—всякая

рѣчъ будетъ слаба и недостаточна. Едва-ли можно перечислить всѣ тѣ движенія, къ которымъ онѣ способны, и кажется, нѣтъ почти слова, котораго нельзѧ было бы выразить при ихъ помощи. Не руками-ли мы требуемъ, пыльляемъ, отсылаемъ, грозимъ, умоляемъ, показываемъ свой страхъ, удивленіе и отвращеніе?... Не ими-ли мы показываемъ количество, величину, образъ дѣйствія?... Въ показаніи мысль и лицъ не замѣняютъ-ли онъ наручій, именъ и мысли о мысляхъ?... Да и вообще, при всемъ многоразличіи языковъ у всѣхъ племенъ и народовъ, какъ кажется, одинъ только языкъ жестовъ является общимъ для всѣхъ людей... Многое можно выразить сверхъ того и головою: согласіе, сомнѣніе, отрицаніе и т. д. Но всего выразительные бываютъ у говорящаго мимика самого лица: имъ изъявляемъ мы ласку, угрозы, веселье, печаль, высокомѣре, просьбу, покорность; на него смотритъ, его разбираетъ съ любопытствомъ слушатель, прежде даже, чѣмъ мы начнемъ говорить; изъ него видна яснѣе всего и любовь, и ненависть, пробивающаяся изъ глубины сердца наружу; часто оно выражаетъ даже болѣе того, что говоритъ самая наша рѣчъ, оказываясь способнымъ замѣнять собою самое слово... Вотъ почему ораторъ, кроме стараний о достижениіи возможнаго совершенства въ своемъ произношеніи и голосѣ, долженъ прилагать величайшія заботы и усилия къ тому, чтобы достигнуть такого же совершенства и въ тѣлодвиженіяхъ, сопровождающихъ рѣчъ и въ своей мимикѣ. Лучшей гарантіей успеха въ этомъ отношеніи служатъ тщательныя наблюденія надъ жестами, съ одной стороны, людей, рассказывающихъ что либо въ различныхъ обстоятельствахъ дѣйствительной жизни, а съ другой, надъ жестами искусныхъ ораторовъ и актеровъ, усвоившихъ себѣ изъ дѣйствительности наиболѣе выразительныя тѣлодвиженія. Другимъ непремѣннымъ условиемъ успеха является возможно болѣе старательное и частое применение результатовъ такихъ наблюдений къ собственной своей ораторской дѣятельности; иными словами, возможно болѣе частое упражненіе своихъ способностей и въ этомъ отношеніи, чему научаетъ насъ между прочимъ примѣръ того-же Демосѳена, который приготовлялся къ своимъ рѣ-

чамъ всегда передъ зеркаломъ, желая такимъ образомъ своими глазами провѣрять свои тѣлодвиженія въ отношеніи ихъ красоты и естественности. Таковы *тильнія стороны ораторскаго искусства*, которыя, обусловливая собою въ весьма сильной степени успѣхъ каждой ораторской рѣчи, являются ближайшею и наиболѣе возможною (въ смыслѣ достиженія) цѣлью для всякаго, кто желалъ бы съ помощью искусства усилить свои природныя дарованія.

По отношенію къ *содержанію самыхъ рѣчей* установить болѣе или менѣе точныя *правила* оказывается дѣломъ еще болѣе труднымъ, чѣмъ по отношенію къ виѣшнимъ качествамъ ораторскаго искусства. Возможно установить правила *распределенія* имѣющагося уже *содержанія* въ извѣстной системѣ для рѣчи; установить извѣстные *техническіе приемы* въ обращеніи съ собраннымъ уже *материаломъ*, согласно обычной судебнай практикѣ того или другого времени и народа (что и дѣлаетъ авторъ „риторическихъ наставлений“ во множествѣ главъ своего сочиненія), но *самое содержаніе* каждой отдельной рѣчи, понятнымъ образомъ, находится всякий разъ въ полной и непосредственной зависимости отъ обстоятельствъ самого дѣла. Есть однако одно свойство ораторской рѣчи, по отношенію къ которому могутъ быть установлены нѣкоторыя *общія правила*, подобно тому какъ это можно было сдѣлать относительно виѣшнихъ качествъ ораторской рѣчи. Это *свойство* *самого содержанія* рѣчи, имѣющее громадное значеніе для усїѣха ея, съ одной стороны, въ смыслѣ *выигрыша* *самаго дѣла*, а съ другой, въ смыслѣ *созданія* *высокаго образца* *истиннаго краснорѣчія* заключается въ *умѣніи оратора*—располагать *чувствами* слушателей по собственному своему желанію, приводить ихъ въ любое изъ тѣхъ настроеній, въ какихъ ему желательно видѣть ихъ: смягчать ихъ въ однихъ случаяхъ до пролитія слезъ въ другихъ—заставить смыться, негодовать и. т. д. А это умѣніе и является, такъ сказать, вѣнцомъ краснорѣчія. Доказательства въ каждой рѣчи,—замѣчаетъ въ своихъ „наставленіяхъ“ Квинтиліанъ (кн. 6, гл. 2),—рождаются всякій разъ изъ суности каждого дѣла, особенно дѣла праваго, такъ что истецъ, выигрывающій тяжбу, знаетъ только,

что былъ у него повѣренный, представлявшій его интересы и излагавшій сущность его дѣла на судѣ. Но тамъ, гдѣ нужно увлечь за собою всѣхъ судей противъ самой ихъ воли, гдѣ нужно умы ихъ отвратить отъ самаго даже размышленія объ истинѣ,—тамъ все зависитъ уже не отъ дѣла, а отъ искусства самого оратора. Этому истецъ не научить его: этого нѣтъ въ письменныхъ доказательствахъ; и если доказательства, вытекающія изъ дѣла, даютъ судьямъ такое или иное представление о правотѣ *нашего дѣла*, то *страсты*, возбужденныя въ сердцахъ ихъ ораторомъ, заставляютъ ихъ желать, чтобы оно и въ дѣйствительности было во что бы то ни стало таковыимъ, какимъ представляетъ его ораторъ. И дѣйствительно, когда судьи начинаютъ вмѣстѣ съ ораторомъ негодовать, благопріятствовать, ненавидѣть, соболѣзвновать, тогда *его дѣло* они считаютъ уже какъ бы своимъ собственнымъ, и подобно тому, какъ влюбленные не могутъ безпристрастно и строго судить о красотѣ и умѣ и сердцѣ любимаго существа, потому что глаза ихъ ослѣплены любовью, такъ и судья, предубѣжденный страстью, вызванною ораторомъ оставляетъ всякое изысканіе истины и силой этой страсти, какъ бы стремительнымъ потокомъ, уносится въ сторону, въ какую направляетъ его искусный афторъ, какъ кормчій. Тотъ кто умѣетъ по желанію своему возбуждать и направлять у слушателей различные страсти, тотъ сумѣетъ достигнуть всего. Да и дѣйствительно, развѣ не произнесенъ уже опредѣленный приговоръ, когда содержаніе рѣчи исторгаетъ у судей невольные слезы.... Итакъ, сюда-то именно ораторъ долженъ направлять всѣ свои силы, на пріобрѣтеніе такого умѣнья должны быть направлены наибольшія его старанія, ибо именно *возбужденіе чувствъ и страстей является сущностью и такъ сказать, самою душою рѣчи*. Что же можно сказать о средствахъ къ достижению такого умѣнья....—*Важнѣйшимъ* изъ нихъ для возбужденія страстей въ другихъ служитъ то, чтобы мы сами были движимы ими въ полной мѣрѣ и искренно. Если мы хотимъ выразить страданіе другого съ наибольшимъ правдоподобiemъ, мы прежде всего должны себя

самихъ поставить на мѣсто того, кто подлинно страждетъ; проникнуться сами тѣмъ настроениемъ духа, какое хотимъ сообщить и судьямъ и слушателямъ; восчувствовать сами ту страсть, которую желаемъ возбудить въ другихъ. Неужели же слушатели станутъ проливать слезы передъ ораторомъ, говорящимъ съ сухими глазами, глядящимъ беспечно?... Неужели кто-нибудь воспылаетъ гнѣвомъ, слушая оратора, у которого самого не замѣтно ни малѣйшаго признака гнѣвнаго чувства; или восчувствуетъ состраданіе къ горю, о которомъ ораторъ будетъ говорить равнодушнымъ безстрастнымъ голосомъ?... Нѣть: только огонь сожигаетъ и воспламеняетъ другіе предметы; только мокрое дѣлаетъ влажнымъ; всякая краска придаетъ только тотъ цветъ другимъ вещамъ который она сама имъетъ; толькота страсть передается судьямъ и другимъ слушателямъ, которой искренно и глубоко проникнуто самое сердце оратора.... Но,—могутъ возразить, —душевныя движенія, страсти и настроенія находятся вообщѣ вѣдь не въ нашей власти. Какимъ же образомъ сами мы можемъ восчувствовать въ любое время и по нашему желанію такія или иныя страсти, проникнуться тѣмъ или другимъ настроениемъ?. —Существуетъ,—говорить Квинтилланъ,—одна способность, которая наилучшимъ образомъ помогаетъ намъ въ этихъ случаяхъ это есть та способность, которая у грековъ носила название *фантадіа*,—способность воображенія, которая представляетъ уму нашему образы вещей отсутствующихъ съ такою жизненностью и ясностью, какъ еслибы мы ихъ видѣли и слышали передъ собою въ дѣйствительности. Кто обладаетъ этойю счастливою, живою способностью, кто умѣеть развить ея лучшія стороны до высочайшей степени,—тотъ получаетъ уже черезъ одно это возможность и силу—какъ въ себѣ самомъ, такъ затѣмъ и въ своихъ слушателяхъ вызывать съ помощью такихъ образовъ любыя страсти или чувствованія и направлять ихъ по собственному желанію. Защищая интересы семьи кого-либо, разбойнически убитаго, и желая въ себѣ самомъ, а затѣмъ и въ судьяхъ возбудить къ судьбѣ его глубочайшее сожалѣніе, пусть ораторъ представить себѣ со всею возможною яркостью потрясающую сцену убийства: коварнаго.

и злобного убийцу, нечаянно нападающего; мольбы, стенания, кровь, напрасные усилия к спасению, ужасные раны человека, пораженного и падающего под ударами убийцы; наконецъ, последние тяжкие моменты его безвременной страдальческой кончины. Пусть онъ ярко и живо представить себѣ все это,—и глубокое, искреннее состраданіе къ убитому прійдетъ уже само собою, наполнитъ сердце оратора, а отъ него при посредствѣ горячей, исполненной чувства, ораторской рѣчи передадетъ затѣмъ съ такою же живостью и къ судьямъ, и ко всѣмъ другимъ его слушателямъ. Таково это средство, имѣющееся у оратора для достиженія имъ искренности интонаціи въ произносимыхъ рѣчахъ, по отношенію къ слушателямъ—для возбужденія въ нихъ состраданія.

Однако не всегда и не во всѣхъ рѣчахъ своихъ ораторъ долженъ заботиться о возбужденіи въ слушателяхъ состраданія или иныхъ печальныхъ чувствъ. Иногда ему необходимо и важно бываетъ возбудить и смѣхъ. Въ виду этого необходимо сказать нѣсколько словъ о смѣшиномъ, согласно учению о немъ Квинтиліана (кн. 6, гл. 3).—*Отчего рождается смѣхъ? Гдѣ его причины?..*—Наблюденія показываютъ, отвѣтаетъ Квинтиліанъ, что причины эти чрезвычайно разнообразны и что среди нихъ существуютъ не только явленія *характера духовнаго*, но и явленія *чисто физическія пораждающія смѣхъ*, какъ напр. щекотаніе. Среди причинъ духовнаго характера, рождающихъ смѣхъ, можно указать нѣсколько категорій, въ которыхъ ораторъ заимствуетъ эти причины смѣха то отъ другихъ людей, осмысливаемыхъ имъ то отъ себя самого, то, наконецъ, отъ предметовъ постороннихъ. Такъ, ораторъ можетъ указать слушателямъ *уродство или какие-либо недостатки другого, тѣлесные или духовные* и однимъ этимъ уже вызывать смѣхъ у присутствующихъ, какъ это сдѣлалъ напр., К. Юлій. Ибо когда противникъ его, Гельмій Манцій, постоянно заглушая рѣчь его своими криками, многократно прерывалъ его, онъ сказалъ Манцію: „вотъ я покажу тебѣ, кто ты таковъ.“ И когда тотъ будучи сильно заинтересованъ этимъ, пересталъ наконецъ кричать и попросилъ Юлія показать ему, тотъ

указалъ пальцемъ на висѣвшую неподалеку лавочную вывѣску, на которой изображенъ былъ уродливый Галлъ, довольно сильно походившій на Манція, и такимъ образомъ возбудилъ общій смѣхъ.

Можно и себя самого сдѣлать причиною смѣха, причемъ необходимо замѣтить, что въ такихъ случаяхъ для слушателей однако должно быть видно, что сдѣлано это съ умысломъ; ибо то же самое, будучи сказано или сдѣлано по неосторожности или несообразительности, показывается обыкновенно глупостью, а будучи сказано преднамѣренно, съ умысломъ, можетъ быть признано проявленіемъ остроумія. *).

Можно, наконецъ, пользоваться самыми различными обстоятельствами, внь оратора находящимися, для того чтобы произвести въ слушателяхъ смѣхъ, причемъ въ этихъ случаяхъ уже не можетъ быть дано никакихъ опредѣленныхъ правилъ и каждый ораторъ, выбирая то или другое средство для того, чтобы разсмѣшить слушателей, долженъ полагаться на свой собственный вкусъ и чутъе, дабы не произвести въ слушателяхъ вместо впечатлѣнія смѣшного впечатлѣнія глупаго или пошлого.

Что касается значенія смѣшного въ рѣчи, то оно не сводится къ тому только, чтобы развлечь умы слушателей отъ серьезнаго и долгаго напряженія, облегчить утомленіе и прогнать возможную скучу; оно можетъ быть иногда и гораздо болѣе важнымъ, ибо прерываетъ у судей гневъ и злобу

*) Извѣстенъ, напр., случай съ ораторомъ Цепазіемъ, который защищалъ Фабриція и который разсмѣшилъ всѣхъ своею глупою неосторожностью, ибо когда онъ, думая, что произведетъ большое впечатлѣніе на судей, безпрестанно въ теченіи долгаго времени повторялъ: посмотрите на то и на то, (посмотрите, судьи, на перемѣны судьбы человѣческой, посмотрите на такие и пыльные печальные случаи его жизни, и т. д.) когда, сказавши судьямъ: «посмотрите на дряхлую старость Фабриція», обернулся назадъ, чтобы показать на него судьямъ, Фабриція уже не оказалось на мѣстѣ; оказалось что онъ, соскучившись отъ повторенія этого «посмотрите» и отчаявшись въ успѣхѣ своего дѣла, тихонько вышелъ изъ собранія, вслѣдствіи этого ораторъ и былъ самъ поставленъ въ смѣшное положеніе.

противъ подсудимаго и нерѣдко самыиъ серьезныиъ и опасныиъ дѣламъ даётъ неожидано совсѣмъ иной оборотъ, приводящій къ благополучному окончанію и спасающей подсудимаго отъ неминуемаго при иныхъ условіяхъ осужденія. (кн. 6, гл. 3.) „Доказательство этому говоритъ Квинтиліанъ, мы видимъ между прочимъ въ примѣрѣ Тарентинскихъ юношахъ, которые, бывши за веселой пирушкой, очень свободно и неосторожно поговорили о царѣ Пирре и брали его за его плохое по ихъ мнѣнію управление. Когда же обѣ этомъ сдѣланія были на нихъ доносъ и когда они не могли ни отказаться передъ царемъ отъ своихъ словъ, ни извиниться, они спаслись отъ грозившей имъ бѣды только остроумною шуткою. Ибо одинъ изъ нихъ сказалъ Пирру: „да мы бы тебя, государь, и убили за столомъ, еслибы только у насъ не совсѣмъ опустѣли бутылки“ (т. е. еслибы они еще больше выпили, то въ состояніи пьяной невмѣняемости могли бы на словахъ и убить его). И этотъ отвѣтъ ихъ заставилъ Пирра разсмѣяться и простить юношамъ ихъ легкомысленное преступленіе, за которое имъ грозила смертная казнь.—Таково значеніе смѣшнаго въ ораторской рѣчи.

Огносительно другихъ искусствъ, кроме краснорѣчія, изученіе которыхъ представляется Квинтиліану необходимымъ для оратора, должно отмѣтить, что въ числѣ такихъ важнѣйшихъ, (по его мнѣнію), является музыка.

Музыка,—говоритъ Квинтиліанъ,—уже въ самой глубокой древности была не только въ употребленіи, но и пользовалась особыеннымъ почтеніемъ, такъ что упражнявшіеся въ ней считались не обыкновенными людьми, а какъ бы вдохновенными и мудрыми. Стоитъ только вспомнить между прочими хотя бы обѣ Орфеѣ и Линѣ, которымъ приписываютъ даже божественное происхожденіе, а обѣ Орфеѣ рассказываютъ, что онъ не только поражалъ и увлекалъ своимъ пѣніемъ и музыкой самыхъ грубыхъ и невѣжественныхъ людей, но умѣлъ даже дикихъ звѣрей и самую безчувственную природу, деревья и камни—заставлять какъ бы оживать, смягчаться и двигаться подъ вліяніемъ его музыки. Самая похвала богамъ и героямъ на пиршествахъ или въ иныхъ

торжественныхъ случаяхъ обыкновенно воспѣваются при звукахъ лиры или другихъ инструментовъ, указывая тѣмъ самыемъ, что музыка имѣетъ тѣсную связь съ познаніемъ вещей божественныхъ. А если это такъ, то она оказывается важнаю и для оратора, ибо хотя познаніе предметовъ божественныхъ и захвачено по преимуществу жрецами и философами, однако и хороший ораторъ не можетъ обойтись безъ такого познанія, потому что и такихъ предметовъ, какъ религія, приходится ему касаться иногда въ произносимыхъ рѣчахъ.—*Великое значеніе музыки*,—продолжаетъ Квинтиліанъ,—признано было издавна выдающимися философскими умами. *Пиѳагоръ и его послѣдователи въ своемъ уваженіи къ музыкѣ доходили до того, что утверждалi, будто и вся вселенная сотворена была не иначе, какъ по правиламъ пріятнаго музыкального созвучія*, которому впослѣдствіи стала подражать и лира, и другія музыкальные инструменты; и это согласіе разнородныхъ существъ называли они гармоніей. Самъ Сократъ не стыдился учиться музыкѣ даже въ старости. Величайшіе полководцы считали для себя дѣломъ полезнымъ и важнымъ—обучаться игрѣ на музыкальныхъ инструментахъ. Музыкальными звуками и войска возбуждаются къ бою,—и чѣмъ сильнѣе звуки роговъ и трубъ въ легіонахъ, тѣмъ болѣе громкою оказывается самая ихъ воинская слава. Можно утверждать вообще, что сама природа вселила въ человѣка естественную потребность въ пѣніи и музыкѣ, удовлетвореніе которой не только доставляетъ удовольствіе поющему или играющему, но и содѣйствуетъ перенесенію человѣкомъ тяжелыхъ трудовъ. Что справедливо первое положеніе,—доказывается общеизвестнымъ фактомъ, что даже самое нескладное *пѣніе про себя какой-нибудь мелодіи облегчаетъ человѣку тоску его одиночества*; справедливость второго положенія оправдывается въ примѣрахъ хотя бы гребцовъ или иныхъ работниковъ, которыхъ дружное пѣніе въ тактъ возбуждаетъ къ такимъ же дружнымъ усилиямъ въ самой работе. Таково общее значеніе музыки въ человѣческой дѣятельности. Въ частности для оратора музыка имѣетъ и болѣе близкое, специальное значеніе. *Музыкальное пѣніе*, какъ известно,

заключаетъ въ себѣ три существенныхъ элемента: одни изъ нихъ относятся къ измѣненію самого голоса, другіе—къ расположению словъ въ исполняемой пьесѣ, трети—къ тѣлодвиженіямъ, сопровождающимъ пѣніе. Всѣ эти элементы оказываются необходимыми и для оратора, такъ что правила, составленныя на основаніи опыта для пѣнія, являются чрезвычайно цѣнными и для ораторскаго искусства. Въ ораторской рѣчи, какъ и въ пѣніи, звуки и самыя слова располагаются соответственно внутреннему ихъ характеру и содержанію. Такъ напр., о предметахъ высокихъ и пѣніе бываетъ болѣе величественнымъ; о предметахъ пріятныхъ—болѣе нѣжнымъ; о чувственныхъ—болѣе страстнымъ и т. д.,—во всѣхъ случаяхъ сообразно съ характеромъ чувства, которое пѣвецъ хочетъ выразить. Подобнымъ-же образомъ и у оратора всякое понижение, повышение, напряженіе голоса должны быть направляемы къ возбужденію такихъ или иныхъ страстей въ слушателяхъ: ибо однимъ голосомъ внушаляемы слушателямъ негодованіе, другимъ— состраданіе, инымъ радость и т. д. Впечатлѣніе, производимое на слушателей самимъ голосомъ оратора, должно быть признано громаднымъ: если даже музыка различныхъ инструментовъ, которая не сопровождается никакими объяснительными словами, способна одними музыкальными звуками безъ словъ приводить слушателей въ самыя разнообразныя настроенія по желанію играющаго; то ораторъ, позаимствовавшій отъ музыки нѣкоторыя пособія въ указанномъ отношеніи, съумѣетъ дѣйствовать на сердца слушателей еще съ большею силой и опредѣленностью. Лучшие ораторы въ древности хорошо сознавали важность для оратора—взять вѣрный тонъ для своего голоса въ произносимой рѣчи, и особенно ясно это видно изъ примѣра знаменитаго Гракха которому, когда онъ говорилъ къ народу, стоявшій позади него музыкантъ съ флейтою (*труа́рю*) подавалъ знать, насколько въ какомъ мѣстѣ рѣчи надлежало повышать или понижать его голосъ,—и эту предосторожность ораторъ употреблялъ даже тогда, когда произносилъ самыя мятежныя рѣчи.

Знаніе музыки,—(говорить Квинтиліанъ),—полезно оратору, наконецъ, и потому еще, что оратору нерѣдко при-

ходится цитировать въ своихъ рѣчахъ разнообразныя стихотворенія; а извѣстно, что хорошее произнесеніе стихотвореній безъ близкаго знанія музыкального ритма и интонаціи является дѣломъ по существу невозможнымъ. Вообще,— заключаетъ Квинтиліанъ свою главу, посвященную музѣ, —если я одобряю изученіе ораторами музыки то отнюдь не одобряю этимъ самыи того театрального сладострастнаго пѣнія, которое самыи губительнымъ образомъ дѣйствуетъ на нравственность. Я хочу того мужественнаго пѣнія, въ которомъ доблести однихъ мужей прославлялись другими доблестными устами. Я не хочу музыкальныхъ мелодій, возбуждающихъ въ душѣ человѣческой порочныя помыслы, я одобряю существованіе такой только музыки, которая содѣйствуетъ возбужденію въ человѣкѣ благороднѣйшихъ чувствъ и очищенію существующихъ у него низкихъ страстей.

Таково то интересное и важное содержаніе „риторическихъ наставлений“ извѣстнаго своей опытностью и знаніемъ римскаго оратора Ивѣка по Р. Хр., которое мы считали полезнымъ извлечь изъ этого обширнаго и въ высшей степени поучительнаго трактата о краснорѣчіи.

Часть II.

Очерки изъ исторіи эстетическихъ ученій новаго времени.

I.

Многовѣковой перерывъ въ исторіи развитія эстетическихъ ученій (съ III-го по XVI столѣтіе по Р. Хр.).—Важнѣйшія причины такого явленія.—Возрожденіе эстетики.

Послѣ того, какъ въ твореніяхъ Плѣтина и его современниковъ античная эстетика нашла для себя историческое завершеніе, — дальнѣйшее существованіе и развитіе ея пріостанавливается на огромный періодъ времени, охватывающій свыше 12 столѣтій средневѣковья... За этотъ долгій періодъ человѣчество не только не дѣлаетъ никакихъ новыхъ пріобрѣтеній въ области изученія вопросовъ эстетики, но даже утрачиваетъ (какъ казалось, безнадежно) и все то богатое и драгоценное достояніе, которое классическая древность успѣла создать въ теченіе цѣлаго ряда вѣковъ съ такою заботливостью, любовью и интересомъ къ вопросамъ прекраснаго въ теоретическомъ ихъ освѣщеніи, какъ и въ практикѣ творчества.

Естественно возникаетъ вопросъ о ближайшихъ причинахъ такого явленія,—о тѣхъ условіяхъ жизни въ указанную эпоху, которая по отношенію къ эстетикѣ оказывали

столь неблагопріятное, отрицательное вліяніе на ея разви-
тіе. Отвѣтомъ на этотъ вопросъ послужатъ послѣдующія
страницы¹⁾.

Справедливо называютъ классическую древность „спе-
цифически художественною“, а средневѣковье — „специфи-
чески религіозной эпохой или ступеню во всеобщей исторіи
развитія человѣчества“. И дѣйствительно, тогда какъ антична
жизнь была всецѣло проникнута элементами пре-
краснаго, а господствующимъ стремленіемъ античнаго грека
было стремленіе къ красотѣ, которое переплетаясь съ
другими теченіями культурной жизни, придавало этой по-
слѣдней характеръ высокаго изящества,—напротивъ, основ-
ныя начала, на которыхъ построена была вся культурная
жизнь средневѣкового общества, были совершенно иными.
Въ рѣзкомъ контрастѣ съ предшествующей эпохой, средневѣко-
вое общество не только не развивало тѣхъ эстетиче-
скихъ потребностей, которые для античнаго общества пред-
ставлялись важнѣйшими и серьезнѣйшими жизненными пот-
ребностями, но и совершенно игнорировало ихъ, относилось
къ нимъ съ полнымъ презрѣніемъ.

Такое полное игнорированіе являлось въ эту эпоху
совершенно понятнымъ и естественнымъ, такъ какъ мѣсто
эстетическихъ потребностей и стремлений заняли противопо-
ложнныя имъ по характеру стремленія аскетическія, а важнѣйшимъ
предметомъ изученія сдѣлались въ эпоху средневѣковья
уже не свободныя искусства и не красота, заклю-
чающаяся въ нихъ, какъ и въ созданіяхъ природы, а тео-
логія и схоластика. Съ точки зрѣнія средневѣкового аске-
тизма вся та красота, познаніемъ и воспроизведеніемъ ко-
торой такъ дорожилъ античный грекъ, — являлась предме-
томъ недостойнымъ ни изученія, ни воспроизведенія, ибо
ни то, ни другое не вело человѣка къ спасенію его грѣш-
ной души, а напротивъ, легко увлекая его грѣховными чув-

1) Ср. Max Schasler: kritische Geschichte d. Aesthetik, I, S. 254 ff.
Conrat Hermann: die Aesthetik in ihrer Geschichte, S. 71 ff.

ственными прелестями этой красоты формъ (особенно тѣла), могло погубить его душу. Такимъ образомъ, тѣ прекрасныя виѣшнія формы тѣлесныя, которая въ глазахъ представителей античнаго міра представлялись всегда носительницами прекраснаго внутренняго содержанія, (ибо форма и содержаніе отвѣчаютъ другъ другу), — эти прекрасныя формы для средневѣковыхъ аскетовъ превратились въ носительницѣ мірскихъ соблазновъ, служащихъ врагу человѣчества дьяволу наиболѣе вѣрнымъ средствомъ къ развращенію и погубленію душъ христіанскихъ...

При такомъ отношеніи средневѣкового общества къ прекрасному *порабощеніе эстетики теологіей* должно было сдѣлаться неизбѣжнымъ. Ибо если самая красота, проявляющаяся во виѣшнихъ формахъ, казалась не только недостойною изученія, но и опасною въ религіозно - нравственномъ отношеніи; — то *теоретическое изученіе вопросовъ, относящихся къ красотѣ въ ея проявленіяхъ въ природѣ и искусствѣ, естественно должно было представляться въ эпохи средневѣковья занятіемъ бесполезнымъ, ненужнымъ, по сравненію съ занятіями теологіей и другими, важными съ точки зрењія духовенства, предметами.*

Вотъ почему, съ одной стороны, въ самомъ искусствѣ среднихъ вѣковъ такъ грубо и рѣзко (за рѣдкими исключеніями), забывались драгоценнѣйшіе завѣты античныхъ художниковъ — о проведеніи во всѣхъ художественныхъ созданія принциповъ правды и красоты; а съ другой, на весь долгій и мрачный періодъ средневѣковья была позабыта и та наука о красотѣ, обѣ искусствѣ и художественномъ творчествѣ, — та эстетика, которая въ мірѣ античномъ занимала особо почетное мѣсто почти въ каждой философской системѣ и въ области которой создано было такъ много цѣннаго, интереснаго и прекраснаго...

На ряду съ только что указанными причинами религіозно-нравственного характера, измѣнившими столь кореннымъ образомъ отношеніе общества къ красотѣ и ея изученію, — на ряду съ этими причинами можно указать еще и иные, столь же естественные и общія, хотя и менѣе ярко-

выразившіяся въ рассматриваемомъ нами явленіи. Мы разумѣемъ *ризкую перемѣну*, съ одной стороны, въ составѣ тѣхъ самыхъ народностей, которымъ досталась въ средніе вѣка высокая роль—быть носительницами прогресса и культуры, а съ другой, тѣхъ условій климата и мѣста, среди которыхъ пришлось жить и дѣйствовать этимъ новымъ народамъ, которые заняли въ средневѣковой исторіи мѣста классическихъ грековъ и римлянъ.—Коротко говоря, всѣ эти новые народы были *пришлыми варварами* почти безъ всякаго культурнаго прошлаго, невѣжественными, грубыми, гиже незнакомыми съ какими—либо проявленіями высшей цивилизациі, не внесшими съ собою въ первые моменты своего новаго историческаго бытія ничего иного, кромѣ свободнаго духа политической независимости, немногихъ здоровыхъ традицій въ сферѣ общественныхъ отношеній и неукротимаго стремленія къ военной славѣ и завоеваніямъ. Не трудно понять, каково должно было быть отношение этихъ народовъ ко всему, что не входило въ сферу только что названныхъ интересовъ. Для этихъ дикихъ *пришлыхъ народовъ*, жившихъ грубою жизнью завоевателей, проводившихъ все время въ войнахъ или забавахъ воинскихъ, понятнымъ образомъ, чуждо было все то, чѣмъ увлекались никогда покоренные ими культурныя націи, и всякое иное искусство, которое не было искусствомъ ъздить на быстромъ конѣ, охотиться, сражаться съ врагами и играть въ кости съ друзьями,—ставилось ни во что, или скорѣе было вовсе имъ неизвѣстно. Оттого, если этимъ грубымъ варварамъ приходилось встрѣчать въ завоеванныхъ городахъ сохранившіяся отъ классической древности прекрасныя созданія пластики или живописи, они безсмысленно и беспощадно истребляли эти произведенія великихъ античныхъ художниковъ, не понимая ихъ цѣнности, презирая ихъ красоту... Извѣстное вліяніе на отношение новыхъ народовъ къ изученію и воспроизведенію красоты имѣла, наконецъ, еще та самая природа и окружающая обстановка, среди которой *пришлось имъ ранѣе жить и развиваться*. Въ исторіи міра античнаго условія жизни для древняго грека были иными, чѣмъ тѣ, въ которыхъ росли народы, пришедши съ далекаго сѣвера.

Благодатная южная природа, среди которой рождался и выросла античный грекъ, въ необыкновенной степени содѣйствовала развитію въ немъ чувства красоты и гармоніи, а отсутствіе тяжелой борьбы съ явленіями природы ради сохраненія своего существованія, которое возможно было поддерживать тутъ безъ большого труда, дѣлало характеръ народной и индивидуальной жизни грека особенно мягкимъ, доставляя ему сверхъ того много досуга для наслажденія прекраснымъ въ природѣ и искусствѣ и для теоретического его изученія. Напротивъ, *суровая и дикая природа съверныхъ лѣсовъ, изъ которыхъ вышли новые завоеватели*, требовала отъ человѣка постоянныхъ усилий, постоянной упорной борьбы ради простой поддержки его существованія. И такая борьба съ окружающей природой, закаляя и тѣло, и духъ, однако надолго дѣлала ихъ неспособными къ наслажденію красотами этой суровой природы, съ которой они находились въ постоянной борьбѣ, и надолго лишала ихъ спокойнаго и обеспеченаго досуга, столь необходимаго и для изученія явленій прекраснаго, и для повторенія его въ произведеніяхъ искусства.

Если такимъ образомъ мы примемъ во вниманіе всю совокупность вышеописанныхъ условій, въ которыя поставлены были новые народы по отношенію къ изученію прекраснаго, то получимъ комплексъ по крайней мѣрѣ важнѣйшихъ изъ тѣхъ причинъ, существованіе которыхъ обусловливало указанный полный застой въ развитіи эстетики въ теченіе всѣхъ среднихъ вѣковъ.—

Остается указать тутъ добавленіе къ предыдущему еще на одно любопытное явленіе, прежде чѣмъ перейти къ изложению самыхъ эстетическихъ учений въ новое время (съ 17 ст.). Явленіе, о которомъ мы говоримъ, заключается въ слѣдующемъ: моментъ возрожденія искусствъ оказался не совпадающимъ по времени съ возрожденіемъ эстетики; эта послѣдняя получаетъ въ новой исторіи жизнь и дальнѣйшее развитіе не въ ту славную эпоху, когда на поприщѣ искусства дѣйствовали такие колоссы, какъ Рафаэль, Микельянжело, Леонардо да Винчи и т. д., а только значительно

позднѣе, когда эта эпоха была уже вся пережита¹⁾). Какъ объяснить это странное на первый взглядъ обстоятельство?...—Наиболѣе простымъ и естественнымъ можно было бы признать то, объясненіе, согласно которому явленіе это поставляется въ ближайшую связь съ положеніемъ новой западно-европейской философіи. Въ то время какъ въ классической Греціи жизнь и дѣятельность величайшихъ представителей философскаго мышленія, — Сократа, Платона, Аристотеля и др., оказывалась совпадающею по времени съ эпохою высочайшаго пр旤вѣтанія античнаго искусства во всѣхъ его разнообразныхъ отрасляхъ, которая понятнымъ образомъ дѣлались предметомъ ихъ изслѣдованія,— въ эпоху ренессанса о философіи, какъ о науки, а не схоластики, не можетъ быть и рѣчи. Только съ момента появленія философскихъ ученій Декарта, Бакона Веруламскаго и ихъ послѣдователей и продолжателей, т. е. съ начала 17-го ст., философія, окончательно освободившаяся отъ тяжкихъ оковъ схоластики, вступаетъ на строго научную почву и постепенно включаетъ въ сферу своихъ изслѣдованій все большее и большее число предметовъ, къ разсмотрѣнію которыхъ настойчиво призываетъ еї самая дѣйствительность съ ея постоянно увеличивающимися фактическими запасами. Въ число этихъ предметовъ философскаго изслѣдованія были включены, наконецъ, и явленія прекраснаго и тѣмъ самымъ положено было начало новой исторіи эстетики, охватывающей такимъ образомъ періодъ съ 17 ст. вплоть до нашего времени.

¹⁾ Исключеніе составляетъ великий немецкій художникъ эпохи возрожденія, Альбрехтъ Дюреръ, въ теоретическихъ сочиненіяхъ котораго (особенно въ его изслѣдованіи «О пропорціяхъ» изд. въ 1528 г.) мы находимъ довольно яркое выраженіе сознательного и послѣдовательного реализма, основанного на самомъ тщательномъ изученіи натуры и подробныхъ измѣреніяхъ предметовъ, подлежащихъ воспроизведенію въ искусствѣ,—реализма который проповѣдуетъ Дюреръ, (Подробности см. въ нашемъ большомъ труде, подъ заглавіемъ: Альбрехтъ Дюреръ, его жизнь и художественная дѣятельность. М. 1900 г.).

Коротко говоря, въ то время какъ средневѣковая жизнь посвящена была, съ одной стороны, преслѣдованію *теологическихъ интересовъ*, а съ другой, завоевательной дѣятельности и установленію политического и соціального строя во вновь возникавшихъ тогда обществахъ на новыхъ основаніяхъ; величія силы эпохи возрожденія исчерпывались въ напряженной дѣятельности въ сферѣ худож. творчества, въ созданіи высочайшихъ образцовъ, искусства во всѣхъ его разновидностяхъ,—образцовъ которые должны были бы и могли послужить наилучшимъ материаломъ для обоснованія и подтвержденія разнообразныхъ эстетическихъ теорій. Но только тогда, когда эта творческая дѣятельность представителей возрожденія была совершенно закончена,—*движение философской мысли*, поставленной, благодаря новымъ методамъ, на новую почву, захватываетъ уже въ 17—18 столѣтіяхъ въ число предметовъ изслѣдованія также и явленія красоты въ природѣ и въ искусстве...

И только съ этого времени, послѣ перерыва въ теченіе длиннаго ряда столѣтій, продолжается дальнѣйшее развитіе эстетики, получившей въ изслѣдованіяхъ философовъ и ученыхъ различныхъ странъ: англійскихъ, германскихъ, французскихъ и другихъ,—разнообразныя направленія и по методамъ изученія, и по самому содержанію...

Нѣмецкая эстетика XVIII столѣтія. Винкельманъ и Лессингъ, какъ основатели объективной художественной критики и антиклизирующего направлениа въ новой эстетикѣ. Эстетическая воззрѣнія Винкельмана, выраженные въ его „Исторіи искусства древности“ и другихъ сочиненіяхъ.

II

Обращаясь теперь къ исторіи эстетическихъ ученій новаго времени, мы въ виду крайней ограниченности количества лекцій, отведенныхъ на этотъ предметъ, не имѣемъ ни малѣйшей возможности прослѣдить развитіе ихъ во всемъ ихъ разнообразіи и богатствѣ, которое обнаружилось за періодъ 17—19 столѣтій въ различныхъ странахъ Европы: въ Англіи, Франціи, Германии и нѣкоторыхъ другихъ. Вынужденные поэтому ограничить свой выборъ изъ всего имѣющагося у насъ богатѣйшаго и разнообразнаго—матерьяла для чтеній только одною какой-либо опредѣленною и цѣнною частью его, мы остановимся въ послѣдующихъ нашихъ члененіяхъ на тѣхъ лишь представителяхъ эстетики новаго времени, ближайшее знакомство съ которыми требуется программою испытанія по эстетикѣ, утвержденной Мин. Нар. Просв. для государственныхъ испытательныхъ комиссій (по уставу 1884 года), а именно, на двухъ самыхъ выдающихся представителяхъ нѣмецкой эстетики 18 столѣтія: Іог. Винкельманъ (1717—1768 г.) и Гот. Ефр. Лесингъ (1729—1781 г.), которые внесли въ эстетику наиболѣе цѣнныи вкладъ и выразили собою особое самостоятельное и оригинальное направление въ ней.

Направленіе это, какъ будетъ ясно изъ послѣдующаго ближайшаго ознакомленія съ самымъ содержаніемъ изслѣдований обоихъ названныхъ авторовъ, имѣло въ своемъ основаніи историко-критическое изученіе искусства античнаго и глубокий анализъ произведеній его, съ одной стороны, и изученіе эстетическихъ ученій классической древности, съ другой. То и другое, взятое вмѣстѣ, сообщило и самымъ эсте-

тическимъ взглядамъ Винкельмана и Лессинга колоритъ близкий къ античному,—придало представленному ими обоими направлению антиклизирующей характеръ, причемъ съ особенной яркостью возродилось теперь у обоихъ горячее, искреннее увлечение красотою, которою полонъ былъ нѣкогда міръ античный и въ жизни его, и въ искусствѣ, и въ философіи и эстетикѣ, а методомъ эстетического изслѣдованія избирается у обоихъ тотъ драгоценный положительный методъ изученія фактовъ, который былъ принятъ въ эстетической сферѣ Сократомъ и Аристотелемъ съ ихъ многочисленными учениками и который приводилъ и приводить всегда къ самымъ цѣннымъ успѣхамъ въ эстетикѣ, какъ и во всякой наукѣ...

Послѣ этихъ предварительныхъ замѣчаній, мы обращаемся теперь къ изложенію самыхъ воззрѣній Винкельмана на сущность и задачи античнаго искусства, на особенности красоты, заключенные въ немъ, и на другіе вопросы эстетики, связанные у него съ изученіемъ антиковъ. При этомъ материалами, изъ которыхъ почерпаются непосредственно наши свѣдѣнія объ этихъ воззрѣніяхъ *I. Винкельмана*, являются слѣдующія его сочиненія: 1) „Исторія искусства древности“ перев. Шаровой (съ Лейпцигскаго изд. 1881 г.) Ревель 1890 г. съ приложеніемъ его мелкихъ статей: а) „Мысли о подражаніи греческимъ образцамъ“; б) „Поясненіе къ мыслямъ о подражаніи в) О грации въ произведеніяхъ искусства“ *).

Не было до сихъ поръ, да и быть не можетъ,—по мнѣнію Винк.,—ни у одного изъ народовъ—искусства, столь высоко стоящаго и столь сильно содѣйствующаго своимъ произведеніямъ раскрытию самого существа прекраснаго, какъ искусство античное. „Искусство это, сохранившееся до нашего времени въ безчисленномъ множествѣ памятниковъ,—говоритъ онъ (Ист.иск. I ч., 4 гл., 1 отд.),—достойно стать предметомъ изученія и повторенія, благодаря своему высохайшему совершенству...

*) Объ эстетическихъ воззрѣніяхъ Винкельмана см. также у *Max. Schasler kritische Geschichte der Aesthetik* I. S. 380—423; *C. Hermann die Aesthetik*, S. 124—129 и друг.

Если изученіе искусства египтянъ, этрусковъ и другихъ народовъ способно расширить наши мысли и очистить наши сужденія, то изученіе искусства греческаго должно привести насъ къ истинѣ и дать намъ настоящій критеріумъ для суждений о красотѣ и для практической дѣятельности”...

Что—же такое эта красота, воспроизведеніе которой было,—по словамъ Винк,—основнымъ принципомъ греч. художниковъ и ради которой античное искусство достойно болѣе всѣхъ другихъ глубокаго изученія?—Чтобы прійти къ пониманію существа красоты, нужно пройти весьма длинный и трудный путь ея разысканія: „говоря о красотѣ,—(замѣчаетъ В., гл. 4, отд. 2)—нужно выяснить сначала общія понятія о ней, существующія теперь у большинства, и притомъ прежде всего коснувшись идеи некрасиваго, противоположной прекрасному и составляющей отрицательное понятіе красоты, а затѣмъ уже дать положительную идею ея; потомъ должно прослѣдить путь образованія красоты и, наконецъ, ея выраженія”.

Итакъ, отправимся вмѣстѣ съ Винк. по этому пути изслѣдованія. О красотѣ можно сказать то же, что Цицеронъ заставляетъ говорить Котту обожествль (*de natura Deorum*), а именно: легче сказать, что она не есть, чѣмъ то, что она есть. Красота есть одна изъ величайшихъ тайнъ природы, дѣйствие которой мы видимъ и чувствуемъ, но о существѣ которой едва-ли кто можетъ сказать что-либо, вполнѣ ясное и точное, потому что и самое понятіе о красотѣ не есть что-либо геометрически опредѣленное, а измѣнчивое и разнообразное у различныхъ людей, и мы столь-же рѣдко приходимъ къ соглашенію о сущности красоты какъ и о сущности добра, справедливости, мудрости и т. п. предметовъ. Понятно, что при такихъ условіяхъ изслѣдованіе прекраснаго вообще въ его сущности есть дѣло, весьма трудное, и самые выводы изслѣдователя едва-ли могутъ имѣть обсolutное и всеобщее значеніе тогда какъ въ болѣе тѣсной и строго опредѣленной одной какой-либо области искусства, напримѣръ, пластики, выводы эти могутъ оказываться математически точными и чрезвычайно устойчивыми. Кромѣ того изслѣдованіе прекраснаго облегчается

также тѣмъ, что раньше положительного определенія прекраснаго отыскивается противоположное, а именно то, что противорѣчитъ прекрасному. Такъ, именно, поступаетъ и Винкельманъ, ограничивая понятіе красоты указаніемъ на то, что она не есть.

1) *Истинная красота не есть*, — говорилъ онъ, — та коморая возбуждаетъ съ первого взгляда наши страсти, хотя въ дѣйствительной жизни мы видимъ часто что *правильная красота*, соответствующая законамъ искусства, — красота *возвышенная и важная*, а не *увлекающая и раздражающая*, нравится очень многимъ менѣе, чѣмъ хорошенькое, обыкновенное лицо, но подвижное и говорящее. «Причина этого, объясняетъ намъ Винк., — лежитъ не въ высшей степени красоты, которая въ дѣйствительности есть достояніе первыхъ, а не послѣднихъ изъ нихъ, но въ нашихъ страстиахъ возбуждаемыхъ у большинства уже съ первого взгляда: сердце ихъ уже полно, когда разсудокъ собирается судить о красотѣ: тогда красота не восхищаетъ насъ болѣе, а вмѣсто нея говоритъ въ насъ чуственность. Поэтому-то часто молодые люди съ возбужденными страстями боготворятъ женщинъ очень посредственной красоты, но у которыхъ черты лица дышатъ нѣгой и желаніемъ; и напротивъ, на нихъ не подѣйствуетъ видъ женщины сдержанной и скромной въ своихъ движеніяхъ, хотя-бы она обладала красотою и величавостью самой Юноны».

2) *Истинная красота не можетъ дальше заключаться въ формахъ рѣзко неправильныхъ*, — такихъ, которые слишкомъ удаляются отъ типа нормального человѣка и приближаются къ типамъ различныхъ животныхъ. Глаза, поставленные косо, какъ у кошекъ; слишкомъ длинныя руки, подобныя обезьянямъ; черезчуръ удлиненная голова, на подобіе лошадиной, и другія подобныя уклоненія отъ нормальныхъ формъ человѣка къ формамъ животнымъ являются качествами, *отрицательными* въ отношеніи красоты, — качествами, присутствіе которыхъ заставляетъ относить такой предметъ къ числу во всякомъ случаѣ не прекрасныхъ *).

*) Однако на самомъ дѣлѣ все это очень условно, если сравнить европейскіе идеалы красоты съ иными (папр. негритянскими, китайскими и др.).

3) *Истинная красота не заключается, наконецъ, и въ ка-
комъ-либо цветѣ предмета, потому что цветъ только способ-
ствуетъ красотѣ, но не есть красота сама въ себѣ. Такъ какъ
белый цветъ отражаетъ наибольшее количество лучей и,
значитъ, производитъ самое сильное впечатлѣніе, то пре-
красное тѣло, благодаря бѣлизнѣ, дѣлается еще болѣе пре-
краснымъ; но если предметъ прекрасенъ дѣйствительно, то
онъ не сдѣлается безобразнымъ при измѣненіи своего цвета,
и можетъ только въ извѣстной степени потерять или выиграть
въ своей красотѣ. Другими словами, цветъ предмета есть
лишь условіе красоты, но не самая красота. Гаковы отри-
цательные опредѣленія красоты, даваемыя Винк. относительно
общаго вида, формъ и цвета предметовъ, причемъ опредѣ-
ленія эти составляются весьма просто исключениемъ тѣхъ
свойствъ, которыя не представляютъ собою существа кра-
соты. Гораздо труднѣе отыскать положительную идею кра-
соты, которая,—по мнѣнію Винк.—требуетъ знанія самой
сущности ея, а между тѣмъ проникнуть въ тайны этой сущ-
ности есть дѣло чрезвычайно трудное, можно сказать, по
ка невозможное. „Здѣсь, какъ и въ большинствѣ философ-
скихъ изслѣдований,—замѣчаетъ Винк.—главная трудность
заключается въ томъ, что мы не можемъ разсуждать ге-
ометрическимъ способомъ, т. е. переходя отъ общаго къ
частному и дѣлая заключенія о природѣ вещей по ихъ об-
щимъ свойствамъ; но должны разсуждать способомъ индук-
тивнымъ и изъ немногихъ отдѣльныхъ частей создавать
вѣроятнѣйшія заключенія“. Итакъ, какія же положитель-
ные стороны красоты раскрываетъ намъ это индуктивное
исследованіе?—Оно указываетъ намъ прежде всего, что *кра-
сота состоитъ въ полномъ согласіи созданного съ тѣмъ, что на-
миревался художникъ создать; и 2) въ гармоническомъ соотно-
шении частей между собой и цѣлаго съ частями.* Слѣдовательно,
причинъ красоты, которая можетъ находиться и въ предметахъ
природы созданныхъ Самимъ Творцомъ вселенной, и въ пред-
метахъ искусства, создаваемыхъ человѣкомъ,—этихъ причинъ
нужно искать въ нихъ-же самихъ, поскольку въ нихъ вырази-
лась гармонія между внутреннею идеальною сущностью и
внѣшними формами. Соответственно этому, чѣмъ ярче въ*

предметъ выражение его идеального содержания, тъмъ онъ будетъ прекраснъе. Въ частности относительно человѣка, понятіе о человѣч. красотѣ совершенствуется по мѣрѣ соглашенія сго съ тъмъ идеальнымъ типомъ человѣка, который по своимъ совершенствамъ приближается къ Верховному Существу, по образу которого онъ созданъ. Это понятіе о красотѣ есть какъ-бы отвлеченная субстанція, очищенная дѣйствиемъ огня, — какъ-бы духъ стремящійся олицетвориться въ твореніи, созданномъ по образу первого разумнаго существа, сотвореннаго божественнымъ разумомъ. Формы такого образа просты и непрерывны, и разнообразясь въ своей простотѣ, принимаютъ гармоничные соотношенія; да и всякая красота возвышается единствомъ и простотою и то, что велико само по себѣ, дѣлается еще выше вслѣдствіе простоты и единства. Это потому,—прибавляетъ онъ совершенно въ духѣ Аристотеля,—что если умъ нашъ можетъ сразу обнять весь предметъ, заключивши его въ одно представленіе или понятіе, то этимъ самымъ онъ дѣлается для насъ легко понятнымъ и потому болѣе возвышеннымъ: душа наша, жаждущая простыхъ концепцій, возвышается сама и облагораживается, проникнувшись ими.

Изъ единства возникаетъ и другое качество красоты,—*ея винниня неопредѣлимость: формы ся не могутъ быть описаны ни точками, ни линіями, но вмѣсть съ этимъ онъ суть единственная образующія красоту.* Отсюда получается общий образъ красоты, не присущій никакому одному лицу, не выражающей никакого определенного положенія ума, чувства сердца, движенія души: все это нарушило-бы единство и придало-бы красотѣ постороннія индивидуальные черты. Въ этомъ случаѣ красоту,—по мнѣнію В.—можно удачно сравнить съ самой чистой водой: чѣмъ менѣе въ ней постороннихъ частицъ, чѣмъ она безвкуснѣе, тѣмъ она здоровѣе. Красота похожа и на блаженство;—состояніе блаженства т. е. отсутствіе страданія, есть то, что приобрѣтается безъ всякихъ усилий; а пользованіе подобнымъ довольствомъ есть то, что пріятнѣе всего получить въ природѣ; такъ точно и воспріятіе нами чистой красоты является веющію самой простой и легкой, потому что для этого не нужно ни философскаго знанія

чъловѣка, ни изученія душевныхъ страстей и ихъ внѣшняго проявленія.

Таково опредѣленіе прекраснаго сначала со стороны отрицательной, а потомъ и положительной.

Затѣмъ, естественно возникаетъ вопросъ: какимъ-же именно путемъ, при помощи какихъ процессовъ образуется у насъ и у всѣхъ художниковъ представление красоты въ ея высочайшей степени?—Винкельманъ даетъ намъ отвѣтъ, который прочностью и глубиною своихъ положений обязанъ удачному примѣненію здѣсь того индуктивнаго метода, который до Винкельманна находилъ для себя слишкомъ рѣдкое приложеніе въ эстет. изслѣдованій и только у Аристотеля и его послѣдователей примѣненъ былъ вполнѣ сознательно. Этотъ методъ изслѣдованія, хотя самъ В. и не очень сочувствуетъ ему, приводитъ его къ слѣдующимъ заключеніямъ, отличающимся строго эмпирическимъ характеромъ. *Образованіе красоты*,—говорить онъ,—можетъ быть у насъ или индивидуальнымъ, т. е. заимствованнымъ отъ одного индивидуума; или же собираемымъ, т. е. состоящимъ изъ прекраснѣйшихъ частей, собранныхъ отъ многихъ лицъ въ одно цѣлое, которое мы называемъ идеальнымъ. Началось образованіе красоты съ индивидуальности, съ подражанія всякой разъ одному прекрасному человѣческому лицу, даже для изображенія самыхъ божествъ. Въ цвѣтущій періодъ искусства художники изображали своихъ богинь по образу прекраснѣйшихъ женщинъ своего времени, даже тѣхъ, которыхъ многимъ расточали свое благоволеніе. Гимназіи и другія мѣста, гдѣ юноши и мужи упражнялись нагими въ борьбѣ и въ другихъ играхъ, были разсадниками красоты: художники слѣдили въ нихъ за развитіемъ прекраснаго тѣла, и воображеніе разогрѣтое ежедневной привычкой созерцать нагое тѣло, создавало у грековъ прекрасныя его формы. То-же и относительно женскихъ тѣлъ, потому что въ Спарѣ, напр., молодыя девушки упражнялись въ борьбѣ почти совершенно нагія, и здѣсь-то художники искали единства красоты въ разнообразіи и гармоніи юношескихъ и девическихъ тѣлъ.

Но такъ какъ въ природѣ нѣтъ такого прекраснаго тѣла, въ которомъ не оказалось бы совершенно ни одного недостатка и такъ какъ изъ многихъ прекрасныхъ тѣлъ всегда то одна, то другая часть оказывается у одного человѣка лучшею, чѣмъ у всѣхъ остальныхъ, то греческіе художники поступали при создаваніи своихъ произведеній такъ, какъ поступаетъ опытный садовникъ или трудолюбивая пчела: подобно тому, какъ онъ (садовникъ) прививаетъ къ дереву только вѣтки лучшаго качества, или какъ пчела приготавляетъ свой медъ изъ сока многихъ цвѣтовъ, такъ и греческіе художники составляли себѣ идеалы (или идеи) красоты, не ограничиваясь какимъ-либо однимъ прекраснымъ предметомъ, но стремясь соединить прекрасныя части многихъ прекрасныхъ тѣлъ въ одно гармоничное цѣлое и такимъ образомъ очищая свои идеалы отъ личныхъ свойствъ каждого, которыя отвращаютъ нашъ умъ отъ истинно-прекраснаго.

Но что же это было за стремленіе, которое заставляло греч. художниковъ идти по такому именно пути созиданія прекраснаго?—Душа существа мыслящаго,—отвѣчаетъ намъ Винк.,—имѣетъ естественное стремленіе отдельиться отъ матеріи и вознести въ сферу отвлеченныхъ идей, въ область идеаловъ: ея истинное наслажденіе заключается здѣсь въ образованіи новыхъ и притомъ изящныхъ концепцій. Греческіе художники стремились поэтому преодолѣть, насколько возможно, жесткость матеріи и придать ей возможно болѣе жизни, какъ бы одухотворяя матерію; и уже у нихъ же самихъ сознаніе объ этомъ стремленіи выразилось въ известномъ миѳѣ о Пигмаліонѣ, который умѣлъ одухотворить созданную имъ изъ мрамора статую. Искусныя руки греч. художниковъ создали для народа предметы религіознаго культа, и эти предметы для того, чтобы сдѣлаться достойнымъ поклоненія, должны были быть типами высочайшей прекраснѣйшей природы. Съ своей стороны и поэты, эти первые основателя греческой религіи, дали высокія идеи народу, чтобы олицетворить божественные силы; эти идеи вдохновляли воображеніе и дали ему силу возвысить работу надъ чувственной сферой. А что могло найти воображеніе для созданія божественныхъ образовъ болѣе прекрасное, чѣмъ

состояніе вѣчной юности, безконечной весны жизни, восхищающей насъ въ этихъ образахъ и понынѣ?! Эта картина вѣчной юности была аналогична съ неизмѣняемостью самой божественной природы: прекрасный образъ молодого блестящаго божества возбуждалъ невольно любовь и восхищеніе въ созерцателѣ, и эти чувства въ свою очередь способны возвысить душу до тихаго экстаза, а въ этомъ-то чувствѣ, чище которого трудно найти другое чувство, и заключается высочайшее блаженство для человѣка. Въ подтвержденіе сказанного Винкельманъ приводитъ далѣе цѣлый рядъ весьма удачныхъ и тонкихъ замѣчаній, въ которыхъ онъ показываетъ намъ на различныхъ произведеніяхъ античнаго искусства, на лучшихъ его образцахъ эпохи расцвѣта греч. пластики, какъ это высоко идеальное стремленіе греч. художниковъ отразилось въ дѣйствительности на ихъ выдающихся произведеніяхъ.—Чтобы изобразить своихъ богинь во всей прелести ихъ неувядаемой красоты, греческие художники представляли ихъ вѣчно юными и дѣвственными, и это нисколько не противорѣчило самымъ религіознымъ о нихъ представлениямъ, потому что и по этимъ представлениямъ тѣ богини, которые (какъ напр. Юнона и Венера) даже потеряли дѣвственность, могли пріобрѣсти ее снова выкупавшись въ Канаѣскомъ источнике; поэтому-то въ произведеніяхъ греческой пластики грудь и шея богинь (и амазонокъ) изображаются такъ какъ у тѣхъ невинныхъ молодыхъ дѣвушекъ которыми Луцина еще не развязывала пояса.—Подобно этому и изображеніямъ боговъ своихъ за очень немногими исключеніями (напр., для Зевса, Посейдона и Плутона), они удерживали характеръ прекрасной юности и только въ исключительныхъ случаяхъ они представляли характеръ вполнѣ уже зрѣлаго мужества, причемъ и здѣсь красота, и какъ и тамъ была идеализированной, заимствованной изъ подражанія тѣмъ, отдельнымъ частямъ тѣль красивыхъ юношей и мужей, которые признаются прекраснѣйшими. Таковы между женскими божествами особенно идеальные типы Артемиды, Афродиты, Аеины и Геры, а между мужскими—идеальные типы Аполлона, Ареса, Гермеса и Бахуса, въ которыхъ повсюду главнымъ предметомъ изображенія была красота, только

рассматриваемая съ различныхъ точекъ зре́нія, въ различныхъ ея проявленияхъ и оттінкахъ.

Гораздо болѣе затруднительнымъ было положеніе художниковъ тогда, когда кромѣ красоты самыхъ формъ они должны были заботиться о вѣрности выраженія, особенно если это выраженіе не легко связывалось съ положеніемъ спокойствія. Выраженіе въ искусствѣ есть подражаніе активному или пассивному состоянію души и тѣла, нашихъ страстей и движений,—говоритъ Винк.,—а потому и должно согласоваться съ расположениемъ тѣла и его движеніемъ. Но измѣнія черты лица и расположенія тѣла, выраженіе способно иногда нарушить тѣ формы, которыя содержатъ въ себѣ красоту, и потому чѣмъ болѣе рѣзко выраженіе, темъ оно вреднѣе для красоты. Въ виду этого однимъ изъ главнѣйшихъ правилъ при соблюдѣніи выразительности лица было обыкновеніе греч. художниковъ придавать ему выражение спокойствія и благородной простоты. Спокойствіе есть качество, наиболѣе подходящее для красоты; оно должно не только отражаться на работѣ, но и присутствовать въ душѣ самого работника, потому что высшая красота способна зарождаться только на лонѣ размышенія, когда душѣ далеки всѣ индивидуальные образы.

Но не всегда возможно было придавать фигурамъ боговъ выраженіе полнаго спокойствія: такъ какъ они нерѣдко изображались въ движеніи, то и выраженіе спокойствія для нихъ сохранить было уже невозможно, тогда нужно было употребить все свое умѣніе и разсчитывать степень выразительности давая ее красотѣ, такъ сказать, на определенный вѣсъ и мѣру, чтобы ни причинить излишествомъ выразительности въ движеніи ущерба самой красотѣ.

Такимъ-то образомъ, спокойная красота и благородная простота всегда являлась въ античномъ искусстве главнымъ мѣриломъ выраженія. Столь-же мудро поступали греч. художники и тогда, когда имъ приходилось изображать героевъ и людей съ обыкновенными человѣч. страстями. Они умѣли придавать движеніямъ ихъ души сдержанность мудреца, умѣющаго умѣрять ея бурные порывы, обнаруживающаго лишь искры огня, которымъ его пожираетъ, и открывающагося только тому, кто почитаетъ его и хочетъ его распознать. Это

замѣчательное умѣніе греч. художниковъ воспроизводить даже моменты высоко драматические въ предѣлахъ, обусловливаемыхъ правилами спокойной и благородной красоты, доказывается всѣми ихъ лучшими произведеніями.

Но спрашивается, были-ли у нихъ какія-либо устойчивыя и опредѣлснныя правила, на которыя могли бы опираться и которыми могли-бы руководствоваться греческие художники въ своихъ работахъ, или каждому изъ нихъ представляли полнѣйшій просторъ въ слѣдованіи свободно своей фантазіи и личному опыту?— „Можно думать,— говоритъ Винк.,— что по крайней мѣрѣ въ дѣлѣ опредѣленія различныхъ соотношеній частей тѣла, греческие художники, подобно египетскимъ, опредѣляли неизмѣнными правилами большія и меньшия пропорціи, устанавливая для всѣхъ частей тѣла твердую мѣру длины, ширины и окружности; эта-то строгая опредѣленность и объясняетъ намъ пропорціональность даже самыхъ плохихъ произведеній древности, къ какой бы школѣ они ни принадлежали; самыя же правила эти о пропорціяхъ излагались какъ изустно самими художниками, такъ и въ особенныхъ сочиненіяхъ, (какъ ихъ называли тогда, „о пропорціяхъ и о симметрії“,)— Относительно-же красоты отдельныхъ частей тѣла общихъ и точныхъ правилъ быть не могло и лучшимъ учителемъ оставалась, тутъ для каждого сама природа со всѣми богатствами ея формъ, изъ которыхъ каждый художникъ могъ брать всѣ тѣ, какія казались ему совершенѣйшими; можно указать впрочемъ нѣкоторыя опредѣленные формы, считавшіяся почти непремѣнною принадлежностью идеальной красоты, къ каковымъ, наприм., принадлежалъ такъ назыв. греческий профиль, большие глаза и т. п.¹⁾.

Труднѣе всего остального дается художнику красота выраженія, потому что она не можетъ быть измѣрена ни мѣрою, ни числомъ, и столь-же тѣсно связано съ внутреннимъ міромъ человѣка, сколько и съ его внѣшностью. Красоту чувственную, красоту формъ легче опредѣлить, чѣмъ красоту выраженія, потому что въ первую все-таки входятъ элементы точнаго измѣренія, тогда какъ послѣдняя

¹⁾ Подробн. см. въ «Исторіи искусства древности», главу «о сущности искусства».

состоящая въ разнообразіи простоты, можетъ быть только чувствуема и не имѣеть точнаго опредѣленія ¹⁾.

Есть еще одинъ оттѣнокъ красоты, который проявляется почти во всѣхъ произведеніяхъ античнаго искусства, этотъ видъ красоты есть *грація*. Что же такое представляетъ собою грація?—Винкельманъ опредѣляетъ ее слѣдующимъ образомъ ²⁾: *грація есть не что иное, какъ благоразумная кокетливость*; это очень обширное понятіе, потому что оно простирается на всѣ дѣйствія. Грація есть даръ небесъ, но не настолько, какъ красота, потому что она представляетъ только одно изъ свойствъ послѣдней. *Она образуется восприятиемъ и разсужденiemъ*, но можетъ сдѣлаться съ теченіемъ времени и природной. Она далека отъ принужденія и изысканности, но она требуетъ вниманія и страстелъности, чтобы достигнуть извѣстной степени лёгкости во всѣхъ проявленіяхъ природныхъ способностей. Она дѣйствуетъ простотою и душевной уравновѣшенностью и затемняется выраженіе дикихъ огненныхъ страстей. Всѣ дѣйствія и поступки людей, сопровождаемыя граціей, дѣлаются болѣе пріятными, въ прекрасномъ тѣлѣ она царитъ всемогуще. Въ произведеніяхъ греч. художниковъ грація присутствуетъ постоянно, и это постоянное ея присутствіе въ нихъ служитъ однимъ изъ самыхъ существенныхъ доказательствъ превосходства античной пластики надъ пластикой новаго времени, гдѣ грація по большей части совершенно отсутствуєтъ.

Въ произведеніяхъ искусства грація касается только изображенія человѣческой фигуры, но лежитъ она не только въ однѣхъ ея существенныхъ сторонахъ, т. е. въ ея положеніи и членахъ, но и въ чисто случайныхъ, каковы украшенія и одежды. Главное свойство граціи состоить въ особенности отношенія дѣйствующаго лица къ самому дѣйствію; поэтому ее можно уподобить водѣ, которая тѣмъ лучше, чѣмъ болѣе лишена какихъ бы то ни было постороннихъ примѣсей; такъ-же точно и граціи сильно вредить всякая при-

¹⁾ См. ст.: «Воспоминанія о предметахъ искусства».

²⁾ См. статью «О граціи въ произведеніяхъ искусства».

крайненность и замытная для наблюдателя искусственность. Греческие художники умѣли, какъ никто другой, придавать всѣмъ своимъ фигурамъ грацію въ той только мѣрѣ, въ какой она не переходитъ въ жеманство, безъ всякой утрировки, но и безъ всякаго недостатка,—умѣли выразить ее мягко, изящно и тонко, проявляя истинную грацію не только въ самой фигурѣ, но даже въ одеждахъ ея и другихъ украшенияхъ. Если мы вспомнимъ все предыдущее,—все, что сказано было Винкельманомъ относительно сущности античнаго искусства со всѣми его выдающимися достоинствами, то увидимъ, что достоинства эти, открытые имъ въ античномъ искусстве путемъ эмпирическаго изслѣдованія самыхъ памятниковъ его, поднимаютъ это искусство въ его глазахъ надъ всѣмъ искусствомъ послѣдующаго времени, не говоря уже о предшествующемъ. Но этого мало: въ своей статьѣ, подъ загл. „Мысли о подражаніи греческимъ образцамъ“, онъ опредѣлено выражаетъ мысль, что *анттичное искусство показываетъ намъ красоту даже въ болѣе совершенномъ видѣ ея чемъ можетъ показать намъ ее сама природа, и наша скучная природа въ особенности*, что вслѣдствіе этого всякий, кто хочетъ постигнуть красоту въ ея высочайшемъ развитіи а притомъ путемъ кратчайшимъ и безошибочнымъ, долженъ обратиться къ изученію не окружющей его природы, а произведеній античной пластики. Извѣстно,—говорилъ онъ,— что великій Бернини былъ однимъ изъ оспаривающихъ преимущество грековъ въ обладаніи болѣе идеальной красотою фигуръ. Кромѣ того онъ былъ того мнѣнія, что *природа умѣетъ придавать всѣмъ своимъ частямъ требуемую красоту, и искусство состоитъ только въ томъ, чтобы ее найти*. Онъ хвалился также, что съумѣлъ отдѣлаться отъ предразсудка, въ который онъ впалъ сначала при разсмотрѣніи прелестей Медицейской Венеры, и говорилъ, что *при тщательномъ изученіи въ различныхъ случаяхъ ему удалось найти эту самую прелесть въ природѣ*. Но какой-же выводъ можно сдѣлать изъ его словъ?—Выводъ таковъ, что именно *изученіе этой Венеры научило его открыть и въ самой природѣ всю тѣа красоты, которыя сначала онъ предполагалъ только въ этой статуѣ Венеры и которыхъ*

безъ нея онъ не сталъ бы искать и въ природѣ. Отсюда слѣдуетъ также, что и открыть красоту въ греческихъ статуяхъ легче, чѣмъ ту-же красоту въ природѣ, потому что въ первыхъ она менѣе разбросана, яснѣе сконцентрирована и потому болѣе осязательна, чѣмъ въ послѣдней. Отсюда слѣдуетъ, наконецъ, что изученіе самой природы есть путь болѣе длинный и трудный для познанія совершенной, идеальной красоты, чѣмъ изученіе лучшихъ античныхъ произведеній. И все это еще болѣе справедливо особенно для нашего времени, когда природа воспроизводить въ нашемъ обществѣ прекрасныя тѣла, какъ рѣдкость, какъ очень немногія счастливыя исключенія...

Въ виду всего этого,—настойчиво утверждаетъ Винк.,— мы должны обратиться непремѣнно къ античному искусству, если хотимъ познать истинную красоту, а художники должны подражать античнымъ образцамъ, если желаютъ превзойти самую природу. Таковы эстетическія воззрѣнія Винк., которые мы могли отыскать въ его различныхъ сочиненіяхъ, гдѣ исторія искусства неразрывно связана съ теоретическими на него взглядами этого великаго германскаго ученаго.—*По чѣму-же именно должно подражать и что заимствовать изъ этихъ высокихъ образцовъ античнаго искусства?*... Подражать античнымъ произведеніямъ нужно, главнымъ образомъ, въ четырехъ отношеніяхъ: 1) въ воспроизведеніи прекрасной природы; 2) въ изяществѣ контура; 3) въ тонкости и грации драпировокъ и 4) въ передачѣ спокойнаго величія и благородной простоты какъ въ положеніяхъ, такъ и въ выраженіи. Прекрасной природѣ, какъ она воспроизведена въ антикахъ, должно подражать потому, что она схвачена въ нихъ на высочайшей ступени своего развитія, въ своихъ идеальныхъ сторонахъ, возвышающихся надъ той красотой, какая бываетъ въ дѣйствительной природѣ, какъ-бы хороша она ни была. Подражать изяществу контуровъ въ античныхъ произведеніяхъ нужно потому, что сама природа слишкомъ мало даетъ для познанія правильности контура, и только на готовыхъ уже прекраснѣйшихъ произведеніяхъ античной пластики возможно болѣе легкое его изученіе, потому что въ нихъ яснымъ обра-

зомъ благороднѣйшія очертанія соединяютъ и описываютъ всѣ части фигуры. Подобнымъ-же образомъ не въ самой натурѣ, а на памятникахъ античнаго искусства возможно для насть лучше всего изучить изящество и непринужденную *грацію драпировки*, потому что если въ дѣйствительности мы слишкомъ рѣдко встрѣчаемся въ настоящее время съ истиннымъ умѣньемъ драпироваться съ граціей и изяществомъ, то на античныхъ статуяхъ эти качества являются постоянными и неоспоримыми. Необходимо, наконецъ, изучать и стараться подражать *благородной простотѣ и спокойному величию античныхъ произведеній*, потому что эти качества служатъ *общимъ и превосходнѣйшимъ признакомъ греческаго происхожденія статуи*, отражаясь и на всемъ ея положеніи, и въ самомъ выраженіи ея. Это спокойное величіе, характеризующее собою греческія статуи, Винк. сравниваетъ съ спокойствіемъ моря, котораго глубина всегда остается спокойной, какъ-бы ни волновалась его поверхность. „Подобно глубинѣ моря,—говоритъ онъ,— являющейся всегда спокойною, какъ бы ни бушевала его поверхность, выраженіе греческой статуи, несмотря на всѣ страсти, обнаруживаетъ великую уравновѣшенную душу. Эта душа отражается на лицѣ Лаокоона, да и не на одномъ лицѣ, несмотря на сильнѣйшую муку. Боль, обнаруживающаяся во всѣхъ мускулахъ и жилахъ тѣла, которую кажется испытываешь самъ, глядя только на судорожно сжатую нижнюю часть тѣла,—боль эта не проявляется все-таки какимъ-либо выраженіемъ ярости на лицѣ и на всемъ положеніи. Этотъ *Лаокоонъ не поднимаетъ такого ужаснаго крика, какъ тотъ, о которомъ говоритъ намъ Виргилий.* Отверстіе рта не допускаетъ этого. Скорѣе это здѣсь боязливый и сжатый вздохъ: боль самого тѣла и величіе души уравновѣшены и распределены съ одинаковой силой на всемъ строеніи его фигуры. *Лаокоонъ страдаетъ, но страдаетъ мужественно, подобно Филоктету Софокла;* его страданіе проникаетъ намъ въ душу и мы хотѣли бы умѣть переносить страданія, какъ переносить ихъ этотъ великій человѣкъ. Выраженіе такой возвышенной души далеко превосходитъ собою воспроизведеніе прекрасной природы въ дѣйстви-

тельности, потому что художникъ долженъ быть въ себѣ самъ чувствовать присутствіе той силы духа, которую онъ запечатлѣлъ на мраморѣ... Чѣмъ спокойнѣе положеніе тѣла, тѣмъ удобнѣе выразить на немъ истинный характеръ души; во всѣхъ положеніяхъ, которые уклоняются отъ этого спокойствія, душа уже не находится въ свойственномъ ей состояніи непринужденности. Правда, болѣе выразительною и понятною она будетъ въ разгарѣ страстей; но величие и благородство принадлежатъ ей только въ состояніи единства и покоя. Еслибы въ Лаокоонѣ изобразить одну только боль, то выраженіе его граничило-бы съ яростью поэтическому художнику придалъ ему среди страданія дѣйствіе, близкое къ состоянію покоя, и соединилъ восдино съ величественнымъ благородствомъ и другими его высокими качествами, и только тогда въ этомъ наружномъ спокойствіи выражалось все величие души страдающаго Лаокоона.

Глубина и сила изслѣдований Винкельманна поражаетъ насъ съ перваго же взгляда; мы ясно видимъ здѣсь, какъ этотъ восторженный поклонникъ всего античнаго, проникнутый всецѣло самой горячей любовью къ этой далекой, но неизмѣнно прекрасной классической старинѣ, въ ней одной ищетъ духовнаго возрожденія,—въ ея высокихъ и свѣтлыхъ идеалахъ стремится найти безусловный критерій красоты, абсолютныя нормы ея, поскольку онъ, по крайней мѣрѣ, относятся къ формамъ тѣлеснымъ. Онъ обращается съ этою цѣлью къ драгоцѣннѣйшимъ памятникамъ, доставшимся новому миру отъ міра античнаго,—къ тѣмъ многочисленнымъ его памятникамъ, которые уже въ его время наполняли собою различные общественные и частные музеи, и изъ ихъ тщательного анализа старается вывести общиі законъ для искусства,—общія и необходимыя законообразныя правила, согласно которымъ было-бы можно точно и безошибочно судить о красотѣ во всѣхъ ея внешнихъ, формальныхъ проявленіяхъ, соизмѣряя въ это-же самое время внешнія формы съ идеальнымъ внутреннимъ содержаніемъ. И дѣйствительно, оставаясь въ области пластики съ ея памятниками, известными ему въ его время, Винкельманъ, какъ мы видѣли, даетъ намъ выводы такого характера, эстетическая положе-

нія такого рода, которые, можно думать, за немногими исключenіями и поправками къ нимъ, останутся неизмѣнными, по крайней мѣрѣ, на очень долгое время и въ той-же степени, въ какой вообще только могутъ быть неизмѣнными эмпирические законы, выводимые изъ ограниченного тѣсными предѣлами матерьяла. Только въ одномъ отношеніи мы считаемъ необходимымъ внести существенную *поправку* въ конечные выводы Винкельманна, и возможностью сдѣлать еї обязаны мы тому обстоятельству, что и самыи *фактический матерьялъ для изслѣдований*, и самое знаніе *литературныхъ источниковъ древности необыкновенно расширились въ своихъ предѣлахъ за послѣднее столѣтіе*; а вмѣстѣ съ этимъ, съ новыми знаніями, естественно долженъ былъ расширяться и нашъ кругозоръ, дополняя въ однихъ случаяхъ, а въ другихъ исправляя тѣ эстетическія положенія, къ которымъ возможно было прійти на основаніи изученія меньшаго (по количеству) матерьяла въ эпоху Винкельманна и Лессинга.. Эта *поправка* наша, думается намъ, должна быть внесена по слѣдующему важному пункту эстетики Винкельманна. Говоря о *всеобщихъ качествахъ античныхъ произведеній*, присущихъ имъ всѣмъ безъ исключенія и потому служащимъ самымъ несомнѣннымъ признакомъ ихъ принадлежности къ античному искусству, Винкельманъ на первомъ мѣстѣ ставитъ ихъ „*благородную простоту и спокойное величие*“...

Спокойное величие!.. Именно, противъ признанія этого качества—общимъ для всѣхъ безъ исключенія произведеній античной пластики мы возражаемъ, считая его несоответствующимъ дѣйствительности. Богатыя раскопки послѣдняго времени особенно 70—80 годовъ 19 столѣтія совмѣстно съ новыми историческими и литературными изслѣдованіями открыли для насъ цѣлый рядъ памятниковъ античной скульптуры, неизвѣстныхъ ранѣе, которые рѣшительно опровергаютъ такое всеобщее утвержденіе и ясно показываютъ изслѣдователю, что греческому искусству *столько же свойственно было въ однихъ произведенияхъ возсоздавать трагические конфликты, бурю страстей, дикий экстазъ и страстныя, порывистыя движения, сколько въ другихъ—ту спокой-*

ную, невозмутимую идеальную красоту, то спокойное величие духа и тѣла, о которомъ говоритъ намъ Винкельманнъ, какъ о свойствѣ всеобщемъ. Нѣтъ никакой надобности перечислять тутъ всѣ тѣ памятники, которые могутъ служить опроверженiemъ указанного положенія Винкельманна; изъ всей массы подобнаго рода произведеній достаточно указать хотя бы немногіе наиболѣе яркіе образцы для того, чтобы убѣдиться наглядно въ полной необходимости предлагаемой нами поправки.

Мы приведемъ здѣсь изъ нихъ только три наиболѣе яркихъ примѣра изъ разныхъ эпохъ.

Первымъ можемъ служить огромная группа, помѣщенная на западномъ фронтона Зевсова храма въ Олимпіи и представлявшая битву *лапиѳовъ съ кентаврами на свадьбѣ у Пейриооя*,¹⁾ когда опьяненные виномъ и грубою страстью полуживотныя—полулюди кентавры набросились на пристававшихъ здѣсь женщинъ, чтобы унести ихъ къ себѣ, а лапиѳы съ величайшимъ напряженіемъ силъ защищаютъ ихъ отъ похитителей. Вместо спокойнаго величія и благородной простоты мы видимъ здѣсь сцену страшной, ожесточенной борьбы, доходящей у нѣкоторыхъ изъ дѣйствующихъ лицъ до ярости и злобы,—видимъ рѣзкое, бурное движеніе страстей, выраженное въ столь же бурныхъ внѣшнихъ движеніяхъ...

Вторымъ примѣромъ, опровергающимъ Винкельманна, можно указать знаменитую въ древности статую *неистовствующей вакханки*, работы Скопаса. Въ этой вакханкѣ, быстро несущейся впередъ съ распущенными волосами, съ закинутой назадъ головой, съ развѣвающимися одеждами, съ разорваннымъ ею въ экстазѣ козленкомъ въ рукѣ,—въ этой вакханкѣ была представлена та крайняя степень страстнаго вакхического экстаза, которая находила себѣ самое яркое проявленіе и въ страстномъ выраженіи лица, и въ бурномъ порывистомъ внѣшнемъ движеніи, которое рѣзко опровергало представленіе о спокойнѣмъ величіи и благо-

¹⁾ Эта фронточная группа воспроизведена въ атласѣ Штейдинга, табл. 18, рис. 5.

родной простотѣ постановки и выраженія... Какъ третій примѣръ, наиболѣе яркій изъ всѣхъ, мы можемъ указать колоссальные рельефы на томъ знаменитомъ Пергамскомъ алтарѣ, который нѣкогда являлся однимъ изъ семи чудесъ свѣта. Въ этихъ рельефахъ, отысканныхъ при раскопкахъ въ 70 хъ годахъ 19 столѣтія и хранящихся нынѣ въ Берлинскомъ музѣ¹⁾) рельефахъ на цоколѣ алтаря, тянущихся на протяженіи почти 200 метровъ, изображена была такъ называемая *гигантомахія*, — страшная смертельная борьба всѣхъ Олимпійскихъ боговъ и богинь противъ чудовищныхъ сыновъ Земли и Тартара, гигантовъ и титановъ за власть надъ вселенной, — борьба свѣтлыхъ началъ, высшихъ, божественныхъ, противъ низшихъ, темныхъ и грубыхъ. И можно сказать, что нигдѣ и никогда въ исторіи пластики всѣхъ временъ и народовъ не была представлена съ большею яркостью и силою ужасающая буря столкнувшихся величайшихъ міровыхъ страстей, доходящихъ до крайняго озлобленія, до потрясающего напряженія, какъ именно здѣсь, въ этихъ колоссальныхъ рельефахъ со множествомъ ожесточенно и грозно борющихся боговъ, богинь и титаническихъ существъ, гдѣ все закончилось побѣдою первыхъ и страшнымъ истребленіемъ вторыхъ. Передъ такими рельефами должно быть вовсе забыто указанное положеніе Винкельманна о спокойномъ величіи и о благородной простотѣ, вместо которыхъ здѣсь самое яркое воплощеніе міровой страшной трагедіи со всѣми ея ужасами, страстями, и истребленіемъ...

Эстетическая воззрѣнія Лессинга²⁾

Обращаемся теперь къ эстетическимъ воззрѣніямъ Лессинга, главнымъ образомъ, по вопросу о границахъ изображенія въ пластическихъ искусствахъ въ отличіе отъ изображенія

¹⁾ Въ атласѣ Штейдига см. табл. 46, рис. 1 и 3 (одна груша).

²⁾ Gottgold Ephraim Lessing род. въ 1729 г., ум. въ 1781 г. Ср. у Max. Schasler kritische Geschichte der Aesthetik, I. S. 431—468; C. Hermann: die Aesthetik in ihrer Geschichte, S., 121—129.

ния поэтическаго. При этомъ, такъ какъ исходнымъ пунктомъ всѣхъ его разсужденій служитъ знаменитая *группа Лаокоона*, мы считаемъ необходимымъ напомнить здѣсь ея сюжетъ и скульптурную ея композицію съ значительными подробностями.

Послѣ цѣлыхъ десяти лѣтъ тяжелой осады, во время которой много славныхъ мужей погибло съ обѣихъ сторонъ, Троя казалось освободилась, наконецъ, совершенно внезапно отъ осаждавшихъ ее греческихъ войскъ: казалось, какъ будто подъ вліяніемъ какого то необъяснимаго страха, ниспосланного на грековъ божествами, благопріятствующими Троянцамъ, это храброе войско вдругъ покинуло навсегда окрестности Трои, гдѣ впродолженіи десяти лѣтъ велась такая ожесточенная упорная борьба между этими двумя искони враждебными племенами... Греки исчезли, ихъ корабли уплыли, и на морскомъ берегу отъ нихъ ничего не осталось, кромѣ огромнаго деревяннаго коня, сдѣланнаго искусно хитрами греками, и отъ этого то коня погибла древняя Троя, потому что внутри его сидѣли въ полномъ вооруженіи храбрѣйшие изъ греческихъ воиновъ: Въ недоумѣніи столпились троянцы вокругъ этой странной машины, раздумывая о ея назначеніи: большинство было того мнѣнія, что машину эту нужно было втащить внутрь стѣнъ городскихъ; другіе молчали, и только Лаокоонъ жрецъ Аполлона употреблялъ всѣ силы своего краснорѣчія на то, чтобы убѣдить своихъ согражданъ въ опасности подобнаго предложенія, говоря, что нужно бояться враговъ, даже дары приносящихъ. И въ доказательство своихъ словъ онъ ударили длиннымъ копьемъ въ чрево коня откуда раздался звукъ оружія. Хитрость была бы открыта, если бы въ это само время не подошелъ къ толпѣ коварный грекъ Синонъ, какъ будто бы брошенный греческимъ войскомъ и не рассказалъ бы троянцамъ свою хитросплетенную выдумку о томъ, что конь этотъ назначенъ былъ для святилища богини Аеины и что жители Трои должны сами поставить его въ надлежаще мѣсто внутри города. Рассказъ Сиона былъ очень похожъ на истину, по крайней мѣрѣ Троянцы ему совершенно повѣрили и въ порывѣ благодарности на чудное избавленіе отъ врага приказали тому же самому Лао-

коону, который такъ противился принятію коня, принести безсмертнымъ богамъ богатую жертву. И тутъ то совершилось чудо, еще болѣе убѣдившее Троянцевъ въ томъ, что боги сами желають, чтобы конь этотъ ввезенъ былъ въ городъ. Уже самъ Лаокоонъ стоя на морскомъ берегу со своими двумя сыновьями, которые помогали ему при жертвоприношеніяхъ, готовился умертвить въ честь Посейдона быка, какъ вдругъ на поверхности моря по направлению отъ острова Тенедоса показались двѣ огромныя, ужаснаго вида змѣи. Виргилій весьма живописно рисуетъ намъ всю послѣдующую затѣмъ сцену (Энеїда II, 199, 224). „Море спокойно было какъ вдругъ (и рассказывать страшно), Двое ужасныхъ драконовъ несутся къ намъ съ Тенедоса, Грозно влечется ихъ тѣло, сгибаясь въ безмѣрныя кольца. Дыбомъ ихъ длинныя выи; грудь поднялась надъ волною,

Крови подобные гребни багровые грозно вздымая,
Прочее тѣло кругами гигантскими по морю вѣтается.
Съ шумомъ вскипѣла волна взбивая сребристую пѣну...
Кровью налитыя очи ихъ огненнымъ взоромъ сверкаютъ,
Быстро мелькаетъ языкъ и ихъ пастию свистъ испускаетъ,
Ближе и ближе плывутъ; ужъ на берегъ оба выходятъ;
Къ Лаокоону быстро несутся; вдругъ оба дракона
Пастю сильно схвативъ его двухъ дѣтей малолѣтнихъ,
Кольцами вѣются по нимъ и страшныя язвы наносятъ.
Къ дѣтямъ на помощь кидается онъ, но быстрая змѣи
Вдругъ обхватили отца и гигантскими вѣжутъ узлами.
Дважды ужъ грудь обвили и дважды чешуйчатой выей
Выю страдальца связавъ, главами машутъ высоко;
Жалятъ смертельно и яль ихъ чернову пѣнай клубится.,.
Тщетно метаясь, то хочетъ расторгнуть онъ сильныя узы,
То испускаетъ ужасные вопли до сводовъ небесныхъ...
Трупы на мѣстѣ оставивши, оба чудовища вмѣстѣ
Быстро затѣмъ уползаютъ ко храму враждебной Минервы”.

Посмотримъ теперь, какой именно, моментъ изъ всего этого ряда сценъ выбрали художники для воспроизведенія въ своей группѣ и какъ именно переданъ былъ этотъ моментъ въ знаменитомъ мраморѣ, находящемся въ Ватиканскомъ музѣѣ въ Римѣ

Какъ и нужно было ожидать, художники, создавшіе эту замѣчательную группу Лаокоона, (а ихъ было три: Агезандръ Аѳинодоръ и Полидоръ изъ Родоса) избрали

моментъ наиболѣе драматической, когда гнѣвъ божества, негодующаго на дерзкаго смертнаго, который осмѣлился противиться верховнымъ рѣшеніямъ, достигъ своего наиболѣе яснаго выраженія, когда ужасная катастрофа со всемъ ея потрясающей обстановкой уже совершилась, дошедши въ своемъ развитіи до высочайшаго напряженія. И эти художники съ необычайнымъ искусствомъ сумѣли соединить разрозненные моменты всей катастрофы въ одно прекрасно устроенное цѣлое, и все то, что въ поэзіи представлялось рядомъ послѣдовательныхъ другъ за другомъ дѣйствій и положеній, съумѣли, согласно съ законами пластики, представить въ единовременной совокупности. Соответственно этому пластическая композиція группы¹⁾ Лаокоона является нашему представленію болѣе связной, болѣе цѣльной, чѣмъ въ описаніи поэтическомъ: всѣ трое,—отецъ и оба его сына, стоявшіе прежде въ различномъ отдаленіи отъ алтаря и приготовлявшіеся къ принесенію жертвы, представлены здѣсь у самаго алтаря, на его ступеняхъ, всецѣло опутанные страшными узлами гибкихъ змѣиныхъ тѣлъ, которыя неразрывно связываютъ собою эти родственные существа въ одну драматическую группу.

Чтобы сдѣлать понятными тѣ чисто эстетическія сужденія относительно этой группы, а затѣмъ и вообще относительно законовъ выраженія пластического, которыхъ высказывались неоднократно въ литературѣ, а у Лессинга послужили даже содержаніемъ цѣлаго сочиненія, носившаго имя Лаокоона²⁾, мы представимъ теперь анализъ всей группы въ подробностяхъ отъ фигуры къ фигурѣ, потому что каждая изъ нихъ въ извѣстной мѣрѣ самостоятельна и въ каждой изъ нихъ выражается различная степень развитія драматически изображенаго единаго дѣйствія.

Наибольшаго своего развитія это дѣйствіе достигло у младшаго сына, стоящаго отъ отца по правую сторону: та самая чудовищная змѣя, которая хвостомъ своимъ обвила уже ноги старшаго сына и наложила свое гибкое кольцо на лѣвую ногу отца, скручиваетъ затѣмъ въ свое

¹⁾ Группа воспроизведена въ атласѣ Штейдинга, табл. 47, рис. 1.

²⁾ Лессингъ: Лаокоонъ, или о границахъ живописи и поэзіи. Москва 1859.

далнѣйшемъ движениі правую ногу отца въ одинъ страшный узелъ съ маленькимъ тѣломъ его несчастнаго младшаго сына, потомъ дважды охватываетъ плечи послѣдняго и вонзаетъ свои ядовитые зубы въ тѣло маленькаго страдальца. И этотъ ужасный ядъ змѣи уже произвелъ свое дѣйствіе: вся постановка этой фигуры ясно показываетъ намъ, что нѣжное тѣло дитяти уже ослабѣло въ предсмертныхъ страданіяхъ, которые начались раньше; что всякая борьба съ охватившимъ его чудовищемъ уже прекратилась и почти безжизненное тѣло, въ конецъ истощенное предшествующими мученіями и безсильно повиснувшее въ воздухѣ, удерживается отъ паденія только упругими кольцами змѣя, его погубившаго. Слегка только открытый ротъ его, полуоткрытые, безжизненно смотрящіе куда то глаза, полное истощеніе физической и духовной энергіи, все это указываетъ на быстрое приближеніе смерти, которая очень скоро должна овладѣть этимъ измученнымъ маленькимъ тѣломъ...

Почти полную противоположность ему представляла собою фигура старшаго брата: дыханіе смерти еще не коснулось его; даже его физическія страданія въ это время пока слишкомъ ничтожны въ сравненіи съ страданіями его отца или младшаго брата, потому что только вокругъ его правой руки и въ слабой степени около ногъ обвились два змѣиныхъ кольца еще не успѣвшихъ сломить и уничтожить юное тѣло. Онъ является въ этотъ моментъ скорѣе свидѣтелемъ страшныхъ страданій близкихъ ему существъ,—отца и умирающаго брата, чѣмъ испытывающимъ свои собственныя мученія, которые еще не достигли у него значительной силы. А такъ какъ его собственная физическая боль невелика, то вся его энергія не столько употреблена на освобожденіе отъ змѣиныхъ колецъ начинаящихъ опутывать его, сколько поглощена невольнымъ страхомъ и состраданіемъ къ участи погибающихъ возлѣ него, на которыхъ и устремляется его вниманіе. Отсюда и вся постановка фигуры его составляетъ очевидную противоположность фигурѣ младшаго брата: насколько слаба и безжизненна эта послѣдняя, близкая къ смерти настолько полна еще

молодой свѣжей жизніфигура старшаго брата, твердо удерживающаго равновѣсіе свое на правой ногѣ и безъ сильнаго напряженія пытающагося сбросить съ своей лѣвой ноги губительное кольцо, которое сдавливало ее своими мускулами.

Переходимъ теперь къ средней фигурѣ отца, составляющей центръ этой группы. Здѣсь то сосредоточивается важнѣйший интересъ всего дѣйствія и здѣсь это дѣйствіе является въполномъ своемъ развитіи, одинаково чуждомъ обѣихъ крайностей, когда борьба или почти не началась, или уже закончилась, какъ это видѣли мы въ двухъ первыхъ фигурахъ. Здѣсь, у отца борьба эта достигла высшаго напряженія: опутанный со всѣхъ сторонъ тѣлами обоихъ чудовищъ, какъ будто пригвожденный ими къ тому алтарю, на которомъ онъ только что готовился принести жертву, Лаокоонъ напрягаетъ въ этой борьбѣ всѣ свои силы: онъ весь, если такъ можно выразиться,—движеніе, насколько это движение оказывается возможнымъ для его спутанныхъ змѣями членовъ. Движеніе это однако едва ли направлено у него къ какой либо точно опредѣленной цѣли: это скопье рядъ судорожныхъ, почти безсознательно-конвульсивныхъ движений, вызванныхъ страшной болью смертельно укушенаго тѣла, и это доказывается положеніемъ каждого его члена и каждого мускула: начинаясь отъ ногъ, какъ будто страдающихъ поднять его тѣло какъ можно выше, чтобы отдалить его отъ кусающей пасти, а затѣмъ обѣихъ его рукъ, судорожно отбрасывающихъ змѣиное тѣло, и кончая всѣмъ положеніемъ этого могучаго мускулистаго торса и головы,—все въ немъ проникнуто выраженіемъ ужасающей боли. Только она могла заставить такъ изогнуться крѣпкое тѣло отца, смертельно укушенное въ лѣвый бокъ и подъ вліяніемъ боли отпрянувшее направо; только она могла придать такое страдальческое выраженіе всѣмъ чертамъ этого лица, какъ будто изборожденного внезапными неудержимыми потоками физического страданія. Отмѣтимъ однако здѣсь одно любопытное обстоятельство, которое замѣчали рѣшительно всѣ изслѣдователи этой группы, но которое каждый изъ нихъ объяснялъ по своему, изъ раз-

личныхъ причинъ. Это обстоятельство заключается въ томъ фактѣ, что, несмотря ни на какія мучительныя боли отъ укушенія, Лаокоонъ все таки не кричитъ и раскрытие его рта такое, что изъ него можетъ вылетѣть только сдержанній стонъ, а не тѣ ужасные крики до сводовъ небесныхъ, о которыхъ говорить намъ Виргилий. И вотъ, по поводу этого самаго факта созданы были цѣлые эстетическія теоріи, въ которыхъ именно онъ служилъ основою всѣхъ сужденій.

Уже Винкельманнъ, (какъ видѣли мы въ прошлыхъ лекціяхъ), объяснялъ этотъ фактъ изъ того общаго свойства всей греческой пластики, которое заключалось (по его мнѣнію), въ *благородной простотѣ и спокойномъ величіи всѣхъ античныхъ произведений и которое заставляло древнихъ художниковъ всегда умѣрять выраженіе страсти и рѣзкихъ движений*. Общимъ и превосходнѣйшимъ признакомъ греческихъ произведеній, говорилъ онъ,—("Мысли о подражаніи" стр. 335 и сл.),—служитъ благородная простота и спокойное величіе какъ положенія, такъ и выраженія. Подобно глубинѣ моря, являющейся всегда спокойною, какъ бы ни бушевала его поверхность, выраженіе греческихъ фигуръ, обнаруживаетъ великую уравновѣщенность души, которая отражается и на лицѣ Лаокоона, несмотря на сильнѣйшую муку. Мука эта не проявляется какимъ либо выражениемъ ярости на лицѣ и на всемъ положеніи тѣла. Этотъ Лаокоонъ не поднимаетъ ужаснаго крика какъ тотъ, кото-раго воспѣваетъ Виргилий. Отверстіе рта не допускаетъ этого: скорѣе это былъ стонъ, боязливый и сжатый вздохъ; боль тѣла и величіе души уравновѣшены и распределены съ одинаковой силой на всемъ строеніи фигуры. Лаокоонъ страдаетъ, но онъ страдаетъ мужественно подобно Филоктету Софокла: его страданіе проникаетъ намъ въ душу, и мы хотѣли бы умѣть переносить страданія, какъ перено-ситъ ихъ этотъ великій человѣкъ.—Выраженіе такой воз-вышенной души далеко превосходитъ собою воспроизведеніе прекрасной природы въ дѣйствительности, потому что художникъ долженъ быть въ себѣ самомъ чувствовать при-сутствіе той силы духа, которую запечатлѣлъ онъ на мра-морѣ. Если бы въ Лаокоонѣ изобразить одну только боль,

то выражение его граничило бы съ яростью; вотъ почему художникъ придалъ ему среди страданія дѣйствіе близкое къ состоянію покоя, и соединилъ съ нимъ воедино благородство и другія отличительныя качества его души".

Такъ объяснилъ Винкельманъ этотъ фактъ возбуждавшій недоумѣніе, выводя самое его существо изъ общаго принципа греческой пластики сохранять въ выраженіи статуй благородную простоту и спокойное величіе. Не трудно было однако замѣтить, что объясненіе это съ одной стороны являлось ошибочнымъ, ибо вовсе не находило себѣ оправданія въ истинномъ положеніи дѣла, а съ другой въ самомъ указаніи исключительного принципа выраженія въ греческой пластикѣ заключалась односторонность, въ силу которой принципъ этотъ оказывался неприложимъ ко многимъ произведеніямъ греческой пластики. Выражаясь точнѣе, мы можемъ сказать, что объясненіе Винкельмана было ошибочно, съ одной стороны, противорѣча дѣйствительности, потому что самая композиція группы и въ особенности постановка фигуры самого Лаокоона являетъ намъ, какъ мы только что видѣли изъ нашего описанія, отнюдь не состояніе близкое къ покою, а напротивъ страшное напряженіе дѣйствія; съ другой стороны, какъ это мы уже имѣли случай показать въ своей прошлой лекціи, "благородная простота и спокойное величіе" въ выраженіи и положеніи античныхъ фигуръ оказывается принципомъ далеко не всеобщимъ. Ошибка здѣсь, стало быть, въ томъ, какъ мы показали, что частное, эмпирически выведенное правило возводится Винкельманомъ до абсолютнаго значенія всеобщаго въ искусствѣ принципа. Но этого мало: въ связи съ этой онъ дѣлаетъ и другую ошибку. Онъ не проводить должныхъ достаточно ясныхъ границъ между различными родами искусства; ко всѣмъ его отдельнымъ отраслямъ онъ прилагаетъ одно и то же мѣрило; во всѣхъ нихъ законы выраженія, законы важнѣйшихъ формъ онъ обусловливаетъ одинаковыми основами и потому совершенно естественно, прилагая ихъ къ различнымъ видамъ искусства, впадаетъ въ явное противорѣчіе съ самыми фактами его,

особенно въ отношеніи поэзіи и искусствъ пластическихъ столь различныхъ между собою. Понятно, что всего этого нельзя было не замѣтить и вы видимъ дѣйствительно, что одинъ изъ самыхъ проницательныхъ нѣмецкихъ критиковъ современныхъ Винкельманну, Готгольдъ Ефраимъ Лессингъ въ своемъ замѣчательномъ эстетическомъ трактатѣ (названномъ имъ "Лаокоонъ, или о границахъ живописи и поэзіи"); ясно показываетъ всю ошибочность выставленныхъ Винкельманомъ основаній. Такимъ образомъ, тонкій анализъ, составляющій все содержаніе этого трактата, оказывается лучшей критикой главныхъ основъ Винкельманновской эстетики, для которой (критики) наши собственные замѣчанія сдѣланныя въ прошлой лекціи, могутъ служить лишь незначительнымъ дополненіемъ. Каково же, спрашивается, содержаніе этого анализа Лессинга? Отвѣтомъ на это будетъ служить все послѣдующее наше изложеніе, въ которомъ мы намѣрены представить сущность этого трактата. За исходный пунктъ всей своей критики Лессингъ беретъ то Винкельманново описание группы Лаокоона, которое уже цитировали мы выше на стр. 193. Указывая на него, Лессингъ вполнѣ соглашается съ фактомъ, что неистовой ярости на лицѣ Лаокоона дѣйствительно нѣтъ, и видитъ въ этомъ особую мудрость художника, смягчившаго выраженіе боли въ лицѣ; онъ согласенъ и съ тѣмъ, что раскрытие рта у страдающаго Лаокоона допускаетъ лишь стонъ, а не крикъ. Но онъ рѣшительно возстаетъ противъ тѣхъ основаній, которыми Винкельманъ объясняетъ это явленіе. „Лаокоонъ страдаетъ подобно Софоклову Филоктету,” — говоритъ Винкельманъ.

Но дѣйствительно такъ ли? Нѣтъ,—потому что страдающій Филоктетъ у Софокла отнюдь не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ спокойнымъ величиемъ, которое Винкельманъ приписываетъ вообще характерамъ всѣхъ греческихъ героевъ, воспроизводимыхъ въ искусствѣ. Софокловъ Филоктетъ наполняетъ пустынный островъ Лемносъ, гдѣ его бросили Атриды, такими же страшными воплями, жалобами и проклятиями, вызываемыми у него ужасною болью отъ

ранъ (онъ былъ укушенъ змѣю), какими смущалъ тотъ раньше весь греческій станъ, мѣшавъ всеобщему спокойствію. И вонли эти, которыми въ Софокловой трагедіи наполненъ весь третій выходъ, такъ ужасны, что цѣлый театръ потрясался, слыша на сценѣ ихъ подражаніе, потому что физическая боль, выраженная у поэта криками, должна быть слишкомъ велика и зрители должны понять это, выслушивая ея выраженія въ крикахъ. Да и одинъ ли только Филоктетъ въ произведеніяхъ греческой поэзіи выражаетъ физическую боль громкими криками? Нѣтъ, то же самое дѣлаетъ въ подобныхъ же случаяхъ и умирающій Геркулесъ у Софокла и раненые герои у Гомера, которымъ также доступно чувство физической боли, ибо даже и самый воинственный Марсъ, когда въ его тѣло вонзилось копье Діомеда, воскликнулъ отъ боли съ такою силою, будто воскликнули вмѣстѣ нѣсколько тысяч яростныхъ воиновъ. Ясно стало быть, что по древне-греческимъ воззрѣніямъ выраженіе сильной физической боли въ какихъ бы то ни было крикахъ и вопляхъ оказывалось совмѣстнымъ съ величиемъ даже боговъ, не только героевъ. Слѣдовательно, не это желаніе, не желаніе выразить въ лицѣ Лаокоона величіе его духа заставило родосскихъ художниковъ измѣнить выраженіе крика Лаокоона въ выраженіе подавленного сдержанного стона, чего достигли они, уменьшивши раскрытие рта. Каковы же были истинныя причины того явленія? Справедливо или нѣтъ, говоритъ Лессингъ,—преданіе о томъ, будто любовь была первою изобрѣтательницей образовательныхъ искусствъ, но несомнѣнно, что она не уставала водить рукою лучшихъ древнихъ художниковъ. Ибо, хотя теперь живопись и понимается вообще, какъ искусство, изображающее тѣла на поверхности, однако мудрые греки давали ей болѣе тѣсныя границы и дѣлали ея задачей изображенія только прекраснаго; греческій художникъ не долженъ былъ изображать и дѣйствительно не изображалъ ничего кроме высокой красоты; даже обыкновенная красота, красота низшаго рода, дѣлалась только случайно его задачей, его упражненіемъ, его отдыхомъ. Его должно было восхищать въ его-работѣ совершенство самаго предмета. Онъ ставилъ себя.

самого слишкомъ высоко, чтобы дѣлать своею задачею удовлетвореніе зрителя холоднымъ наслажденіемъ сходства предмета или своимъ техническимъ умѣньемъ; въ его искусствѣ для него не было ничего дороже красоты, ничто не казалось ему благороднѣе этой конечной высокой цѣли: и вопреки новѣйшимъ художникамъ, которые готовы въ большинствѣ изобразить въ своемъ искусствѣ всякое безобразіе, лишь бы оно передано было съ техническимъ совершенствомъ, художники античнаго міра держались иного взгляда на это, который ясно выразился въ сло-вахъ одно древняго эпиграмматиста: „Кто захочетъ тебя рисовать, когда никто не хочетъ даже тебя видѣть. Да и не одни художники придерживались такого взгляда высокаго на цѣли искусства; даже самыя государственныя власти ститали возможнымъ высказывать его законодательнымъ путемъ, регулируя художественную практику; и намъ извѣстенъ, напримѣръ, законъ у Оивянъ, въ силу которого художники обязывались подражать въ своемъ искусствѣ только прекрасному, тогда какъ подражаніе всему отвратительному въ природѣ воспрещалось подъ страхомъ серьезнаго наказанія; такимъ же образомъ, воспрещались у грековъ и всѣ вообще карикатурныя изображенія въ пластическихъ искусствахъ и подражанія всякому безобразію. Не должно удивляться этому явлению въ античномъ государствѣ: если,—говоритъ Лессингъ,—по мнѣнію грековъ тогдашняго времени, конечною цѣлью искусства служило высокое наслажденіе прекраснымъ, то естественно было для власти законодательной распоряжаться тѣмъ, какого именно рода наслажденія и въ какой мѣрѣ могутъ быть допустимы для пользованія въ обществѣ въ указанныхъ цѣляхъ. Подобное регулированіе художественной дѣятельности тѣмъ болѣе было необходимо въ глазахъ тогдашняго государства, что въ то время господствующимъ являлось въ немъ мнѣніе, что если красивые люди порождаютъ прекрасныя статуи, то и обратно эти послѣднія дѣйствуютъ явно на первыхъ, другими словами, само государство бываетъ обязано красивыми людьми въ извѣстной мѣрѣ прекраснымъ статуямъ и другимъ изящнымъ произведеніямъ. Вообще, какъ

вполнѣ несомнѣнное положеніе можно утверждать что у древнихъ грековъ красота была высшимъ закономъ для образовательныхъ искусствъ.

А отсюда необходимо слѣдовало, что все остальное, входившее въ область образовательныхъ искусствъ, должно было уступать свое мѣсто началу красоты и подчиняться ея законамъ.

Особенно ясно можно видѣть это у нихъ въ передачѣ выраженія. Есть такія страсти или степени страстей, которые выражаются въ лицѣ самыми отвратительными чертами, а тѣло поставляютъ такое насильственное положеніе при которомъ изящная линія, обрисовывающія его, въ спокойномъ состояніи, совершенно исчезаютъ. Въ силу этого, древніе художники избѣгали, по возможности, всякаго изображенія такихъ безобразящихъ человѣка страстей, а если и изображали ихъ, то только въ той мѣрѣ, въ которой онѣ допускали извѣстную степень красоты въ выраженіи. Такъ напр., яростный гнѣвъ или слишкомъ сильное отчаяніе не обозраживаютъ у нихъ ни одного ихъ произведенія, потому что яростный гнѣвъ они смягчали до строгости, а отчаяніе низводили до степени скорби. Тамъ же, гдѣ такое ослабленіе не могло имѣть мѣста, не становясь въ яркое противорѣчіе съ дѣйствительностью, но гдѣ отчаяніе тѣмъ не менѣе сильно бы вредило красотѣ тамъ древніе художники поступали весьма остроумно подобно Тиманеу, въ его извѣстной картинѣ „Принесеніе въ жертву Ифигеніи“. Въ этой картинѣ художникъ далъ всѣмъ присутствующимъ постороннимъ лицамъ приличную каждому степень печали и горестнаго сочувствія къ Ифигеніи, но такъ какъ горесть отца ея была ужъ слишкомъ сильна, доходя до ужаснѣйшаго отчаянія, то художникъ закрылъ его лицо покрываломъ, предоставляя зрителю самому угадывать и представлять себѣ въ воображеніи это страшное, искающее лицо, отчаяніе. Этотъ покровъ есть, такимъ образомъ жертва, принесенная самимъ художникомъ красотѣ ради основного принципа въ искусствѣ—стремленія къ красотѣ...

Прилагая все вышесказанное къ Лаокоону, легко отыскать ту причину, въ силу которой онъ представленъ лишь

стонущимъ: она заключается въ томъ, что художникъ забо-
тился здѣсь о выраженіи высшей красоты, совмѣстно съ тѣ-
лесной болью. Во всей своей ужасающей силѣ эта боль
была бы несовмѣстима съ красотой. Художникъ долженъ
былъ ослабить ее, крикъ долженъ былъ превратить въ
сдержаннѣе стоны, и это не потому, чтобы крикъ обличалъ
душу, лишенную благородства, но потому, что онъ иска-
жаетъ лицо кричащаго, лишаетъ его красоты. Стоитъ толь-
ко представить себѣ статую Лаокоона съ широко откры-
тымъ для крика ртомъ, чтобы согласиться съ вышесказан-
нымъ; одно уже такое раскрытие рта является въ живопи-
писи пятномъ, а въ скульптурномъ произведеніи углубле-
ніемъ, которое производитъ на зрителя самое непріятное,
отталкивающее впечатлѣніе.

Теперь, въ настоящемъ своемъ видѣ, Лаокоонъ родос-
скихъ художниковъ является образомъ, внушающимъ къ се-
бѣ состраданіе—потому что выраженіе боли въ немъ сое-
диняется съ красотою. Напротивъ Лаокоонъ съ широко
раскрытымъ ртомъ для крика, представлялъ бы собою не-
пріятную уродливую фигуру, отъ которой всякий охотно
отвернулся бы, потому что такой видъ физической боли
возбуждаетъ одно непріятное чувство, когда красота не при-
ходитъ на помощь, чтобы превратить неудовольствіе зри-
теля въ сладкое чувство состраданія. Таково то первое ос-
нованіе (и главнѣйшее), въ силу котораго художникъ пред-
ставилъ Лаокоона не кричащимъ, а стонущимъ. Но совмѣстно съ этимъ есть еще и другое для того основаніе.
Такъ какъ, съ одной стороны, художникъ изъ вѣчно мѣ-
няющейся дѣйствительности можетъ брать только одинъ
какой нибудь моментъ для воспроизведенія въ пластикѣ
(или въ живописи), а съ другой стороны произведенія пла-
стического искусства назначаются не для одного лишь ми-
молетнаго взгляда, но для внимательнаго и многократнаго
разматриванія, то очевидно, что этотъ единственный из-
бираемый художникомъ моментъ поэтому и долженъ быть
насколько возможно болѣе плодотворнымъ. Когда же, при
какихъ условіяхъ моментъ этотъ будетъ являться особенно
плодотворнымъ?

Тогда, отвѣчаетъ Лессингъ, когда при его воспроизведеніи для воображенія остается свободное полѣ; когда, чѣмъ болѣе глядимъ мы на статую, или картину, тѣмъ болѣе мысль наша добавляетъ къ видимому, и тѣмъ сильнѣе возбуждается наше воображеніе. Но въ цѣломъ развитіи какого нибудь нравственнаго потрясенія меныше всего это свойство имѣеть его высшій моментъ. Заnimъ уже не остается ничего болѣе сильнаго и показывать глазу этотъ конечный предѣлъ въ развитіи дѣйствія,—значитъ связывать крылья фантазіи и принуждать ее заниматься моментами дѣйствія менѣе важными, низшими, отчего дѣятельность фантазіи весьма ослабляется. Поэтому художникъ поступилъ очень удачно изобразивши Лаокоона стонущимъ, а не кричащимъ, потому что когда Лаокоона только стонетъ то нашему воображенію легко представить его кричащимъ. Но еслибы онъ былъ уже представленъ кричащимъ, наша фантазія уже не могла бы вообразить его въ этомъ отношеніи на высшей, сравнительно съ этой ступенью развитія боли.

Кромѣ того, какъ изображаемый въ пластическихъ искусствахъ моментъ дѣлается при посредствѣ искусства неизмѣннымъ и какъ быувѣковѣчивается въ его произведеніяхъ, то оно не должно выражать ничего такого, что возможно представить себѣ только какъ переходное. Всѣ такія явленія, которые по существу своему представляются намъ скоротечными, быстро уничтожающимися, которые могутъ оставаться тѣмъ, чѣмъ они являются въ данное время, только одно мгновеніе,—всѣ такія явленія получаютъ черезъ продолженіе ихъ бытія въ искусствѣ совершенно противоположный видъ, въ силу чего съ каждымъ новымъ взглядомъ на ихъ воспроизведеніе въ искусствѣ впечатлѣніе отъ нихъ ослабляется, и, наконецъ, самый предметъ наводитъ на насъ непріятное чувство. Это бываетъ напримѣръ, съ выраженіемъ смѣха, гнѣва и всѣхъ вообще рѣзко выражающіхся эмоцій; то же бываетъ и съ крикомъ, потому что взглядъ на постоянно кричащую фигуру человека сдѣлалъ бы ее наконецъ отвратительной въ нашихъ глазахъ. Что же дѣлали древніе художники въ тѣхъ случаяхъ, когда сюжетомъ ихъ картинъ и статуй служило вос-

произведеніе какихъ нибудь сильныхъ страстей?—Они превосходно умѣли выбирать въ этихъ случаяхъ такие пункты, съ которыхъ зрителъ не столько видѣтъ наглядно высшую силу изображаемой страсти, сколько воображаетъ ее. Такъ, напримѣръ, художникъ Тимомахъ, представилъ Медею не въ тотъ самый моментъ, когда она совершаєтъ убийство своихъ дѣтей, а нѣсколько раньше, когда любовь матери еще борется у ней со злобой покинутой жены; и наше воображеніе уже само дополняетъ извѣстный, ужасный исходъ этой борьбы съ его кровавыми сценами. Этотъ же самый художникъ (Тимомахъ), изображая въ другой своей картинѣ бѣшенаго Аякса, представилъ его не въ тотъ моментъ его бѣшенства, когда онъ истреблялъ въ неистовствѣ овецъ и быковъ вместо людей, но изобразилъ его уже сидящимъ, измученнымъ послѣ всѣхъ его неистовствъ и замышляющимъ самоубийство, и воображеніе наше легко дополняетъ тутъ все предыдущее дѣйствіе въ полномъ разгарѣ страстей.

Такимъ образомъ, и родосскіе художники изобразили Лаокоона стонущимъ, оставляя нашему воображенію самому представлять его въ послѣдующіе моменты, когда стоны смѣняются криками, ужасными въ своемъ выраженіи.

Таковы тѣ причины, лежащія въ самыхъ внутреннихъ свойствахъ пластическихъ искусствъ, которые заставили художниковъ изобразить Лаокоона и его дѣтей въ томъ именно видѣ его, въ какомъ мы знаемъ его въ знаменитой родосской группѣ.

Совсѣмъ иные законы управляютъ изображеніемъ явленій въ поэзіи. Въ отличіе отъ пластики и живописи поэзія не стѣснена указанными выше для первыхъ границами: поэту открыта для подражанія вся безграничнаа область существующаго, гдѣ видимая наружная форма съ ея внѣшними красотами является однимъ изъ самыхъ незначительныхъ средствъ у поэта для пробужденія въ настѣ интереса къ его дѣйствующимъ лицамъ. Часто поэтъ совсѣмъ игнорируетъ это средство, увѣренный въ томъ, что когда герой умѣетъ привлечь къ себѣ наши симпатіи своими подвигами, мы даже не подумаемъ о томъ, каковъ его внѣшний видъ въ отношеніи красоты. Вслѣдствіе этого, когда

тотъ Лаокоонъ, съ которымъ мы раньше познакомились у Виргилія, какъ съ истиннымъ патріотомъ и разумнымъ человѣкомъ, представляется у поэта дальше кричащимъ, то никому при этомъ не придетъ въ голову подумать о томъ, какой некрасивый видъ имѣетъ раскрытый для крика ротъ.

Этого мало: такъ какъ поэтъ не стѣсненъ въ своемъ выборѣ воспроизведеніемъ одного какого либо момента, а можетъ легко и удачно представлять всякое дѣйствіе въ цѣломъ рядѣ послѣдовательныхъ моментовъ развитія, то въ поэтическомъ произведеніи допускается передача даже такихъ чертъ, которые однѣ, сами по себѣ, способны были бы оскорбить воображеніе слушателя, допускается потому, что всякая такая черта можетъ быть такъ подготовлена предшествующимъ или украшена послѣдующимъ, что совсѣмъ потеряетъ свое одиночное дурное впечатлѣніе и въ сочетаніи со всѣми остальными моментами произведетъ наилучшее дѣйствіе. Вотъ почему поэтъ могъ заставить кричать и Філоктета, и Геркулеса, и Лаокоона, не оставляя у зрителя или слушателя впечатлѣнія о нихъ, какъ о существахъ слабыхъ или лишенныхъ мужества, потому что ихъ же самихъ въ другіе моменты представилъ онъ полными мужества, полными силы героями.

Различіе между поэзіей и пластическими искусствами проявляется еще и въ другихъ отношеніяхъ. Многіе думаютъ, что поэзія и пластика связаны между собою неразрывными узами и что поэзія есть ничто иное, какъ говорящая живопись, а живопись можетъ быть названа нѣмою поэзіей, причемъ по существу своему и средствамъ воспроизведенія та и другая являются будто бы совершенно одинаковыми. Вслѣдствіе этого они стараются втѣснить поэзію въузкую сферу живописи, а съ другой стороны даютъ правоживописи занять всю обширную область поэзіи, утверждая при этомъ, что все позволительное въ одномъ искусствѣ, столько же допускается и въ другомъ.

Именно этотъ ложный взглядъ на границы этихъ искусствъ, смѣшивши различные области породилъ, какъ известно, въ поэзіи стремленіе къ описаніямъ, а въ живописи стремленіе къ аллегоріямъ и другимъ отвлеченнымъ идеямъ.

Междъ тѣмъ въ дѣйствительности различіе вещества и способовъ воспроизведенія порождаетъ существенное различіе между поэзіей и пластическими искусствами. Кроме указанныхъ раньше моментовъ различія, оно выражается далѣе въ томъ, что весьма многое изъ того, что прекрасно, можетъ быть выражено въ поэзіи,—оказывается невозможнымъ для передачи въ произведеніяхъ живописи и пластики; а съ другой стороны, обратно, многія превосходные произведенія скульптуры и живописи будучи описаны даже очень талантливымъ поэтомъ, теряютъ для насъ свою прелестъ, становятся сухими и скучными. Такъ, напр., съ одной стороны, для живописи и пластики невозможно представить все то, что поэтъ описываетъ, какъ невидимое; не говоря уже о широкой области чисто духовныхъ идей, которыхъ возможно выразить только словами, поэты нерѣдко и видимые предметы въ виду особенныхъ цѣлей представляютъ невидимыми у Гомера, напр., боги спасаютъ раненаго героя, скрывши его густымъ облакомъ или сдѣлавши его невидимымъ; сами они въ случаѣ надобности также дѣлаются для всѣхъ невидимыми. Художникъ не имѣетъ возможности представить въ своихъ произведеніяхъ кого бы то ни было невидимымъ, а если старается сдѣлать это, то только условнымъ способомъ, закрывая фигуру легкимъ туманомъ, изъ чего должны мы понять, что желалъ передать художникъ.

Съ другой стороны, какъ бы талантливо и подробно ни описывали поэты, напр., Фидіева Зевса или Аѳину, или знаменитыя статуи и картины другихъ величайшихъ художниковъ, или прекраснѣйшіе ландшафты изъ окружающей дѣйствительности,—никогда всѣ эти описанія видимыхъ красотъ не произведутъ на насъ впечатлѣнія такой силы, которая приближалась бы къ могучему впечатлѣнію, полученному нами отъ непосредственного созерцанія этихъ реальныхъ красотъ. Отчего это?.... Коротко говоря оттого, что задача живописи состоитъ въ не посредственномъ воспроизведеніи видимыхъ тѣлъ, а главная задача поэзіи заключается въ представлениіи дѣйствій; оттого, что краски и мраморъ способны воспроизводить только весь видимый міръ, а слову доступно для передачи все существующее, видимое и

невидимое причемъ съ особенной живостью способно оно передать все движущееся, все развивающееся въ дѣйствіи.

Огюда, оставаясь вѣрными своимъ прямымъ задачамъ, художники не должны брать предметомъ своихъ произведеній ничего такого, что принадлежитъ области чистыхъ абстрактныхъ идей, не должны представлять ничего аллегорического, или отвлеченно-тенденціознаго. Подобнымъ же образомъ и поэты не должны вдаваться часто въ чисто вѣшнія описанія, служащія собственно живописи, а должны своеї главной цѣлью считать описанія дѣйствій, совершающихся послѣдовательно во времени. Если же имъ тѣмъ не менѣе встрѣтится необходимость изобразить и видимую тѣлесную красоту, то они должны поступать такъ, какъ поступалъ въ такихъ случаяхъ Гомеръ: чаще всего вмѣсто всѣхъ описаній, онъ умѣлъ придавать предмету одинъ или нѣсколько яркихъ, живыхъ эпитетовъ, которыми ясно представлялись воображенію слушателя выдающіяся черты предмета. Въ другихъ случаяхъ онъ представлялъ красоту въ ея дѣйствіи на зрителей, видѣвшихъ ее въ дѣйствительности, и по громадности этого дѣйствія мы уже сами можемъ судить о величіи красоты, какъ причины. Такъ, напр., когда Гомеръ вводитъ прекрасную Елену въ собраніе старцевъ троянскихъ, эти послѣдніе говорятъ у него одинъ другому (Иліада III, 156—8).

„Нѣтъ. Осуждать невозможно, что Трои сыны и
Ахейцы

Брань за такую жену и бѣды столь долгія терпятъ:
Истинновѣчнымъ богинямъ она красотою подобна.“.

И когда мы слышимъ такое сужденіе изъ устъ почтенныхъ старѣйшинъ народныхъ, мы хорошо понимаемъ, какъ увлекательна должна была быть красота этой виновницы долгой войны двухъ народовъ. Вообще, поэтъ можетъ намъ представить тотъ восторгъ и влечение, которые возбуждаетъ въ душѣ зрителя данный предметъ, и этимъ самымъ дастъ намъ возможность судить о степени его красоты; тогда какъ, напротивъ, живопись и ваяніе представляютъ намъ эту красоту непосредственно.

Таковы по мнѣнію Лессинга, законы выраженія, различные для поэзіи и пластики.

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
Общественныхъ Наук
Академии Наук СССР